

- БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ АНВАРА САДАТА — главы из книги Поля Эйдельберга
- ЗАГАДКА ОДНОГО ПСЕВДОНИМА — "Тюремные дацзыбао" Игоря Гарика
- ДНИ И НОЧИ
МОСКОВСКОЙ БОГЕМЫ
новая повесть Давида Маркиша
- РУССКАЯ ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ
"ПОЧВЕННИКОВ" И "ЛИБЕРАЛОВ" —
полемические статьи Майи Каганской,
Григория Померанца и Доры Штурман

12

22

ДВАДЦАТЬ ДВА

Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

12

МАЙ 1980
ТЕЛЬ-АВИВ

ИЗДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДА
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ" ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ИЗРАИЛЬСКОГО КОМИТЕТА УЧЕНЫХ
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ЕВРЕЯМИ СССР

Редакционная коллегия:	секретарь редакции М. Бар-Ор
В. Богуславский	корректор
А. Воронель	С. Бар-Ор
Н. Воронель	
Э. Кузнецов	технический редактор
Ю. Меклер	Н. Рубина
Р. Нудельман (гл. ред.)	
Н. Рубинштейн	Оформление номера
Я. Цигельман	В. Богуславский и С. Островский
И. Чаплина	

Адрес редакции: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль
Телефоны: (03) — 767829; (03) — 394525

Представители журнала за рубежом:

ENGLAND: I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 IEW, England.

FRANCE, SWISSE: D. Fradkin, 4A rue Jean-Yoilette, 1205, Geneve, Swisse.

WEST GERMANY: L. Roitman, 67 Oettinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.

USA: L. Khotin, 16 via Ladera, Monterey, Ca., 93940, USA.

Y. Levin, U. of Texas at Austin, Dept. of Slavic Languages, Box 7217, Austin, Texas, 78712, USA.

J. Tuvin, c/o Waters Associates Inc., Maple str., Milford, Mass. 01757, USA.

Y. Kitaevich, 1297, Meadow-bright Lane, Cincinnati, Ohio, 45230, USA.

A. Englin, 5510, 97 str., Corona, N. Y. 11368, USA

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОЗА

- ДАВИД МАРКИШ. Вершина Утиной полянки (роман;
иллюстрации С. Вейнберга) 5
ИСРАЭЛЬ ШАМИР. Возвращение чувств (рассказы) 78

ПОЭЗИЯ

- ИГОРЬ ГУБЕРМАН (Гарик). Дацзыбао на тюремных стенах 88

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- ПОЛЬ ЭЙДЕЛЬБЕРГ. Стратегия Садата (главы из книги) 92

СУДЬБЫ ИДЕЙ

- ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ. Сны Земли 121

РУССКИЙ ВОПРОС

- ДОРА ШТУРМАН. Размышления над рукописью 132
МАЙЯ КАГАНСКАЯ. Заговор равных 160

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- АГНОН, или копия несуществующего оригинала (предисловие,
перевод и комментарии И. Шамира) 182

ЛЮДИ И КНИГИ

- КОНСТАНТИН КУЗЬМИНСКИЙ. Три гласа вопиющих 217
НИНА ВОРОНЕЛЬ. Познакомьтесь: Сол Беллоу 220
По страницам журналов 222

На последней странице обложки: С. Островский. Дацзыбао на тюремных стенах.

А. МАРКИШ,

ВЕРШИНА
УТИНОЙ
ПОЛЯНКИ

РОМАН



Творческая судьба Давида Маркиша сложилась своеобразно: его проза и публицистика лучше известны израильскому и западному читателю, чем читателю русскому. Его последние книги (две части автобиографической трилогии, повесть о памирских охотниках, научно-фантастическая повесть) вышли на иврите, английском, французском, шведском и других языках; около 200 статей опубликовано в израильской газете "Маарив"; на русском же языке, на котором он пишет, Д. Маркиш печатался сравнительно мало. Верная своей традиции собирания вокруг журнала лучших теоретических сил русской алии, редколлегия "22" хотела бы теперь представить Д. Маркиша той аудитории, к которой он прежде всего обращается.

Давид Маркиш

**ВЕРШИНА
УТИНОЙ
ПОЛЯНКИ**

(роман)

Помню как сейчас: Хасан, мой брат, говорил мне: "Передумай, Ибрагим, не езжай в Москву! Оставайся в ауле, будешь школьным учителем. Я женю тебя на Патимат..."

Патимат... Я ее один раз видел. Она была красивая девчоночка, ее папа заведовал военторгом в Махачкале. Этот папа родился в нашем ауле, а теперь у него квартира в центре города, дверь с тремя замками и полированный буфет "Хельга" восточногерманского производства.

"И пиши себе стихи, если ты так хочешь! — толковал мне Хасан. — Это дело хорошее, особенно если пробиться выше. Возьми хотя бы Расула. Его колыбель стояла в сакле, а теперь он ездит даже в Японию. Он такой же горец, как мы, и стихи свои сочиняет про баранов и ишаков, я сам читал... А, Ибрагим? Не езжай в Москву!"

Хороший человек мой брат, особенно когда напьется. Но — темный, суконный. В баранах он, правда, понимает, особенно в жареных, под чесночным соусом. В ишаках разбирался до женитьбы, а сейчас у него жена есть, ишаки могут спокойненько щипать травку и вздыхать

о голубых временах любви и юности. А Хасан хоть травку и не щиплет, но вздыхать — вздыхает.

А я не буду потеть под ватным одеялом рядом с провонявшей чесноком и луком Патимат, не буду вздыхать до удушения. Я уеду в Москву.

В кого он пошел, мой брат Хасан, ишачий человек с длинным носом? В мать — навряд ли, потому что у нас ее, может, и не было. Я во всяком случае о ней не знаю ничего. Куда она подевалась и когда — никому не известно. Орел ее утащил, что ли? Сначала притащил, а потом утащил. Не знаю... Вот отец — это другой разговор. О нем я знаю совершенно точно, что он умер. Иногда я ловлю себя на мысли, что, знай я, когда он умер и где похоронен, — я был бы невосполнимо лишен многого, очень многого. А так я время от времени живо представляю себе, что отец погиб во время набега наших тощих горцев на жирную Грузию — ну, лет этак двести назад. Или, скажем, что его отравили трухлявые камзольщики в пудренных мукой париках, когда он командовал отрядом наемных головорезов при дворике какого-нибудь полувосточного князька и вдруг взял да и посягнул на трон — могло же такое случиться? Я говорю: "Да, могло!" А если б мне было достоверно известно, что отец мой, напившись пьян, упал с коня и сломал себе шею в тридцать восьмом году — сразу после моего рождения на свет, — что бы это мне прибавило? Только то, что он никоим образом не мог бы совершать набеги на Грузию и посягать на полувосточный трон... Правда, тут получается неувязка с датой моего рождения. Но, в конце концов, будем мужчинами и приподымаемся немного над мелкими страстями, приведшими моего покойного отца в постель к моей покойной матери, которой, может, и никогда на свете-то не было. Будем выше мелких страстей.

Итак, в кого пошел Хасан, — это остается невыясненным. Может, в дедушку, о котором история умалчивает, набравши в рот мутной воды из реки Койсу, что течет на окраине нашего аула Хиндах.

Я не люблю мой аул — маленький, серый, замусоренный аулчик, прилепившийся к большой горе с зеленой и розовой вершиной. Я люблю Гору, а мое родовое гнездо опоганивает эту Гору своим присутствием на ней. Аул обметал ничтожную часть склона и пологую площадку, обрывающуюся в пропасть. На площадке теснятся несколько домишек: правление колхоза,

лавка, почта. С краю площадки нависает над пропастью на двух деревянных опорах дощатая общественная уборная. В километре внизу, если заглянуть в очко, дивно голубеет дно ущелья, и зеленый шнурок речки кажется неподвижным, как на макете. Но лучше туда не заглядывать — от высоты стремительно захватывает дух, и наглая шаткость общественного сооружения становится ощутимой. А дерьмо пролетает этот километр без помех и, как ни вглядывайся, не видно, куда оно падает... Если бы я, автор "Рыжих сук", и не родился в Хиндахе, — этот аул все равно был бы прославлен в веках своей уборной.

Накануне моего отъезда Хасан зарезал черного козла. Он не стал, как того требует традиция, вязать козлу ножки, валить его на землю и приставлять шей к тазику — для стока крови. Сидя на камне, Хасан подманил козла, схватил его за бороду, как хватают человека, притянул вплотную к выпяченным коленям и обстоятельно вскрыл ему ножом горло.

Часа через три козел с помощью соседей был съеден без остатка, и Хасан повел меня к автобусу. К тому времени Хасан был уже хорош: он шатался на своих здоровенных ногах, пел песни без слов и плакал, кривя лицо в песне.

— Ты никогда не был в городе, — счел нужным заметить мне Хасан, забрасывая в окошко автобуса узелок с подушкой и сушеным мясом, — тем более в Москве. Как приедешь, обязательно сходи в мавзолей Ленина и пришли мне черного перцу килограмм, молотого.

Через несколько минут аул наш исчез из виду, слился с горой. Гора стояла посреди мира, и ее вершина — зеленая и розовая — была незыблема посреди неба.

Я не был вундеркиндом — стихи я начал писать пятнадцати лет от роду. Это мое занятие вызвало вначале в ауле неумеренное веселье — как будто я вдруг, ни с того, ни с сего, стал ходить по улицам на руках, делая вид, что так и должно быть. После первого же стишка в районной газете директор школы уже ставил меня в пример, а председатель колхоза упоминал в ежеквартальных хозяйственных отчетах. Одним словом, я сделался местной знаменитостью.

Если бы я получил Героя социалистического труда за высочайшие надои молока, — дело было бы проще: наш аульский Герой, и все тут. Но я ведь писал стихи, а газета печатала их черным по белому. Писать стихи, быть печатающимся поэтом, "придумывать из ничего" — это подымало меня на недосягаемую для простых смерт-

ных высоту. И даже в глазах дважды прославленного мясо-молочного Героя социалистического труда я был как бы трижды героем.

Разыскав в райгазете свою фамилию над стихами, я разволновался — в первый и последний раз по этому поводу. Потом, спустя несколько лет, раздавая автографы, я не испытывал ничего подобного. Жалел ли я о том, что это приятное, это дурацкое волнение не вернулось и — я знал — не вернется уже никогда? Пожалуй...

Я трясся в разбитом автобусе, увозившем меня от Горы, на которой помещалась моя родина, и радостно думал о том, что никогда больше не придется мне бежать со свежими еще, неостывшими стихами к баранам и ишакам, выслушивавшим меня молча и внимательно и никогда не дававшим практических советов — не в пример брату Хасану. Наверно, мне следовало тогда обернуться лицом к вершине горы и остановить это самое мгновение расставанья, остановить его хотя бы на миг. А может, и не стоило — ведь тогда бы я не жалел о том, что не обернулся и никогда не вспоминал бы вершину с такой болью и сладостью.

Потом я вдруг вспомнил Патимат. Надо бы на ней все-таки жениться — выпустить книгу в Москве, прославиться, а потом жениться на Патимат. Не обязательно же она должна провонять луком и чесноком до самых костей. И Хасан, надо думать, уже провел кое-какие переговоры с директором военторга — после того, разумеется, как я впервые напечатался в газете. Вот не напечатаясь я в газете, не видать мне пахнущую тройным одеколоном Патимат, как своих ушей. Или напечатая я рассказ — тоже не видать. Нет, только стихи делают такие чудеса! Поэт — тень Бога. Спасибо тебе, Бог, что Ты дал мне стать Твоей тенью. Теперь дай мне еще попасть в Москве в писательский институт.

Самолет, на который я пересел с автобуса в райцентре, не вызвал во мне особого потрясения — хотя до того дня я видел самолеты лишь высоко в небе над нашей горой. Сидя в гремящем куске железа, несущем меня к писательскому институту, я торопил его с орлиной отвагой: "Скорей, скорей!". Глядеть в дырку нашей хиндахской уборной было куда страшней, чем в самолетный иллюминатор.

Едва сойдя с самолета на московскую землю, я с тревогой подумал о том, что Литературный институт отодвинулся, отпрыгнул от меня куда-то далеко-далеко. С горы я различал его отчетливо, как в бинокль: фасад, двери, красные ковровые дорожки на лестницах. Мне казалось, что он должен быть именно таким — и таким я его и

видел, сидя в самой середине огромной горной тишины, нарушаемой только криками орлов. Ничто, кроме тишины, не отгораживало меня от института... Теперь тысячи людей, подобно баранам, наполнили пространство вокруг меня, и не было пастуха, который направил бы их движение. Я болтался в толпе со своим узлом с подушкой и сушеным мясом, и перронные милиционеры поглядывали на меня неодобрительно. Хасан, родной мой ишачий человек! Я заблудился, растерялся, и мне здесь пока не очень здорово. Ты мой старший брат, и я на всякий случай сделаю так, как ты велел мне в своем последнем слове: пойду в мавзолей Ленина, а потом куплю тебе килограмм молотого перца. Может быть, так надо.

2

Я действительно очень хотел попасть в мавзолей. Шутка сказать: сколько лет назад умер человек — и вот, говорят, лежит, как живой! Такого нигде на свете нет, советская наука — самая передовая в мире. Это ж надо так придумать — засушили, что ли, человека? Или, может, всю воду выгнали из тела? Но тогда бы он ссохся и сморщился. Он, правда, Ленин — но и он ведь пил иногда чай с хлебцем и носил подштанники. Другой бы сгнил давно, наплевав на науку, а он — нет. А может, там лежит вовсе и не Ленин, а самый что ни есть живой-разживой Народный артист Советского Союза и за работу получает двойной оклад? Ну, если артист — это уже нехорошо, некрасиво. Нечего тогда на него и глаза лупить. За деньги каждый дурак лежать может. Лежи себе и спи. Надо внимательно приглядеться — грудь не подымается у него?

Размышляя таким образом, я поднялся из метро и вышел на Красную площадь. Я немного нервничал — всегда немного нервничаешь, когдаходишь вплотную к трупу, если только ты не врач и не могильщик. Тем более что труп — пил он чай или не пил — все-таки Ленин.

Очередь в мавзолей вытянулась километра на полтора. Встав в хвост, я выудил из узла дощечку сушеного мяса и собрался было перекусить, когда ко мне подошел распорядитель. Он был одет в полувоенную форму и поглядывал начальственно.

— Вы из какой экскурсии, гражданин? — спросил распорядитель.

— Я из Дагестана, — сказал я. — В институт приехал поступать.

— Ваши документы! — потребовал распорядитель.

Сунув мясо в карман, я протянул ему паспорт.

— Сегодня только по экскурсиям, — облюбявив странички моего паспорта, веско заявил распорядитель. — Персональные посещения по четвергам. Очистите очередь, гражданин! А мешочек в другой раз сдайте в камеру хранения, кто тебя знает, что у тебя там, в мешочке.

— Мясо у меня там, — сказал я, ничего не имея в виду, а только объясняя, что у меня там.

В очереди захмыкали, засмеялись. Распорядитель взглянул на смеявшихся орлом и соколом — нечего, мол, смеяться, стоя в очереди в мавзолее Ленина. Плакать надо. Вот так.

Прости меня, Хасан, что я так и не выполнил твой завет и не видел Ленина. Зато перец я тебе купил.

В мавзолее идти нельзя — но гулять по Красной площади мне никто не может запретить. Я, в конце концов, свободный человек, в тюрьме не сижу. А в мешке у меня стихи, мясо и подушка, а не бомбы и не листовки. Могу и показать, кому следует.

Около Лобного места на меня налетел человек в длинном широком плаще, в очках и с фотоаппаратом на груди.

— Здорово, паренек! — сказал очкарь, ловя меня длинными гибкими руками и не давая высвободиться. — Ты, я вижу, из деревни.

— Из аула, — поправил я незваного очкаря. — В деревне Иван живет, а я — Ибрагим Мусаев. Ну-ка, пусти!

— Это не столь важно, — сказал очкарь. — На фото хочешь сняться, на память? Рупь фото.

— Большое фото? — поинтересовался я.

— Вот такое, — показал на пальцах очкарь. — В деревню вернешься — девушкам покажешь. На фоне мавзолея. Ну?

— Не надо на фоне мавзолея, — сказал я. — Лучше просто так.

— Твое дело, — сказал очкарь. — Вставай сюда... Мешок отодвинь!

Да что они все к мешку моему прицепились!

— Ты кто такой? — рассердился я. — Я — поэт, а ты кто? Оставь в покое мой мешок! Я — кавказский человек, могу тебя зарезать, если хочешь.

— Я человек, и зверь, и пташка, — странно объяснил очкарь, и это мне понравилось. — Приготовиться! Снимаю! А теперь еще раз... Улыбайся!

Человек в черном костюме подошел к очкарю сзади и цепко ухватил его за плечо мясистой пятерней.

— Тэ-эк, — сказал подошедший. — Опять без налога снимаешь... Тебя давно из Москвы на сто первый высылали?

— Так это ж мой брат! — почему-то с радостью в голосе воскликнул очкарь. — Двоюродный! Теперь ты меня сними, — он протянул мне аппарат, — а потом опять я тебя!

Я прицелился аппаратом, но не знал, на какую кнопку нажимать. В глазке аппарата Красная площадь выглядела очень красиво.

— Ну пойдем, пойдем! — суетился очкарь. — Поснимались — и довольно. Нас мамаша к обеду ждет.

И, обняв меня за плечи, очкарь крупно зашагал к собору Василия Блаженного.

— Чтоб я тебя здесь больше не видал! — донеслось нам вслед. — Увижу — штрафом не обойдешься!

— Сволочь, — сказал очкарь, когда мы обогнули собор. — Жить не дает.

— Снимать нельзя, что ли? — спросил я.

— Конечно, нельзя! — сказал очкарь. — У них здесь фотоартель работает, а я — сам по себе, свободный художник. Вот и нельзя. Понял?

— Посадят, что ли? — уточнил я положение.

— Ладно... — махнул длинной рукой очкарь. — Гони рубль и адрес давай, куда фотографию прислать.

— Литературный институт, — сказал я. — До востребования.

— А ты молодец, — сказал очкарь. — Не подвел меня... Пойдем пивка выпьем, я ставлю.

Фотография вышла музейная: маленький дикий Ибрагимчик с большим мешком на большой Красной площади. Ибрагимчик в болтающемся Хасановом парадном пиджаке и в штанах с пузырями на коленях. Ибрагимчик — завоеватель Москвы.

Такую бы фотографию — да на мой могильный памятник.

Жалко, фотографию ту я потерял. Да и многое другое тоже.

3

Конечно, я боялся экзаменов: а вдруг провалюсь и не поступлю в Литературный институт? Гоги, чуткий человек, научил меня, что делать и говорить.

— Что ты всем объявляешь, что ты поэт? — сказал мне Гоги. — Говори, что ты чабан. И делай акцент. Акцент делай!

Гоги поступал в институт уже третий год подряд. Его папа шил

кепки в городе Кутаиси, и Гоги мог себе позволить поступать на поэтический факультет до самой смерти. Папины кепки — дело беспроектное, вся Грузия по ним с ума сходит. Такая ратиновая кепка с полметра в поперечнике — как визитная карточка: каждый встречный угадает, что ты грузин и с деньгами. Около мебельных магазинов жуки к таким кепарям подходят — и сразу к делу: “Эй, кацо, мебель надо?”. А мебельные жуки — они понимают, кто с деньгами, кто — без.

— Если бы я был чабан, я бы с первого раза поступил, — сказал мне Гоги. — В этом году на поэтический процентов семьдесят наберут таких, как ты: от станка, от барана. А на критику — все девяносто пять. Трудовая биография нужна! Критиковать надо с пролетарских позиций... Кстати, лишние стихи у тебя есть? Про колхоз что-нибудь.

— Как лишние? — не понял я. — У меня все стихи — не лишние!

— Ну, простодырный ты мужик! — даже удивился Гоги. — Древняя... Я не в том смысле, что лишние, а в том, что дай-ка ты мне парочку своих стишат про колхоз. Теряхин продал мне один стишок за бутылку коньяка, но — маловато это. Дай мне еще пару, я на комиссию отдам, скажу — мои, только что написал, всю ночь сидел.

— А ты что, сам не пишешь? — осторожно поинтересовался я.

— Э, пишешь, не пишешь! — отмахнулся Гоги. — Помогать надо друг другу. Я тебе две бутылки коньяка дам.

— Ладно, — сказал я. — А что насчет акцента?

— Кавказский акцент делай как можно сильней, — сказал Гоги. — Чтоб они там, на экзаменах, ни хрена не поняли, что ты говоришь. А если совсем не знаешь, что отвечать — переходи на родной язык. Скажи: волнуясь очень, только на родном могу объясняться, когда волнуясь.

Я подумал, что Гоги, в общем-то, прав. Веселый парень Гоги.

Да меня и не спрашивали ни о чем таком на экзаменах. Спрашивали — кто отец, да кто мать, да еще насчет баранов. Я баранов в жизни никогда не пас, разбираюсь в них только по шашлыку. Но: “Маленьким мальчиком-сироткой выгонял я отару за наш высокогорный аул...”. Смотрю — проходит. И я продолжаю в том же духе. Профессор Спелов спрашивает меня про теорию художественного домысливания. Один человек во всем мире разбирается в этой теории — сам профессор Спелов, он ее и изобрел. Я в ответ на вопрос читаю профессору стихи по-аварски. Профессор слушает со скучными глазами.

— Ничего вы не знаете о теории литературного домысливания, — говорит профессор, — этой наиважнейшей и наисущественнейшей литературной теории... Ну расскажите мне о себе.

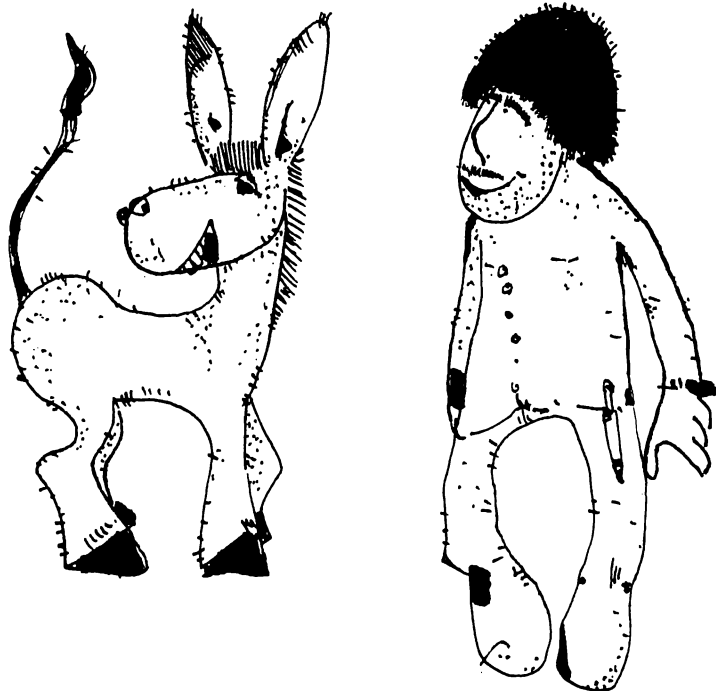
Случайно как-то перешел я с себя на Хасана: как он мальчиком овец пас (он, может, и пас), как один-одинешенек в ледяную пургу спасал колхозное добро от лютых волков. Как ишаки, когда он проходил по аулу, все как один поворачивались к нему задком и приветственно ревели.

— Быть не может... — говорит профессор Спелов. — Не может этого быть... — и выходит из комнаты.

Я сижу, клянусь себя на чем свет стоит: надо было мне приплетать Хасановы ишацьи дела! Теперь, наверно, провалит меня профессор.

А профессор вернулся, ведя за собой коллег: поэтолога, критикессу и специалиста по диалектическому материализму.

— Повторите-ка нам, голубчик, эту прелестную историю про вашего старшего брата! — говорит профессор.



Слушают внимательно, не перебивают.

— Но как же это возможно? — спрашивает наконец критикесса.

— А он камень подставлял, — говорю я. — Высоко же!

— Ах, Боже мой! — говорит критикесса. — Боже мой!

И смотрят на меня, как будто я им лучшие свои стихи прочитал. Как будто это первое дело — чтоб родной брат поэта обязательно спал с ишаком.

Назавтра были вывешены списки — я числился среди студентов.

Гоги тоже попал в списки и решил учинить по этому случаю пир в общежитии.

Пир для любого уважающего себя грузина — дело серьезное; это не просто бессистемная пьянка, когда водку глушат стаканами, а закусывают тем, что ближе к руке — будь то конфета или котлета. Грузинский пир — это отработанная столетиями церемония, не уступающая по своей стройности и завершенности торжественному приему у владетельного князя. Грузинский пир включает в себя приятные беседы, обжорство, пьянство и — как вставной номер — драку, иногда с поножовщиной или стрельбой, чаще в воздух, реже в гостей и хозяев.

Если бы Гоги устроил по поводу поступления в институт просто пьянку с солеными огурчиками и пельменями, а не настоящий пир — кутаисский мастер кепочного индпошива никогда бы не простил ему этого.

Я тоже понимал кое-что в кавказских пирах, поэтому Гоги попросил меня помочь ему.

Ранним утром мы отправились на Центральный рынок — благоуханную пристань богатых артельщиков, западных дипломатов, кремлевских чиновников с высоким окладом, популярных артистов кино и интеллигентов пищеварительного тракта старой формации, не разучившихся еще различать квашеную капустку с дубовым листом от квашеной капустки с листом смородиновым... Сколько стоит килограмм телятины на Центральном рынке — это дело Гоги, вернее, его папаши-кепочника. Таких золотых-серебряных килограммов было куплено нами семь. И рыбки прямо из реки — тоже семь. Не говоря уже о поросенке размером со среднюю собаку, пяти курах, рубиновых азербайджанских гранатах, сапфировых ростовских сливах, берилловом ошском винограде и изумрудной сухумской киндзе. Я радовался, как младенец,

пускающий пузыри, глядя на Гоги, покупающего соленья, маринады, зелень и баранью заднюю ножку.

Набив такси свертками, мы помчались через всю Москву в Бутырский хутор, в наше общежитие.

Общежитием единовластно правил комендант по кличке Циклоп — кривой гигант с мстительным лицом уголовника. Мало кто знал, что настоящее его имя — Николай Андреевич, зато всем было известно, что до недавнего времени он служил начальником концлагеря возле Воркуты. Военный китель на гражданский пиджачок Циклоп сменил не по собственному желанию: вскоре после смерти Сталина что-то у него там вскрылось по части злоупотребления властью, данной ему народом. На радостях по случаю долгожданной кончины Гуталинщика возбужденные уголовники затащили гражданина начальника в барак и, не говоря худого слова, без суда и следствия оторвали ему мужские его яблочки, а заодно выдрали и левый глаз. Концлагерная служба таит в себе непредвиденные опасности.

Воцарившись в нашей общаге, бывалый Циклоп в самом скором времени понял, что управлять молодыми поэтами и прозаиками куда трудней, чем зэками и зэчками. Невоспитанные молодые гении беззастенчиво посылали коменданта на все буквы алфавита и писали на него бесконечные доносы в Союз писателей. Эти доносы, правда, только укрепляли циклопье служебное положение — но это уже другая песня... Дотоле ничего не ведавший о литературной премудрости и служебные лагерные документы читавший по складам, Циклоп возненавидел теперь своих литературных подопечных самой что ни на есть лютейшей ненавистью и повел с ними борьбу — с целью, понятно, перевоспитания и исправления. Попытка организовать оперативную часть и наwerbовать стукачей среди студентов закончилась тяжелым провалом: в один из ночных обходов, введенных Циклопом по собственной инициативе, он был подстережен в тупике коридора, завернут в одеяла и жестоко бит. Под конец ловкие пальцы завязали ему единственный глаз, и неопознанная девица, присев, помочилась ему на лицо под конский гогот компании. А наутро Циклоп обнаружил под своей дверью написанные печатными буквами поносные стишки следующего содержания:

Эта истина проста:
Здесь тебе не Воркута.

Кто вербует стукача —
Тому не водка, а моча.

После описанного происшествия Циклоп не сложил оружия, а только сменил его: теперь он расхаживал по общежитию, грея в кармане тяжеленный свинцовый кастет. Он не оставил надежду наладить стукаческую службу, и пределом его мечтаний было расселение студентов в комнатах по-двое: это, по его разумению, привело бы в конце концов к дружному стуку соседей друг на друга. Возможно, он был прав. Но студенты цепко держались за свои комнаты индивидуального пользования и объединяться в социалистические ячейки никак не соглашались.

На третьем этаже вверенного Циклопу общежития и должен был состояться пир. Дверь, по замыслу Гоги, будет открыта для всех желающих приятно провести время — это помимо специально приглашенных. В число специально приглашенных вошли: старший повар ресторана писательского клуба, случайно оказавшийся в Москве кутаисский прокурор, гардеробщик Союза писателей Митрий и престарелый комсомольский поэт Кошкин, которому было все равно, с кем пить и есть — лишь бы пить и есть, а главным образом пить. Гоги не оставлял надежды, что появится на пиру и знаменитый поэт Сережа Белкин с четвертого курса. Поэтесса Лика Лаврентьева — жена Белкина, с которой он жил по разным адресам, обещала быть непременно. Эта Лика была красива до отяжеления коленей и ветром налетающего удушья — я один раз видел ее мельком в институте, она училась на третьем курсе. Но она была женой знаменитого Сережи Белкина, хотя Гоги и сказал мне, что это ничего не значит. Что ж, может быть. Белкин, конечно, не аварец и даже не грузин. Мой Хасан такие штуки от своей швабры не потерпел бы. Для начала он по простоте душевной зарезал бы человек несколько... Ах, какую короткую юбку носила Лика Лаврентьева! Куда уж мне в моем позорном пиджаке с Хасанова плеча. Если Лика когда-нибудь разведется с Сережей Белкиным, я на ней попробую жениться, потому что, кажется, я очень ее люблю. Я увезу ее в Хиндах — не жить, а просто так, поглядеть. А Патимат? Ну, она ведь живет в Махачкале.

Первым из приглашенных явился поэт Кошкин. Справившись о том, как зовут Гоги и как его фамилия, он надписал ему последний сборничек своих комсомольских стихов и молча сел за стол. Откупорив бутылку "Енисели", он налил себе коньяка в стакан, выпил,

выдохнул, сказал: “Хорош, стерва!” и облегченно потянулся за закуской.

Через полчаса комната была полна людей. Кошкин, постучав бутылкой по столу, установил тишину и предложил тост за Гоги, влившегося в нашу советскую поэзию. Гоги цвел. Папа-кепочник был бы доволен, увидь он сына в эту минуту.

После первого же полустакана коньяка я почувствовал себя в своей тарелке, даже Хасанов пиджак перестал мне мешать жить. Подсев к литовке Вике, сочинявшей аллегорические истории на современные темы, я рассказал ей об ишачьей юности Хасана. Мой рассказ, как мне показалось, был встречен с пониманием.

— Бедные ишаки, — сказала Вика. — А ты, Ибрагимчик — тоже?..

— Я — нет, — сказал я, и это было правдой. Ишаки — это уже чересчур.

А может, рассказать ей, что я никогда, никогда, никогда, никогда... Никогда!

И я рассказал.

Вика поглядела на меня странно.

— Серьезно? — сказала Вика. — Бедненький! — и участливо придвинула ко мне колено под столом.

— Давай немного выпьем, — сказал я. У меня было такое ощущение, как будто к моей ноге приставили раскаленный утюг. — Выпьем за тебя.

— Ну нет, — сказала Вика. — Лучше выпьем за тебя.

— За тебя и за меня, — сказал я, с большим трудом шевеля вдруг окостеневшими губами.

— Значит, пьем за нас, — подытожила Вика. — Ну посмотри мне в глаза. Когда пьешь, надо всегда смотреть в глаза. — И колено Вики чутко дрогнуло под столом. Может, на ней мне жениться, а не на Лике?

Гоги подошел ко мне и сунул в ладонь ключ.

— Это от двадцать третьей комнаты, — наклонившись ко мне, шепнул Гоги. — На всякий случай, — и, выпучив свои грузинские глаза, скользнул ими по Вике.

Я принял ключ, как приговор суда, не подлежащий обжалованию. Все дело теперь было в обратном отсчете времени: двести двадцать четыре, двести двадцать три, двести двадцать два... Когда дойдет до нуля, я отопру двадцать третью.

Через полчаса дело, по моим подсчетам, подошло к нулю. К тому времени ноги мои под столом вытворяли такую лезгинку, что

гардеробщик Митрий, сидевший справа от меня, несколько раз деликатно отъезжал от меня вместе со стулом.

От вина мои глаза
Тяжелеют, тяжелеют... —

это я сказал Вике и вытащил ключ из кармана.

Тяжелеют мои губы
От тепла чужого тела, —

это я приписал, когда пятнадцать минут спустя мы вышли из двадцать третьей. Как у нас там все это произошло — не так-то и важно. Хорошо произошло. Лучше не придумаешь.

Когда мы вернулись к Гоги, Лика была уже там. Она пришла не одна — около нее вертелся прыщавый парнишка в богатом костюме, с невыразительным, сматым, но добрым лицом. Этот парнишка время от времени выгибал цыплячью грудь и выкрикивал: “Гуляй, богема!” Знающий Гоги объяснил мне, что парнишку зовут Саша, что Лика временно с ним подживает и что он — сын министра Деревянко. Саша пишет стихи, но читать стесняется — очень уж они плохие, и ничего с этим нельзя поделать. Но все ребята относятся к нему хорошо, потому что он — парень добрый, открытая душа, и его хлебом не корми — дай только потереться среди писателей. Пьет он — как рыба, деньги у него всегда есть, а нищему брату-поэту что еще нужно?

Рассказав мне все это, Гоги забрал у меня ключ и отдал его Са-ше. Мне это было неприятно, и я почему-то рассердился на Вику. Видя, что я совсем отяжелел от вина и от тепла чужого — не ее — тела, она обиженно отошла от меня и села на колени к прозаику Пилю. В комнате, правда, было тесно — но местечко при желании можно было найти. А она и не искала. И не надо. Тем более, ключа у меня все равно уже не было.

Часа в два ночи в комнату, осторожно приоткрыв дверь, заглянул Циклоп.

— Сгинь, Циклоп! — крикнул Гоги, но Циклоп и не подумал сгинуть. Тогда пущенная кем-то бутылка просвистела в сизом дымном воздухе и разбилась вдребезги, ударившись о дверь, которую Циклоп успел захлопнуть с большим проворством в самый последний момент.

— Он милицию приведет, — обоснованно предположил гардеробщик Митрий.

Решено было замести следы и перекочевать всем вместе в двадцать третью комнату. На старом месте остался один комсомольский поэт Кошкин — он спал за столом, положив щеку в сациви.

Двадцать третья комната живо меня интересовала. Она оказалась незапертой, и я, опередив других, заглянул в нее с тяжелым сердцем.

— Ну, что там? — спросили у меня за спиной.

— Лика белеет ногами, — сказал я и понуро отошел в сторонку.

Я завидовал Саше хорошей, чистой завистью. Я готов был убить его, а потом простить.

Драка началась, пока мы толпились у двери двадцать третьей комнаты и пили коньяк из бутылок — не лезть же туда, пока Лика белеет ногами! Не могу поручиться, но драку начал, как мне кажется, кутаисский прокурор. Ссора возникла совсем не на литературной почве — просто прокурор, молча выслушав рассуждения писательского повара о приготовлении сацибели, вдруг размахнулся и врезал кулинару по уху. Пиль, торчавший рядом, ударил прокурора ногой в пах. Ввязался Гоги, вставший на сторону земляка-прокурора. Спустя минуту драка обрела всеобщий характер. В коридоре стало тесно: посторонние студенты высыпали из своих комнат и ввязались в драку на голодный желудок.

Какой-то шутник догадался выдернуть электропробку, и битва продолжалась в совершенной темноте. Я все время держался возле двери двадцать третьей, ожидая, когда выйдет оттуда Саша Деревянко. Стоя у стены, я размахивал руками, как ветряк, чтобы никто случайно меня не задел. Саша не спешил выходить, а когда он, наконец, появился, я не стал переводить время на разговоры — сбивал костяшки на обоих кулаках. Поговорить можно и потом.

Потом приведенная Циклопом милиция оцепила коридор и лестницу, и мы все бросились спасаться по комнатам. Я знал, куда мне бежать — конечно, в двадцать третью. Этот гигантский московский день просто не мог не закончиться чудом: в комнате должна была сидеть в таких же прозрачных, как у Вики, трусиках Лика и дожидаться меня. И когда милиционер, выполняя свой гражданский долг, вломился в нашу комнату, он увидел бы нас с Ликой мирно лежащими под одеялом. “Какое безобразие! — сказала бы Лика, немного приподымаясь на локотке. — Что это вы беспокоите мирных людей?” “А этот, — сказал бы милиционер, указывая на меня корявым пальцем, — он не дрался и не хулиганил?” “Ну что вы! — сказала бы Лика. — Он писал стихи до поздней ночи, а теперь спит

сладким сном. Разве вы не видите?” А я бы молчал, потому что губа у меня была все-таки разбита и вздулась.

Но в комнате сидел на кровати рядом с вполне одетой Ликой Саша Деревянко. Свет вспыхнул почти тотчас (Циклоп, видно, знал эти шуточки с пробками), и я получил возможность убедиться в том, что сбил костяшки вовсе не о Сашу, а о кого-то другого. Сам я выглядел неважно: губа — это еще полбеды, но вот Хасанов парадный пиджак был разорван по спинному шву сверху донизу, и рукав был вырван так, что торчали клочья плечевой ваты.

— Прекрасно! — оглядев меня, сказал Саша. — Улики на лице, десять суток тебе обеспечено... Надень-ка мой пиджак, а эту рванину побыстрее выброси в окошко. Великолепно! Как тебя зовут?

— Ибрагим! — сказал я, извлекая из емких Хасановых карманов бутылку коньяка и добрый кусок сулгуни, припасенные на всякий случай.

— Отлично! — сказал Саша. — Цыплят табака там у тебя в карманах не завалилось? Нет? Тогда выкидывай пиджак.

И Хасанов парадный пиджак, помахивая продранными крыльями, спланировал на вонючий асфальт Бутырского хутора. Прости меня, Хасанчик! Я стану знаменитым, как Расул, и привезу тебе из Японии новый пиджак.

— Саша, налей! — сказала Лика свежим голосом. — Налей нам всем, и давайте выпьем, мальчики.

Голос Лики был свежий, медовый и земляничный. Надо срочно сбегать к Гоги и притащить оттуда что-нибудь приличное — не закусывать же Лике коньяк теплым сулгуни, облепленным табачными крошками!

Выглянув в коридор, я увидел, как милиционеры волокли к лестнице спящего комсомольского поэта Кошкина.

На рассвете поднятая Циклопом по тревоге уборщица шла по коридору, подтирая кровавые плевки и подбирая венчиком в совочек выбитые зубы.

А в десять утра на доске приказов института появился новый, только что отбитый на машинке приказ: “За организацию пьянки в общежитии студента 1 курса Гоги Мревлешвили из Института исключить”.

Не вникла дирекция, что была это вовсе не пьянка, а пир.

Я уверен: найдутся такие недалекие люди, серые людишки, не поднимающиеся выше мелких страстей, которые осудят меня и оболуют помоями с дерьмом. Как так?! — скажут они. Не успел приехать с диких гор в столицу победившего социализма, как уже заморочил голову профессуре, напился, подрался и первую, самую трогательную и самую нежную любовь к литовке Вике превратил черт те знает во что! Хорошенькое знакомство с центром партийно-правительственной, экономической и культурной жизни, с городом коммунистического быта — Москвой...

Стоит ли спорить с птичкой, которая, пролетая над тобой, обронила на твою голову безобидную каплю? Стоит ли гнаться за той птичкой с булыжником в руке, ловить ее и вышибать из нее дух вон? По сути дела она не права, обгадив ни в чем не повинного человека — на этот счет не может быть двух мнений. Но не стоит все же тратить силы на месть слабожелудочной пташке.

Серые люди окружают нас, серые люди. Их примерно столько же, сколько птиц в лесу. Если б они умели летать — не было бы нам от них спасенья... Но они не умеют летать. Они, серые, читатели газеты "Вечерняя Москва", стихов Асадова и "Библиотеки военных приключений". Они — игроки в домино, самогонщики и хоккейно-футбольные болельщики. Иногда они пишут письма друг другу, чаще — заявления в профком с просьбой выдать им ссуду или путевку в дом отдыха на льготных условиях.

Мы такие же, как они, только мы их понимаем, а они нас — нет. И в этом вся разница. И еще в том, что мы все-таки немножко умеем летать.

Я люблю их, серых. С их мужчинами можно хорошо пить водку, с их женщинами можно хорошо спать.

Они называются — рабочие и крестьяне; мы — прослойка творческой интеллигенции. Каждый человек, доживший до совершеннолетия и получивший паспорт, должен как-нибудь называться. Никак не называться — нельзя, это запрещено и преследуется законом.

Итак, я — звено прослойки, я расположен где-то между рабочими и крестьянами. Год назад, поступая в институт, я был еще крестьянином — во всяком случае так я назывался. Поступив — в один миг стал прослойкой. В тот самый миг, когда машинистка поставила точку под приказом о моем зачислении. А машинист-

ка — она-то кто? Тоже прослойка? Прослойка служащих? Тогда она должна располагаться ниже крестьян и уж, конечно, ниже рабочих — самого передового и прогрессивного класса нашего общества. Но если она помещается и ниже рабочих, и ниже крестьян, и ниже нас, интеллигентов, стиснутых между рабочими и крестьянами, — то какая же она прослойка? Она — окраина и опушка. Под ней уже ничего нет, разве что цыгане.

А в нашей прослойке тоже не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Рабоче-крестьянская творческая интеллигенция — это неплохо звучит, красиво называется. Сплоченно и монолитно. Но вот что у меня, Ибрагима Мусаева, есть сплоченного и монолитного с самым главным творческим интеллигентом, первым секретарем Союза советских писателей Константином Фединым? Писать он если когда-то и умел, то давным-давно разучился, в гости он меня не зовет, а и позовет — не пойду, потому что водку мне с ним пить неинтересно, а про “Серapiонов” он мне рассказывать побоится — не припомнили бы ему на старости лет о его серapiоновом прошлом — так что лучше я о них в книжке почитаю. Или вот другое зернышко нашей прослойки — Анатолий Софронов, самый толстый редактор самого тонкого журнала. Он мне не то что рубля — стакана воды в полуденный зной не даст, потому что я для него — богема. А богеме в советском обществе места не определено. Мы, значит, без места: не рабочие, не крестьяне, да и от законной своей прослойки отбились. С нами лучше дела не иметь, хоть стихи писать мы умеем, этого даже Софронов с Фединым у нас не отнимают: сегодня мы без места, завтра — без паспорта, послезавтра — известно где... Вон Володя Просяной в кафе “Националь” цитировал Владимира Ильича — к слову пришлось — да прикартавливал, чтоб теплей и родней получилось, — теперь Володя Просяной в дурдоме сидит. А Кнут Скуенек “Кровавую яблоню” написал, двадцать строк всего — семь лет получил, сидит в Потье. Посмотрим еще, что будет, когда мои “Рыжие суки” пойдут по рукам... Одним словом, с нами Фединым-мединым и Софроновым-мофроновым лучше дела не иметь, мы — богема. Дай им власть — они бы нас всех в Сибирь упекли. Лика Лаврентьева — лучшая поэтесса России, а им на это наплевать: то она стихи “не те” написала и напечатала их в “Гранях”, то в милицию ее забрали по пьянке, одни с ней неприятности. Белкин — тот хоть грешит, да кается, с ним поладить можно: один стишок он напишет про молодь в садке, зато уж другой — обязательно про партию. Ты еще пойди разберись, что это

за такая молодежь — может, действительно плавают себе рыбки в сеточке. Рыболовные стихи, а вовсе не про молодежь на коротком поводке.

Я и сам думаю: почему это нас всех до сих пор не пересадили? Ведь это дело проще пареной репы, а всем было бы как приятно: и прослойке, и рабочим, и крестьянам. На кой хрен, спрашивается, рабочим и крестьянам наши стихи? А раз так — следует нас выкорчевать и изолировать от общества.

Иногда, правда, и мы кое-какую пользу рабоче-крестьянскому содружеству приносим: в “Дружбе народов” прошла у меня поэма “Ленин в горах” в переводе самого Белкина. Ленин там у меня приезжает в горы и объясняет моему отцу и малышке Хасану, который тогда по младости лет с ишаками еще — ни-ни, как надо жить по-советски и бороться с вековой горной темнотой посредством повсеместного устройства электрического освещения. Ленин, правда, в горы никогда и ногой не ступал — но это уже исторические детали. О поэме напечатали целый ворох хвалебных рецензий, одна из них даже называлась — “Наследник Ленина”. Со мной тут же заключили договор на книгу, а Белкин, оправдавший переводом столь патриотичной поэмы своей очередной поэтический грешок, получил заграничную командировку.

Одним словом, поэмой “Ленин в горах” все остались довольны: и журнал, который ее напечатал, и Белкин, который ее перевел, и читатели, которые ее не читали. И я, целеустремленно пропивший с друзьями солидный гонорар... Гонорары на меня дождем не сыплются, сберкнижки у меня нет — вот я и подумываю над тем, а не написать ли мне целый цикл поэм: “Свердлов в горах”, “Калинин в горах”, “Коллонтай в горах”. А можно — с принципиальных, конечно, марксистско-ленинских позиций — и “Троцкий и Бухарин в горах”. Белкин переведет и поедет в Америку — выпьет там за мое здоровье стакан виски с президентом.

А мне дорога в Японию заказана, так что придется Хасану подождать с новым шерстяным пиджаком. В Японию меня не пустят. Даже в Монголию не пустят, хотя там живут лучшие наши друзья и убежать оттуда можно только либо в Китай, либо обратно в Советский Союз. Не дано мне шагать с алым знаменем на открытии Международного фестиваля молодежи в Брно, не дано председательствовать на Конгрессе солидарности стран Азии и Африки на перешейке острова Занзибар. Сорок восемь часов — два дня и две ночи — легко повернули парус моей судьбы: мое досье в КГБ пополнилось

несколькими страничками, и я стал невыездным до самого Страшного Суда. Но зато какие это были сорок восемь часов!

Ранним утром первого дня в мою комнату в общежитии ввалился без стука коренастый человек в черном жеваном костюме, с лицом, тронутым оспой. Человек этот волок большой и, видно, тяжелый чемодан. Увидев рядом со мной блондиночку, забежавшую ко мне переночевать — то ли Марину, то ли Полину, — симпатичный незнакомец поставил чемодан на пол, сел на него верхом и сказал: “Го-го!”

— Го-го, — сказал он. — Молодец, Ибрагим!

— Кто ж ты будешь? — поинтересовался я, прикрывая голые плечи Полиночки, то ли Мариночки, спавшей сном праведницы у меня подмышкой. Незнакомец, вне всякого сомнения, был моим земляком или, может, даже родственником. Кто еще стал бы ломиться ко мне в такую рань с чемоданом?

— Я шерсть привез, — сообщил незнакомец, не спуская с моей блондиночки алчных глаз, зажегшихся опасным пламенем. Блондиночка, как на грех, заворочалась и высунула из-под простыни ногу.

— Значит, ты будешь шерстяной человек! — терпеливо предложил я, пытаюсь затащить блондиночкину ногу обратно под простыню.

— Я — шерстяной человек! — подтвердил Шерстяной, с усилием проталкивая слова сквозь сухое горло. — Я двоюродный брат жены Хасана. Вагон хиндахской шерсти стоит на Савеловском вокзале.

Пихнув Полиночку, я соскочил на пол и сел на краешек кровати.

— Это Шерстяной, — сказал я наконец-то проснувшейся Мариночке. — Так что ты не волнуйся.

Накинув платице перед окаменевшим в столбняке Шерстяным, Полиночка бодренько побежала в больницу, где служила сиделкой. Я закрыл за ней дверь с большим облегчением.

— Это еще что! — сказал я не вышедшему еще из шокового состояния Шерстяному. — Это тебе, брат, Москва, не Хиндах. Ты в Москве-то был раньше когда-нибудь?

Шерстяной отрицательно замотал головой. Стройная сиделка в красных трусиках совершенно выбила его из колеи.

— Ну-ну, — сказал я, легонько хлопывая его по плечу. — Возьми себя в руки. Что это у тебя за чемодан?

— Хасан чеснок прислал, — вымолвил Шерстяной. — Сальмонку тоже. И яйца.

— Сейчас я завтрак приготовлю, — сказал я, пытаюсь сдвинуть Шерстяного с чемодана.

— Нет! — восторженно взревел Шерстяной, размахивая руками. — В столовую пойдём! В Москве в сакле кто сидит? Дурак один! Я весь вагон налево продам, если надо!

Шерстяной бушевал, а я тихо радовался, что буйство пришло к нему уже после того, как сиделка влезла в свое платье. Повезло сиделке, что реакция у Шерстяного заторможенная.

Из горного чемодана я достал бутылку мутного абрикосового самогона и налил себе и Шерстяному. Хватив семидесятиградусного, он немного успокоился.

— Ну пойдём, — сказал Шерстяной, подойдя к двери. — Пойдём, Ибрагим! В самую лучшую столовую веди меня...

И я повел его завтракать в кафе "Националь".

Обо всем, наверно, так говорят: нынче — не то, с тем, что раньше было, даже не сравнить... Вот и "Националь" раньше был не тот. Другой был. Давным-давно облюбовала его старая московская богема, смирившись с примелькавшимися дежурными стукачами, с утра до вечера просиживавшими в кафе, и с главным администратором — капитаном МГБ Мусенькой. Эта Мусенька, можно сказать, была даже привязана к своим непутевым поднадзорным с громкими литературными именами — она им и коньячок давала в долг под честное слово, и часы брала в залог, и, когда они умирали, приходила в малый, неторжественный зал Союза писателей к гробу, приносила букет оранжевых гладиолусов и плакала искренними слезами. Но работу свою она знала хорошо и отчеты о поведении богемных литераторов составляла исправно.

Теперь старая "Национальная гвардия" почти вся вымерла, оплаканная Мусенькой. Осталось пять-шесть человек, не более, помнивших лучшие времена литературного кафе. На смену старикам пришли мы — другие. И мы вобрали в себя оставшихся в живых стариков, хотя они и сопротивлялись этому и делали вид, что остались такими же, как прежде. Но их хрустальный литературный язык разбавился нашим жаргоном, их распирало нашим цинизмом, и они понемногу спивались вместе с нами и на наши деньги. Все изменилось в кафе "Националь", даже стукачи. Только Мусенька, постаревшая Мусенька осталась.

В кафе "Националь" я и привел Шерстяного завтракать. В конце концов, "Националь" — тоже столовая, только хорошая. А Шерстяной и просился в хорошую столовую.

Я хотел было выйти из такси на Пушкинской и пройтись пешочком до Охотного ряда — надо же хоть немного показать Шерстяному Москву — но ничего у меня из этого благого намерения не вышло.

— Я слышал, в Москве в столовых девки сидят, — сказал Шерстяной, весь под впечатлением утренней картины “Одевающаяся нимфа из хирургического отделения”. — Давай поедем, Ибрагим!

У стеклянной двери “Националя” стояла, как всегда, небольшая очередь: мелкие фарцовщики, потаскухи средней руки, забредшие в центр командированные из провинции и никакие мальчишки и девочки, скопившие трешку на кофе с мороженым и яблочный пай. Проходя мимо этой очередишки, я всегда испытывал легкое садистское удовольствие: я-то сейчас войду, а вся эта компания, которая, между прочим, могла бы сожрать свои котлеты где-нибудь напротив, останется торчать на улице. Серята! Они почитают за особую сладость жевать свой салат оливье именно здесь — глазами на живых поэтов и писателей и громким шепотом сообщая друг другу, кто есть кто.

Я постучал ребрышком двадцатикопеечной монеты в толстое стекло, и швейцар по кличке Келдыш отворил нам. Не знаю, откуда у швейцара взялась эта кличка — на президента Академии Наук он совершенно не был похож. Может, прилипла она к нему из-за того случая, после которого регулярно, три раза в год — 1 мая, 7 ноября и 5 декабря — за ним приезжала карета скорой помощи и увозила его на недельку в сумасшедший дом. Дело в том, что наш Келдыш, выписывая все доступные ему сельскохозяйственные журналы, вычислил, что на необъятных просторах страны Советов пасется столько-то миллионов коров. Это число он помножил на количество сосков, долженствующее быть у каждой коровки, и потом разделил углом на двести и сколько-то там миллионов, составляющие молокопотребляющее население Советского Союза. Таким образом вывел он суперновую величину — человекососок. За это открытие его не стали бы трижды в год возить в дурдом, — но он ведь на этом не успокоился. Проведя немалое время в читальном зале библиотеки имени Ленина, Келдыш документально установил количество человекососков в Соединенных Штатах Америки. Сопоставив полученные данные с данными роста человекососков в обеих странах, он пришел к выводу, что перегнать США по надою молока на душу населения дело не только не простое — как о том писали в газетах, — но и вовсе неосуществимое. В этом

ключе он и составил подробнейшую докладную записку и адресовал ее в Центральный Комитет Коммунистической Партии. Вскоре после этого Келдыш был подвергнут психиатрическому обследованию и поставлен на психучет. Состояние его было признано социальноопасным, и в Большом доме на Лубянской площади решили на время особоторжественных государственных праздников изолировать его на всякий случай от ликующего народа. Нечего заниматься всякими глупостями, лезть в международные дела и подвергать сомнению мясо-молочную политику правительства.

Шерстяной пожал руку отворившему нам Келдышу, и мы прошли в зал.

— Хорошая столовая... — одобрил Шерстяной, разглядывая зеркала и золоченые стены кафе.

Кафе, несмотря на ранний час, было набито битком. В углу зала я заметил Лику Лаврентьеву, мастера мемориальных досок Петю Коньячного, когда-то знаменитого прозаика Чижевского и какого-то занюханного паренька — наверно, сегодняшнего приятеля Лики.

— Это Шерстяной, — сказал я, подводя к столу моего глазющего по сторонам родича. — Шерстяной — и все.

— Почему бы и нет? — сказал Чижевский. — Скажите, Шерстяной, вы никогда не были на острове Борнео?

Выяснив, что Шерстяной никогда не был на Борнео, Чижевский надолго замолчал, глядя в рюмку.

Тем временем к столику, громыхая палкой по паркету, подошел Цугундер и, увидев незнакомого Шерстяного, обратился к нему с обычным своим вопросом:

— Простите, вы не хотите купить дачу?

— Он не хочет купить дачу, — ответил я за Шерстяного.

— Тогда, может быть, он хочет продать дачу? — снова спросил Цугундер.

— Нет, не хочет, — сказал я. — Садитесь, Цугундер. Забудьте про дачу — этот номер не пройдет!

— Вы молодой наглец! — сказал мне Цугундер, садясь. — Я вывозил Карузо, а вы мне несете такую чушь, чтоб вы провалились... Кто одолжит мне два рубля до понедельника? — и Цугундер обвел присутствующих взыскующим взглядом старого наглеца.

Никто и не дрогнул — только Шерстяной без звука вытащил из кармана толстенную пачку денег и протянул Цугундеру пятерку.

— О! — сказал Чижевский и уставился на Шерстяного с тем же сосредоточенным вниманием, с каким глядел только что в рюмку.

Цугундеру было лет семьдесят, а может, и все восемьдесят. Он уверял, что был когда-то импрессарио Карузо, и некоторые были склонны ему верить. Отец его во всяком случае поставлял чай ко столу последнего российского императора — правда, через вторые руки. Сын поставщика был несчастный одинокий старик, склонный к скандализму. Вот уже много лет он занимался уникальным делом — играл трупы на Московской киностудии, и никто с ним не мог сравниться в мастерстве художественного изображения. Но советские люди в кинофильмах умирают нечасто, и Цугундер с грехом пополам перебивался с хлеба на воду. Только раз в год фортуна приоткрывала ему свой кошелек — в новогодние праздники он калымил по детским садам и школам в качестве деда-мороза — с длинной бородой и большим мешком с подарками.



ЦУГУНДЕР -
ДЕД МОРОЗ

“Дети, дети, угадайте, кто к вам пришел!” — вопрошал Цугундер замогильным голосом. “Дедушка Мороз!” — кричали взволнованные дети. “Что принес вам Дедушка Мороз?” — продолжал допытываться Цугундер. “Подарки!” — кричали дети. Такие наезды на детские сады и школы Цугундер совершал на праздники по пять-шесть раз в день — и соответственно получал за это денежки. Чижевский уверяет, что однажды утомленный Цугундер вышел из артистической формы: борода его отклеилась, брови провисли — и на последнем, седьмом, заезде дети вопреки программе приняли его за бабу-ягу. Впрочем, Чижевский мог и присочинить.

Получив от Шерстяного пятерку, Цугундер заказал бифштекс с луком и кофе и, положив палку на край стола, заявил:

— Я женюсь!

Никто этому сообщению не удивился, только Шерстяной хмыкнул и спросил:

— Свадьбу когда играете?

— Цугундер умыкает невесту и увозит ее в свое логово на студийном катафалке, запряженном артиллерийскими лошадьми, — не дав Цугундеру ответить, сказал Чижевский.

— Чижевский, вы старый пошляк! — громко выкрикнул Цугундер. — У вас нет ничего святого! Вы сами поете по утрам в клозете! — все это очень смахивало на предвестие ссоры, если бы Цугундер, высказавшись, не подмигнул Чижевскому левым глазом. Посетители кафе, не приметившие подмигивания, с любопытством поворачивались к нашему столику. Им хотелось увидеть, кто же это поет по утрам в клозете.

— Теперь давайте палку, — негромко сказал Чижевский.

И действительно, Цугундер отработанным движением взмахнул рукой, и его палка с литавренным грохотом скатилась со стола на облицованные тонкой медью батареи центрального отопления.

— Писатели дерутся! — восторженно произнес какой-то голубой сопляк за соседним столиком.

— Я тебе сейчас так дам по морде, — перегнувшись через спинку стула мощной спиной, лениво пообещал сопливому мастер мемориальных досок Петя Коньячный, — что вылетит та челюсть, которая еще лежит у дантиста!

Необыкновенная угроза подействовала на посетителей удручающе. Кафе присмирело.

— Цугундер, вы замечательный человек, — сказал Чижевский. —

Следует перевести вас из дедов-морозов в снегурочки. А вы, Коньячный — просто гений!

— Ну что вы... — смутился Коньячный, ценивший мнение Чижевского. — Моя последняя мемориальная доска розового мрамора — на доме маршала Кручинина. Она, правда...

— Вы гений! — непререкаемым тоном изрек Чижевский. Кафе вновь насторожилось.

— Но почему же!? — широко разводя руками, словно бы готовый принять непомерный груз внезапно свалившейся на него славы, молвил Коньячный. В кафе сидело немало знакомых и приятелей заслуженного каменотеса.

— Потому что только гений, — веско сказал Чижевский и сделал паузу, — в состоянии превратить камень в дерьмо!

— Хорошо! — сказал Цугундер, оценивая то ли юмор Чижевского, то ли золотисто-коричневый бифштекс, поданный ему официанткой. — Моя невеста — достойная, состоятельная вдова, она свободно владеет тремя языками. Ее муж, к счастью, угодил под трамвай в Ростове. Он был деспот.

— Какими языками? — спросил я, чтобы продолжить разговор.

— Татарским, башкирским и русским, — сказал Цугундер.

— Тачанка-ростовчанка, — сказала молчавшая прежде Лица. — Вот видите, Цугундер, счастье слетело к вам в образе тачанки-ростовчанки... А я знаю только русский, и вы не хотите на мне жениться.

— Потому что вы москвичка! — живо откликнулся Цугундер.

Дело в том, что Цугундер женился ежегодно, и обязательно на иногородних. Брак, по договоренности сторон, носил фиктивный характер: иногородняя претендентка выплачивала Цугундеру рублей пятьсот, а Цугундер прописывал ее на своей московской площади, расположенной в двухкомнатном подвале. Счастливый жених давал радостной невесте торжественное обещание — не предъявлять к ней никаких сексуальных претензий. В подвале устраивался дружеский ужин, оплачиваемый из невестиного кармана, и после ухода гостей Цугундер торжественно вручал жене ключ от двери, разделяющей комнаты. Свет гас, начиналась новая жизнь.

А в середине ночи Цугундер в голубых кальсонах шлепал к заветной двери и начинал скрестись:

— Мне холодно! Дорогая, пустите меня... Мне холодно и одиноко!

— Успокойтесь, товарищ Цугундер. Укройте лучше!

– Неслыханное безобразие! Вы – моя законная жена.
– Но, гражданин Цугундер! Мы же договорились!
– Супружеский долг, – приговаривал Цугундер, шаря в скважине запасным ключом. – Здоровая семья. Нежности, нежности хочу!

– Жулик! – доносилось из-за двери. – А пятьсот рублей кто тебе дал?

– Какие пятьсот рублей? – удивлялся Цугундер.

– Прописка мне нужна, вот какие! – кричала разъяренная жена, подбегая к двери, но не открывая ее. – Ты дурака-то не валяй, козел вонючий!

– Ах, так... – с глубоким вздохом говорил Цугундер. – Мадам, вы разбили во мне любовь, вы разрушили во мне веру в человека... Я отправляюсь за милицией.

Несколькими днями спустя происходил скромный бракоразводный процесс, а затем и выдворение строптивой из Цугундерова подвала. Выдворение осуществлял несентиментальный дворник, труд которого Цугундер оплачивал бутылкой водки и тремя рублями. Всякий труд требует оплаты.

Об этих законных бракоразводных доходах Цугундера знали все за столом – за исключением Шерстяного.

– Друг мой, – сказал Цугундер, беря Шерстяного за рукав, – я приглашаю вас на свадьбу. Невеста будет счастлива с вами познакомиться.

– Мы с Ибрагимом придем, – принял приглашение Шерстяной. – Когда свадьба-то?

– Недельки через три-четыре...

– Да мне уезжать через неделю, – огорчился Шерстяной. – Вот шерсть сдам – и домой.

– Вы можете поздравить нашего престарелого друга даже и сейчас, – предложил Чижевский.

– Рублей за двадцать пять – тридцать я мог бы купить себе прекрасный подарок... – словно бы размышляя, прикинул Цугундер.

Шерстяной послушно потянулся к карману.

– Ну нет! – решительно вмешался я. – Что еще за подарки! Имуущество отягощает руки, а подарки портят сердца – правда, Цугундер? Поздравлять надо коньяком, а не пиджаком!

– Bravo, Ибрагим! – сказал Коньячный. – Спасибо тебе, что ты не забыл обо мне.



Шерстяной сидел, как потерянный. Он не знал, что предпринять. И я пришел ему на помощь.

— Шерстяной сейчас организует нам свадебный завтрак, — сказал я и поглядел на Лику, которая считала, что нехорошо все-таки так доить шерстяного человека. — Он знатный человек, он привез в Москву целый вагон колхозной шерсти, настриженной с бродячих шашлыков моей родины. Поэтому нам он подарит шашлык, а ростовской вдове — мешок шерсти, чтобы она связала Цугундери теплые носки.

— Я пришлю ей прялку из Хиндаха, — добавил Шерстяной. — Ведь шерсть-то еще сырая.

Услышав про прялку, Цугундер понял, что тридцати рублей ему не видать, оставил надежду и повеселел.

— Смотрите, как веселится Цугундер! — продолжал я. — У него есть невеста, вот он и веселится. А у моего знатного земляка есть шерсть — и этого ему недостаточно. Ты кем там работаешь, в Хиндахе?

— Я директор, — сообщил Шерстяной.

Я удивился: до последнего времени, как мне было известно, Хиндах назывался колхозом, и всеми делами там заправлял председатель, а не директор.

— Директор чего? — вскользь спросил я. Аульские новости интересовали меня.

— Директор пункта искусственного осеменения, — сказал Шерстяной. — Овец осеменяю.

— Ну вот, тем более... — сказал я. — Тем более грустно тебе глядеть на счастливого Цугундера... Эй, Надя! — окликнул я знакомую потаскуху с улицы Горького, дождавшуюся своей очереди и входящую в кафе. Надя была одета в белые штаны и тонкий шерстяной свитерок, обтягивавший ее выдающуюся грудь, как новая перчатка — ладонь. Шерстяной взглянул на меня благодарно.

— Иди-ка сюда, — сказал я Наде. — Это — Шерстяной, у него сегодня день рождения. Ты еще таких людей не видала, так что будь с ним поласковой. Поняла?

Пока они все сообща обсуждали меню, я сидел, как в воду опущенный. Пункт искусственного осеменения — на моей Горе, и этот идиот — директор! Гора — самое главное, самое мое в этом вонючем теплом мире. Прохладная моя, чистая Гора, Гора-отец и Гора-мать — она не для Цугундера, не для Коньячного, даже не для Лики. Она только для меня. И вот теперь мои треклятые земляки, обсевшие часть ее, как зеленые мухи, построили там пункт искусственного осеменения. Залили бетон в фундамент, поставили столбы, настелили крышу, притащили откуда-то шприцы и баранью сперму в бутылках... Как будто они саму Гору решили искусственно осеменить.

Ураган бы унес всех их оттуда, или орлы утащили. Оставили бы они Гору в покое.

Я ведь помню хорошо, как это раньше было: на приволье, на свежей зелени отбивал баран, важный, как член Политбюро, ярочку от отары. И ярочка слушалась, шла, повесив голову, за бараном — покорно и радостно, как и подобает идти самке за самцом. А другие овцы провожали ее завистливым взглядом и, продолжая жевать, делали вид, что это все им безразлично и вовсе их не каса-

ется. Но не было такой овцы, которая не проводила бы избранную долгим взглядом... А баран с ярочкой шли по моей Горе, а потом он пропускал ее вперед, и она шла медленнее, а он требовательно и грузно вспрыгивал на нее, и она останавливалась, а он порывисто толкал ее, но только чуть-чуть, не давая уйти, а она и не собиралась никуда уходить из-под него, и он победно и яростно храпел, и вытягивал красивую голову, и был похож на языческого бога.

Теперь ему этого больше нельзя. Не положено. И ярочке тоже. Шерстяной не велит. Это ведь бесплатно, а бутылочную сперму, может, из самой Москвы привезли на самолете, она денег стоит.

— Как же вы, все-таки, это делаете? — участливо обернувшись к Шерстяному, спросила Лика. — И приятно ли это овце? Ну — это...

— Что нам за дело! — махнул Шерстяной квадратной ладонью. Он был явно рад, что к нему, наконец, обратились с вопросом и он теперь может кое-что порассказать. — Сперва мы, значит, отбиваем штук двадцать овцематок, закрываем их в загон и пускаем туда пробника.

— Кто это пробник? — не поняла Лика. Все слушали Шерстяного с большим сочувствием, как будто сам он был пробником и третьего только дня запускался в овечий загон.

— Пробник — это баран такой, здоровый, — Шерстяной вдруг, косо усмехнувшись, ударил себя левой рукой по сгибу правой, отчего правая его рука ниже локтя живенько подскочила вверх. — Он сразу узнает, которые овцематки пришли в охоту.

Потаскуха Надя, опустив глаза, гулко заржала. Она-то прекрасно поняла, что к чему, но тоже решила блеснуть вопросом.

— Как это — пришли в охоту? — спросила Надя.

— Вам грешно этого не знать, Наденька, — заметил Чижевский.

— Это когда овца баранчика хочет, — доступно объяснил Шерстяной, — а потом обязательно обрухатится. А если не хочет — отбегает, и у нее с бараном одни балушки получаются, а не ягнята. И мне на нее переводить государственную сперму никак нельзя.

— Хорошо объясняете, — сказал Чижевский. — Жаль только, мой друг, что вы не были на острове Борнео... Так что же дальше происходит с балушками?

— Те, которые пришли в охоту — мы их из загона берем... — продолжил было Шерстяной.

— Но погодите! — воскликнула Лика. — А что же баран? Он ведь не стихи читает в загоне вашим овцематкам!

— Какие стихи? — не понял Шерстяной.

— Щипачева, — сказал Чижевский. — “Любовь — не вздохи на скамейке”.

Шерстяной призадумался. Вопрос требовал ответа, а про стихи Щипачева Шерстяной ничего не мог рассказать.

— Пока вы там будете решать, кто пришел в охоту, а кто еще не пришел — ваш баран перетрахаёт всех подряд, — сказал Коньячный. — Зачем вам после этого трудиться?

— Ну нет! — сказал посветлевший Шерстяной, понявший, наконец, в чем дело. — Я на пробника штаны надеваю, клеенчатые — чтоб он только прыгал на овцематок, а не лез, куда нельзя.

— Бедное животное, — пробормотал Чижевский. — Баран с золотыми рогами...

По глазам Лики тоже можно было догадаться, что она очень сочувствует бедному, обманутому в лучших чувствах, барану.

— И уже потом, — подытожил Шерстяной, — мы делаем искусственное осеменение тем, которые пришли в охоту.

— А что же баран? — не выдержала Лика. — Что же с ним, в конце концов?

— А ничего, — пожал плечами Шерстяной. — Он целый день работает, тоже устает.

— Поблескивая золотыми рогами в лучах заходящего солнца, — сказал Чижевский, — баран, шатаясь, убредал к ломаной линии горизонта. Клеенчатые его штаны были мокры от слез.

— Так ему ничего и не достается? — игриво спросила Надя, легонько толкая Шерстяного в бок. — Совсем ничего?

— А! — сказал Шерстяной, исчерпавший баранью тему.

— Он, в конце концов, тоже имеет право! — энергично взмахнув вилкой, заявил Цугундер. — Это бесчеловечно! Это просто преступно, если хотите знать! Неслыханная наглость!

— Кому, как не вам, Цугундер, сочувствовать бедному барану, — сказал Чижевский. — Не забудьте рассказать эту историю вашей невесте.

— Ну да, — сказал Шерстяной, глядя на меня вопросительно. — Конечно, если надо...

— Скажи-ка нам, родимый человек, — спросил реалист Коньячный, — барану-то дает кто-нибудь или не дает? Вот в чем вопрос...

— Ему зачем надо? — вдруг рассердившись и придвинувшись вплотную к Коньячному, сказал Шерстяной. — Он что — тоже человек, что ли? Человеку надо... — и Шерстяной через плечо взглянул на Надю, как удав на кролика.

— Быть или не быть — вот в чем вопрос... — тихонько сказал Чижевский, покачивая коньяк в рюмке. — Печальную вы нам рассказали историю. Давайте-ка выпьем за барана-пробника, чтоб его клечатые штаны иногда все-таки лопались по швам.

Мы сидели в "Национале" до самого обеда. Когда принесли счет, Шерстяной даже удивился:

— Дорогие у вас тут столовые! — сказал он.

— На то и Москва, — заметил на это Коньячный. — И дедушку поздравили...

— Я вас просил бы... — сказал Цугундер. — Без намеков, невежда!

Обедать решили ехать в клуб писателей.

— Там столовая, что ли? — разведал Шерстяной.

— Есть, есть! — успокоил я его. — Голодные не будем.

Чижевский и Лика поехали с нами, и, конечно, потаскуха, не отходившая от Шерстяного ни на шаг. Занюханного паренька, так и не проронившего за все утро ни одного слова, а только глазевшего то на Лику с обожанием, то на Шерстяного почему-то с ненавистью, решено было отправить.

— Ну, теперь ступай, — сказала ему Лика. — Ты хороший мальчик, — при этом он вздрогнул, как будто его стукнуло током, — а я — птица. Как-нибудь в другой раз. Ступай домой!

— У меня нет дома, — промычал хороший мальчик. — Весь мир мой дом... — он, видно, писал стихи.

— Да, я знаю, — сказала Лика. — Может быть, мы еще встретимся.

— Но вы же сами сказали... — упрямо стоял хороший мальчик. — А теперь... — и он поглядел на нас, уводивших от него Лику, с яростью отчаяния. Как будто мы ворвались к нему в дом и, пользуясь численным перевесом, безнаказанно творим на его глазах всякие безобразия.

Лика улыбнулась долгой улыбкой, повернулась и пошла с нами к стоянке такси. А мальчик остался стоять на месте. Мне даже жалко его стало. В другой раз не будет возлагать на Лику чрезмерных надежд.

Не знаю почему — может, под впечатлением рассказа Шерстяно-

го — мы остановили такси, немного недоезжая клуба, у центральных ворот зоопарка.

5

— Наш друг и кормилец товарищ Шерстяной никогда не был в зоопарке, — сказал Чижевский, подойдя к кассе. — Это и понятно... А вы, Ибрагим? Дети приходят сюда, а вы ведь тоже дитя природы, правда, бывшее. Вы здесь были?

— Сейчас буду... — сказал я. Мне стало почему-то совестно: как это так, до сих пор я не был в зоопарке. Чижевский умел ввести человека в смущенье.

— Зоопарк — это исправительно-трудовой концентрационный лагерь усиленного режима, расположенный в самом центре Москвы, на Красной Пресне, в сердце революционных боев пролетариата в 1917 году, — давал пояснения Чижевский, пока Шерстяной платил за билеты. — Трудовому исправлению подлежат в лагере посетители: они трудятся, рассматривая заключенных, и исправляются, перенимая опыт их поведения и следуя их примерам... Вы, Лика — птица. Вы были здесь?

— Нет, — сказала Лика. — Но, право же, я сожалею.

— Кстати, — сказал Чижевский, — а что вы за птица, Лика? Я давно вас хотел об этом спросить. Вы — жар-птица, как вы думаете?

Лика вдруг остановилась, как вкопанная, а потом медленно подошла к огородке прудика и прислонилась к ней. Черный лебедь плыл по пруду, черный лебедь с коралловым клювом и крахмальным кружевом хвостового оперения.

Лика стояла у огородки совсем одна, спиной к нам, и мы не подходили к ней.

— Она птица высокого полета, — сказал я, но Чижевский пропустил это мимо ушей. Он был серьезный прозаик, он смотрел на Лика, не отрываясь, и лицо его было холодно и сосредоточенно. А что до высоты Ликиного полета — это он и без меня знал.

Лика наконец повернулась к нам — и лицо Чижевского вмиг подобрело и разгладилось, словно бы он увидел то, что сам подготовил в трудах и мученьях, а теперь вот с облегчением наблюдал результат, в точности соответствующий его замыслу: Лика улыбалась, а в глазах ее стояли глубокие слезы.

— Я хочу быть, как она, — сказала Лика, — как эта лебедь. — И добавила шепотом, глядя в землю, вбок: — А я — стервятница...

— Стервятница в жар-птичьем оперенье, — сказал я, и Лика взглянула на меня благодарно, подошла и тесно взяла меня под руку. Конечно, лучше уж быть красивой, великолепной стервой, чем уродливой и страшной. Это же ясно, как картошка. Тем более, что черная лебедь с кружевным хвостом осталась позади, и о ней все уже было сказано. Это даже хорошо, что ее больше не видеть.

— Но вы, Наденька, бываете здесь часто, — сказал Чижевский. — Я вижу, вы смотрите на братьев наших меньших без всякого любопытства новизны — как на старых знакомых, кур, скажем, или гусей. Вы все о них уже знаете, все заключения вами уже сделаны, и вас пробирает озноб воспоминаний.

— Нет, что вы, — сказала Надя. — Просто я немного застыла.

— Водки надо купить, — сказал заскучавший Шерстяной. — Может, я сбегаю?

— Водка нам не помешает, — сказал Чижевский. — Мы купим водку в забегаловке “Фламинго”.

— А закусить? — спросил Шерстяной. Он мог пить и без закуски, но предпочитал закусывать.

— Уважаемый поилец, это я беру на себя, — сказал Чижевский. — Мы разделим харч со львами. Вы боитесь львов?

— Нет, — сказал Шерстяной, подал плечи вперед и победоносно взглянул на Надю. Он бы лучше дал отрубить себе язык, чем сознался в том, что боится чего-нибудь на свете. Отвечая Чижевскому, он чувствовал себя полномочным представителем нашего отважного горного народа.

— В зоопарке надо говорить правду, — строго сказал Чижевский. — Я боюсь львов. И вы их боитесь. Но не будем спорить на эту тему.

Тем временем мы поравнялись с бобровой вольерой. Двое детишек, задумчиво мусоля красных леденцовых петухов, разглядывали бобра, сидевшего у своей хатки и перебиравшего над водой передними лапками.

— Глядите, он стирает! — вскрикнула Надя и, оставив Шерстяного, подбежала к вольере. Дети не обратили на нее никакого внимания. А Шерстяной, шагая с достоинством, подошел взглянуть, кто ж там стирает — раз это так взволновало Надю.

— Да, — подтвердил Шерстяной, исследовав положение. — Зверек хороший... Пошли, что ли?

И Надя с несколько смущенной улыбкой, обращенной к себе, а не к другим, пошла за Шерстяным, следовавшим чванливо: вот он

какой, Шерстяной — только кликнул, позвал “Пошли, что ли?“, — а она и пошла. Так она шла до самого птичьего заповедника и улыбалась этой самой улыбкой, какую я у нее прежде никогда не видал — как будто мы, легко знакомые ей люди, застали ее за каким-то интимным-разинтимным делом. Нет, не то чтоб она, скажем, спала с кем-то из нас, а другие бы в этот самый момент вошли в комнату. Не это. За другим каким-то делом.

А Надя шла и думала, что точно вот так, как бобер, стоит и стирает на ее, Надиной, коммунальной кухне тетя Паша. Стоит в углу над тазом, выставив большой квадратный зад на отекавших, белесых ногах, и коричневые ее бумажные чулки спущены ниже колен и завернуты узлами внутрь. Увидь Надя тетю Пашу в натуральную величину, в кухне — ничего, кроме отвращения, она бы в ней не вызвала: вражда между ними была застарелой, кухонно-коммунальной бабьей враждой. И вдруг здесь, у бобровой вольеры, к высочайшему Надиному удивленью, в истоках которого она и не пыталась разобраться, она вдруг почувствовала некое теплое расположение к тете Паше, похожей на бобра, а заодно уж и к парализованному старику Максимичу, смерти которого она жаждала в надежде получить его светлую комнату в конце коридора, и к Чижевскому, и даже к Шерстяному, который минуту назад был ей невыносимо противен, и ко всем другим людям, знакомым ей и вовсе не знакомым.

Птичий заповедник весь колыхался от щебета, крика, гуканья, попугайского бисера и совых вздохов. Мне хотелось разобраться во всей этой музыкальной пестроте, поэтому я не пошел во “Фламинго” за водкой, а сел на лавочку и стал разглядывать население гигантской клетки. Лика тоже не пошла во “Фламинго” и села рядом со мной. А мне как раз хотелось побыть одному.

— Ты хороший, Ибрагимчик, — сказала Лика.

— Тому занюханному дураку в кафе ты тоже сказала, что он хороший, — буркнул я. Я заметил птичку, птичку-курочку в клетке, и мне хотелось думать об этой птичке-курочке, а не трепаться с Ликой без всякой пользы. Для нее все — хорошие.

— Вы все хорошие, — сказала Лика. — Только лучшего нет...

— Да, — сказал я. — Нет.

Лика все-таки высоко летала, а сверху-то оно видней, и она поняла, что не надо ко мне сейчас приставать с разговорами.

Я глядел на эту самую курочку в пестром платице, беспокойно попрыгивавшую с места на место, и видел Гору, наш двор на ней,

и большое солнце над двором. Видел себя — десятилетнего оборванца, и жирную пеструю курицу, по-дурацки прыгающую по солнечному двору и косящую на меня круглым кожаным глазом. Курица опустила упругое крыло в пыль и начала вертеться на месте, и крыло ее чертило круги. Петух не стал дожидаться повторного приглашения — он живо соскочил со своего наблюдательного пункта на жердочке, разбежался как-то рассерженно и оседлал пеструху. Пеструха вертелась для порядка, петух ухватил ее клювом за хохолок на голове, и она только постанывала... Потом петух соскочил по-молодецки и пошел прочь на кривых кавалерийских ногах, а пеструха возмущенно отряхивалась и приводила себя в порядок.

Согнувшись вбок и волоча руку по земле, я стал топтаться по кругу и кудахтать на все лады. Петух несколько раз взглянул на меня подозрительно, но подошел с независимым видом. Тогда я с маху саданул его ногой, бросился к пеструхе и схватил ее. Она была теплая, почти горячая. Меня прямо какое-то бешенство окатило от этого ее жара. Я рванул штаны — и насадил ее на себя, изо всех сил, до отказа. Она дернулась раз-другой, заорала. Я крепко зажал ее голову в кулак... Может, она от этого и подохла — кто ее знает. Я закопал ее в углу двора и вернувшемуся под вечер Хасану сказал, что курицу унес орел. Прилетел и унес.

— А петух почему хромает? — хмуро спросил Хасан. — Орел его укусил, что ли?

Почему меня потом прозвали в ауле “Хелеко” — не знаю. Может, орел, который не прилетел, видел?

Расскажи я сейчас эту историю Лике — она, наверно, будет смеяться надо мной. А может, и не будет.

Эту курицу я принес в жертву моему темпераменту. Я превратил ее в труп и похоронил. А Лика приносит кур в жертву своему аппетиту и превращает их в дерьмо.

— Знаешь что, Лика? — сказал я. — У меня есть к тебе одна просьба: зови меня Хелеко.

— Хелеко, — повторила Лика. — Красивое слово... А что это значит?

— Это по-нашему Петушок, — сказал я.

Знакомый Чижевского — старик по имени Володя — служил в льявятнике надзирателем.

— Посмотрите на него, — сказал Чижевский, когда мы вошли в

надзирательскую, — не правда ли, он похож одновременно и на инквизитора, и на жертву инквизиции?

После душной вони льявтника воздух в надзирательской показался нам чуть ли не горным. Старик Володя в грязном синем халате варил что-то в большом бачке на электроплитке. Чижевский, подойдя, приоткрыл крышку, понюхал пар и спросил:

— Конишка?

— Конину татары употребляют, — отозвался Володя. — А у меня — львы... Говядина это!

Шерстяной выставил на стол три бутылки водки в зеленой посуде и покосился на дверь: львы смачно ревели в демонстрационном зале.

— Что все-таки делает неволя... — задумчиво заметила Лика. — Львы перешли на вареное мясо!

— Ну нет, — живо возразил Володя, вываливая куски жирной говядины в большой эмалированный таз. — Львы получают у меня сыртыну. Но вы-то, к примеру, сыртыну не станете есть? Вот я и варю.

— Я же обещал вам львиный харч, — сказал Чижевский. — Володя, стаканчики, пожалуйста! Мы будем пить за львов, дающих нам пищу.

— А львы косточки, что ли, грызут? — спросил я. У меня было почему-то такое ощущение, как будто мы отняли конфету у ребенка.

— Зачем же! — опроверг Володя. — Им тоже хватит, вы за них не беспокойтесь. У них жизнь обеспеченная, их Министерство культуры по первой категории снабжает. Как начальников отделов.

— Хорошее мясо! — со знанием дела одобрил Шерстяной, выбивая мозг из кости на клеенку. — Воруешь много?

— Не больше половины, — объяснил Володя. — Кое-что на собственные нужды, остальное — на продажу. Так и живем... Соль дать?

— Давай, — сказал Шерстяной. — А лук есть?

— Сейчас к обезьянам сбегаю, — сказал Володя. — У них должен быть. Мои лук не едят.

Володя вернулся скоро, таща в мешке лук и связку бананов.

— Жестковаты бананы, — сказал Володя. — Только привезли. У обезьян работать скучно — фрукты да фрукты. А у нас фрукты — сами знаете какие — трава.

— А в птичнике? — спросил я. — Там как?

— Плохо, — определил Володя. — Крупа одна. Кулеш с нее, что ли, варить?

— А в словнике? — спросила Лика.

— Брюква, — сказал Володя. — И репа. Сено еще. И опасно: слон дурак, как перетянет хоботом по спине — пиши пропало... У нас в льявнике — это да! Лев — царь зверей. Да вы ешьте — мясо-то стынет.

Под царскую закуску водка шла отменно. Закончив третью бутылку, мы собрались уходить.

— Уже, что ли? — расстроился старик Володя. — Погодите чуток!

Сбегав в кладовку, он приволок оттуда шмоток парного мяса килограммов на пять.

— Знаменитому писателю от львов, — сказал Володя, заворачивая мясо в газету.

— Не надо... — поморщился Чижевский.

— Я возьму, — сказал я. — Я студент, мне мясо надо.

— Заглядывайте почаще! — напутствовал нас Володя. — На той неделе на площадку молодняка сгущенное молоко завезут!

В этот час в зоопарке было немного людей. Дети бегали от клетки к клетке, показывали животным язык, бросали сквозь прутья камешки или огрызки булок. Родители, сидя на скамейках, попивали пиво из бутылок и ели бутерброды с колбасой. Даже у выездного круга не было очереди; пони и ослы, запряженные в тележки, сонно потряхивали головами и позванивали бубенчиками.

— А обезьяны? — сказала Надя. — Мы же не видели обезьян!

— Ну их к черту! — сказал я. — Сначала сожрали их бананы, а теперь смотреть на них... Неудобно даже. Поехали в клуб.

— А слоны! — не успокаивалась Надя. — Как же без слонов?

— Ладно, — решил Чижевский. — Заглянем к слонам. Все равно по дороге к выходу.

У слоньего загона толпился народ, шумел. Родители, посадив детишек на плечи, смотрели в загон жадно, с ухмылками: есть ведь на что смотреть, взгляд мимо не проскочит, куда там.

Слоновник, как ладошкой, покрывал вершину горки. С этой горки хорошо было видно, почти весь зоопарк просматривался насквозь. По аллеям, избегающим к слоньнику, молча подымались люди. Они шли группками и в одиночку — все наверх. Даже немного страшно было смотреть на это целеустремленное движение. Как будто бы радио объявило: "Граждане посетители зоопар-

ка! У центральных ворот произошла вооруженная высадка марсиан. Посетителей просим без паники собраться на слоновьей горке. Дирекция". Вот люди и шли, вверившись судьбе и дирекции.

По слоновнику пружинистой походкой разгуливал слон. Он вышагивал вдоль высокого стального частокола, за которым, отделенная от слона, стояла, развесив уши, слониха. Слониха внимательно следила за своим приятелем маленькими глазками, но, надо сказать, не принимала происходящее близко к сердцу.

Люди проявляли куда большую заинтересованность. Слон был слишком велик и огромен, чтобы ограничиться разгуливанием по пятачку своего загона. Что-то должно было здесь произойти — может быть, страшное, во всяком случае необыкновенное, что не каждый день увидишь, — и люди, вместе со слонихой провожая взглядом каждое движение слона, терпеливо ждали. А движения эти были довольно разнообразны: достигнув глухой стены, слон проворно и резко, как пловец от стеночки бассейна, разворачивался, привставая немного на задних ногах, потом, трясая тяжелой лобастой башкой, описывал крюк и устремлялся к частоколу. Подойдя вплотную, он заносил переднюю ногу и ударял по прутьям. Люди, затаивая дыхание, ожидали железного скрежета и грохота; но мягкая слоновья нога лишь беззвучно сотрясала стальной частокол.

Слон, вытягивая хобот, ревел, львы отвечали ему рыканьем с другого конца зоопарка, и от этого дуэта мороз подирал по коже... Многим зрителям, я уверен, хотелось повернуться и бежать, придерживая шляпы и кепки, — что-то запретное для людей было в этом мрачном стремлении слона к серой ушастой горе по другую сторону забора. Но никто не двигался с места, а прибывающая толпа все уплотнялась, утрамбовывалась, и только папиросы тлели во ртах. Молчали мужчины и женщины, и молчали их дети, охваченные электрическим напряжением родителей. Пульс толпы наверняка давно уже перевалил за сотню.

И вот наконец сдавленный стон возник в толпе: слон, привалившись плечом к частоколу, вывалил из-под задних ног черную кишку толщиной с полено. Кишка медленно поползла вниз и почти достигла земли.

Я оглянулся. Потаскуха Надя с побелевшим лицом, с приоткрытыми губами мертвой хваткой вцепилась в рукав Шерстяного, как будто Шерстяной был последней надеждой в этом рушащемся мире, за которую можно было уцепиться и отстоять свою жизнь. Лица мало чем отличалась в этот момент от Нади — она глядела на кишку,

как на девятый вал, с ужасом и восторгом, вот только вцепиться ей было не в кого, поэтому ладони ее, сведенные в кулачки, сжимались и разжимались впустую. Чижевский наблюдал за происходящим с виноватой стеклянной усмешкой — как будто бы это он сам, болтаясь между слоновыми ногами, явился причиной всеобщего замешательства. Но самую потрясающую картину являл собой Шерстяной: глаза его вылезли на лоб, из широко открытого рта доносились смутные трагические хрипы. Вся сила духа и сердца рывком прилила к его глазам, и бедный мой земляк был близок к обмороку от такого резкого перемещения. Впрочем, свались он наземь — в толпе не обратили бы на это внимания. Толпа мутнела сотнями плоских лиц, нацеленных, как радары, в одну точку. Тяжелая тишина висела над сборищем.

Да и мне эти минуты дались с трудом — я ведь летаю только по праздникам. А в остальные дни я — как все, как вон тот офицер, сунувший папиросу тлеющим концом в рот и даже не дрогнувший.

Так мы могли стоять до бесконечности: до нервного расстройства или голодного падежа.

Но случилось иначе.

Служитель выволок из подсобки пожарный шланг и направил в слона струю воды, норовя попасть в горячее место.

— Шанго! — кричал служитель, с трудом удерживая рвущийся из рук шланг. — Ишь ты, кобель какой!

— Ну, на сегодня хватит, — сказал Чижевский. — Поехали в клуб.

Толпа медленно расходилась, как после тяжелого фильма с трагическим финалом.

6

Гардеробщик Митрий приветствовал нас так, будто мы были Пушкин и Лев Толстой, вместе взятые: горячо приветствовал. А ведь больше полтинника он на нас не заработает, это он точно знал. У Федина он, скажем, шляпочку примет, зонтичек подаст — вот уже и рупь, — а все же Федина, как нас, он встречать не станет. Митрий — чистый человек, самый, может, чистый в клубе писателей: не по одежке он встречает. С ним водку надо пить, вот он и будет хорош. А я с ним пил, и не раз. Знаю, где у него стаканчик хранится: под гардеробной стойкой, в отделении для галош, в нижней правой ячейке. Как у таксиста — в бардачке, так у Митрия — в нижней правой ячейке. Мой товарищ чистый Митрий и вообще-то немного сма-

хивает на старого таксиста: мудр и циничен, как змий, и, как змий, в душах человеческих читает не по складам, а одним взглядом берет целую страницу. И пьет, как таксист: родимый граненый, хранящийся в нижней правой, всегда готов принять в себя что-нибудь крепенькое, поднесенное приятным человеком...

А в подпитии Митрий распоясывается и изысканно хулиганит. Однажды под вечер, хватив пару граненых, он позволил себе шалости со знаменитой публицисткой Генриэттой Оганян, с которой, по преданию, спал сам Блок где-то на заре века. Старуха Генриэтта, специализировавшаяся на электронных достижениях нашей промышленности и на копчении каспийского балыка, была глуха, как тетеря — но слуховой аппарат игнорировала. Все слова, адресованные ей, она выслушивала через большую деревянную трубу, приставляемую замусоленным кончиком к волосатому уху. Для начала Митрий, сунув губы в раструб, рассказал Оганянше что-то в высшей степени неприличное. Старуха призадумалась, потрясла головой и кое-как переварила сорокоградусный Митриев юмор. Тогда одержимый бесом Митрий распялил Генриэттину котиковую шубу на манер плаща тореодора и стал скакать и прыгать перед старухой, инстинктивно тянущейся к рукавам. Утомившись, Митрий сгробастал древнюю знаменитость и с причмоком поцеловал ее в трубу. Оганян, сочинявшая не только балыковые очерки, настрочила донос, выдержанный в лучших литературных традициях, и Митрий едва не лишился места... С какой стати Митрий, рискуя карьерой, целовал в трубу именно мстительную стерву Оганян? Вот это и интересно.

На большом щите, где обычно вывешиваются объявления о смерти очередного писателя, на сей раз значилось: "За нарушение правил поведения в общественных местах поэт Мусаев Ибрагима лишит права посещения клуба сроком на один месяц". Лишенцем я был объявлен несколько дней назад — после того как выплеснул фужер лимонада в рожу вологодского Оксина, назвавшего Пастернака свиньей, забравшейся в чужой огород. По законам хорошего тона я хотел было облить Оксина коньяком, но потом мне жалко стало добра — хватит с Оксина и газированной водички.

— Товарищ Мусаев, — робко поднялась мне навстречу девица, проверявшая пропуска в наш клуб, — вы лишены на месяц...

— А я больше не Мусаев, — сказал я, отстраняя девицу. — Вы разве не знали? Я теперь — Ибрагим Хелеко.

Тут-то я и решил подписать книгу новым именем и войти в лите-

ратуру не безликим Мусаевым, а загадочным Хелеко. Тем более, это слово так понравилось Лике Лаврентьевой.

Мы все прошли в бар и сели за столик — выпить по рюмке, оглядеться, а потом уже решить, где обедать: в малом зале кафе или в большом зале ресторана. Шерстяной вертелся на своем стуле и лупил глаза по сторонам, как будто попал в планетарий.

— Это столовая? — спросил Шерстяной с сомнением в голосе.

— Столовая, столовая, — сказал я. — Чижевский, закажите пока по сто коньяка, а я покажу Шерстяному эту забегаловку.

— А мне можно посмотреть? — спросила потаскуха Надя. — Я так мечтала попасть в клуб писателей!..

— Можно, — сказал я. — Пошли.

Мы прошли в ресторан. В зале было почти пусто, только в дальнем углу, у камина, Сережа Белкин трудился над филе по-суворовски в обществе какого-то иностранца и кислмордой переводчицы из Иностранной комиссии. Я сделал Белкину знак рукой — мы, мол, в баре, приходи, если хочешь.

— Это Белкин, — сказал я Шерстяному, ошибочно считая комментарии излишними.

— Не знаю, — сказал Шерстяной. — Не слышал.

Зато Надя изменилась в лице.

— Это Сережа Белкин?! — словно бы остановленная пистолетным выстрелом в упор спросила Надя.

Не люблю я, когда незнакомого Сергея называют Сережей, а знакомого Василия — Васей. Меня это всегда раздражает.

— Не смотри на него так, — сказал я Наде. — А не то Шерстяной станет ревновать, проткнет его вилкой и укоротит нашу поэзию на целого Белкина... Шерстяной, ты же не хочешь, чтобы Белкин увел у тебя девушку?

— Кто? — выкатывая грудь из пиджака и сжимая кулаки, взревел Шерстяной. — Какой-такой? Я ему сейчас все кишки на шею намотаю!

— Вот видишь, — сказал я Наде. — Ты с кавказскими мужчинами шутики не шути. И пожалей Белкина.

В кафе дым стоял коромыслом, и все столики были заняты. Жрать позолоченное двухрублевое филе здесь было не обязательно — можно было только пить, закусывая яблочком или конфеткой. Не все же здесь у нас Белкины, не всем Иностранная комиссия оплачивает полный обед с шампанским.

Против двери, в огороженном пространстве, расхаживал в нос-

ках доставленный из Симферополя грек и варил в жаровне, в раскаленном песке, кофе по-турецки. Этот грек и его кофе были гордостью клуба — больше нигде во всей Москве такого не случилось: ни у киношников, ни у журналистов, ни тем более у композиторов в их “Балалайке” в Брюсовском переулке. Союз писателей пробил греку московскую прописку и однокомнатную квартиру, но греку было почему-то скучно в Москве, и он собирался уезжать обратно в Симферополь. А пока не собрался, братья-писатели запивали коньячок ароматным турецким кофейком. Грек, надо сказать, был мастером своего дела.

Сдвинув три стола в один, в кафе гулял с компанией детский поэт Виталий Бур. Это ему принадлежали знаменитые строчки “мы мышата молодые, любим щелки половые”, адресованные нашим советским детям и опубликованные в журнале “Мурзилка” по три сорок за строку. Теперь Бур приняли в Союз писателей, вот он и устроил гулянье. Руку могу дать на отрез, что здесь, в кафе — это только вступление, что Бур уже заказал малый зал на вечер и будет там поить и кормить начальство во главе с оргсекретарем Союза писателей Ильиным — бывшим генерал-лейтенантом МГБ. Детским поэтам живется хорошо, у них тиражи миллионные. Вечером — шашлычок по-карски под “Двин” для Ильина, днем — водочку под грибки для друзей-товарищей. Все довольны.

— Ибрагим! — окликнул меня Бур. — Меня в Союз приняли, иди выпей с нами!

— Потом подойду, — буркнул я. — Вечерком. Нас тут целая шобла. Надо выпить за тебя. Вечером мы тебя найдем.

— Не надо, — жестко сказал детский поэт. — Лучше сейчас приходите.

— Ну, поглядим, — сказал я, проходя мимо.

Виталик Бур на самом деле никакой и не Бур, а Рожковский. Просто его покойный папа писал эстрадные лирические песни вместе с Бучкиным. Бучкин и Рожковский — вот и подписывались они “Братья Бур”, и под этим именем заслужили любовь советского слушателя. Виталик вначале не хотел пользоваться папиной и Бучкина славой, и первые свои детские стишата про молодых мышат подписал — “Рожковский”. За “половые щелки” его, надо сказать, прилично расчихвостили, прямо житья ему не давали целых полгода. Вот он и решил исправить положение и обозначиться все-таки как Виталий Бур. И уже под этим именем он написал известные пограничные стихи для детей “Овчарка, пенная, как чар-

ка, кусает след. Спасенья нет". Нет худа без добра. Имя братьев Бур теперь никогда не будет предано забвению.

— Слушай, Ибрагим! — крикнул мне вслед Виталик Бур. — Ты здесь Шкаликова нигде не видал?

— Нет, — сказал я. — А что такое?

— Да он со мной пришел, — объяснил Виталик, — сидел, сидел, а потом куда-то пропал. А он пьяный — сам знаешь какой.

Я знал. Шкаликов — классный киносценарист, но по пьянке мог откусить нос самому Федину. Такой акт каннибализма сильно подпортил бы дела Виталика Бура, вот Виталик и беспокоился.

На лестнице, ведущей в бильярдную, я носом к носу столкнулся с молодым новеллистом Кешей Дупелем — маленьким евреем с карими девичьими глазами и детскими ручками и ножками.

— Шкаликова не видел? — спросил меня Кеша.

— Нет, — сказал я. — Меня уже Бур спрашивал.

— Да я с Буром сижу, — осветил положение Кеша. — Ну, скандал будет!

— Посоветуй Буру не нервничать, — сказал я. — А то его на вечер не хватит.

— Бесплатные советы! — хмыкнул Кеша. — Только выложив десятку, человек слушает совет обоими ушами.

— Бур не даст, что ли, десятку? — спросил я.

— А ты бы дал? — спросил Кеша. — Ну вот... Слушайте, ребята, что вы вечером делаете?

— Что будет делать Шерстяной с Надей — познакомься, кстати — это я знаю точно, — сказал я. — Остальное — темный лес.

— Может, ко мне поедем? — спросил Кеша. — У меня дома бутылка водки есть.

— С нами Лика и Чижевский, — сказал я.

— Ну и ладушки! — неизвестно чему обрадовался Кеша. — Только вот водки маловато. У кого бы денег подзанять?

Шерстяной молча извлек из кармана заветную пачку.

— О-го! — одобрил Кеша. — Тогда все в порядке.

— В полнейшем, — сказал я. — Тебе шерсть нужна?

— Нет, — сказал Кеша. — На хрена мне шерсть?

— Ну и не надо, — сказал я. — Поедем к тебе через часок. Шерстяной еще никогда не был на Арбате.

Бильярдная с ее буфетом произвела на Шерстяного потрясающее впечатление.

— Я очень люблю шары катать, — сказал мне Шерстяной доверительным шепотом. — Сыграть можно, а, Ибрагим?

— Больше чем по трешке не играй, — предостерег я моего земляка. — А то тебя здесь в два счета разденут. И смотри, сукно не порви, а то вся твоя шерсть на расплату пойдет.

— А я с ним пока побуду, — предложила свои услуги Надя. — Вот здесь в буфете посидеть можно.

— Договорились, — сказал я. — Дай-ка мне, Шерстяной, пару бумажек — потом как-нибудь рассчитаемся.

Шерстяной дал, не считая. Сразу видно — наш человек, горный. Дал — и сразу попер к столу, как боксер-тяжеловес после начала первого раунда.

— Ты его иногда наверх приводи, — сказал я Наде. — А то вон тот — видишь? В синих штанах, с бабочкой — это Чумаков, он его живо обштопает. Тебе же хуже будет.

— Ты прелесть, Ибрагимчик, — улыбнулась Надя. — Все будет о'кей.

Сговорились они все, что ли? То "прелесть", то "хороший". Этими всеми комплиментами жив не будешь. Скоро вечер, а потом, между прочим, и ночь. Жалко пить — добро переводить. Душа, конечно, греется, это хорошо, прекрасно. А что б такое для тела придумать, чтоб оно не обижалось и пришло в соответствие с душой? Сиделке, что ли, позвонить? Так она, ведь, наверно, уже закончила свои сидения в операционном корпусе. Вот черт. Пить-пить, а потом лезть в общежитскую мою кровать, как в одиночку. Хуже не бывает.

По дороге в бар я решил заглянуть в малый банкетный — может, повезет, встречу кого-нибудь из старых знакомых, кого можно уволочь вечерком в мою одиночку. В малом банкетировало человек двадцать, и банкетировали они, надо думать, уже давно. Во главе стола сидел мой приятель с третьего курса Давид Гольдшмит по кличке Иерусалимский казак. Давид учился на заочном, все время пропадал то на Памире, то на Тянь-Шане и показывался в Москве только затем, чтобы получить деньги то за книжку об охотниках, то за книжку об альпинистах. Это ему нужно было для прокормления, а так он писал грустные стихи о том, как ему обрыдли березы и елки и как он мечтает о пальмах своей еврейской родины. Когда он напивался, он всегда лез драться безо всякого на то повода, преимущественно к русским. Но русские ребята относились к нему хорошо, говоря между собой: "Он хоть еврей, но свой му-

жик: и пьет, и дерется". Однажды я спросил его, чего ради он мотается по горам вместо того, чтобы сидеть в своей московской квартире и зашибать денежки, переводя на русский язык нашу многонациональную советскую поэзию во всей ее широте — от чукчей до украинцев. Это у него получалось хорошо, он и меня немного переводил — конечно, по подстрочнику. "Если бы я был русский, — сказал он мне тогда, — я бы сидел дома. А я, слава Богу, еврей. Я одного барса застрелил на Памире — это для всех евреев полезно. Мне еще надо шеститысячник взять — есть один такой на леднике Федченко, там уже человек пятнадцать шеи свернули. А я, еврей — возьму". Почему бы ему, действительно, и не взять этот шеститысячник? Но благодарить Бога за то, что Он создал тебя евреем — это уже слишком. Я был бы рад за Давида, если бы Бог создал его русским или даже аварцем — таким, как я. Тогда бы у него было куда меньше забот. Но ему нравится быть евреем, как дрессировщику львов нравится быть дрессировщиком львов. Если бы Давид не был евреем, он был бы дрессировщиком львов. Так я думаю.

Теперь рядом с Давидом сидел какой-то азиатский человек в сером халате и тибетейке. В отличие от всех прочих этот человек был абсолютно трезв и держался с мягким, невызывающим достоинством.

— Заходи, Ибрагим! — крикнул мне Давид. — Это твой тезка, его тоже зовут Ибрагим, я привез его из кишлака Золотая Могила в Москву на недельку. Он ловит барсов. Ловит их в капкан, а потом берет оттуда живьем. Я сам видал.

Мой тезка, ловец барсов, почему-то не вызвал во мне прилива нежности. Ловец — так ловец. Вечно этот Давид ищет всякие редкости.

— Как дела? — спросил я ловца. И подсказал: — Хорошо?

— Хорошо, — подтвердил ловец.

— Барс — сердитый? — спросил я, чтобы порадовать Давида, глядевшего на ловца влюбленными глазами.

— Очень, — сообщил ловец. — Ой, сердитый!

— Ну сердитый, значит, давно не битый, — подытожил я и на том закончил разговор с моим среднеазиатским тезкой.

— Ибрагим — мой брат, — сказал Давид, обнимая ловца за плечи. — Он киргиз, а я еврей. Мы оба азиаты.

Сделав такое заявление, Давид огляделся довольно свирепо —

никто ли не хочет ему возразить? Но возражать ему никто и не собирался.

— Слушай, Иерусалимский, — сказал я, — ты в Москве сколько пробудешь?

— До конца месяца пробуду, — сказал Давид, очень любивший, когда его называли Иерусалимским казаком. — А что?

— Есть подстрочник, — сказал я. — Вот, “Рыжие суки” называется.

Давид взял подстрочник и молча прочитал его.

— Грандиозно! — сказал Давид, размахивая моим подстрочником, как флажком. — Вот это же грандиозно: “Убирайся, голубоглазая рыжая сука! В горах меня ждет лань с черной косой”. Давай выпьем за это. Ты понял меня?

— Понял, — сказал я и выпил.

Я ему специально дал “Рыжих сук” — знал, что он поймет. Но говорить об этом громко в клубе писателей все же не стоит. Ловец-то — он, может, и не стукач, а вот критик Алешка Марков — стукач, это вся Москва знает. Зачем ему знать, что я называю русскую девушку голубоглазой рыжей сукой? Вовсе ни к чему.

— Теперь давай выпьем за Ибрагима, — сказал Давид. — Он один раз барса ножом зарезал как барана, а барс ему ногу драл.

Выпили и за это. Давид как загуляет — любо-дорого глядеть.

— А ты что ж не пьешь, Ибрагим? — спросил я. — Так не полагается.

— Ему нельзя, — ответил Давид за ловца. — Он верующий мусульманин.

— А иерусалимским можно, что ли? — спросил я. — Вам тоже нельзя.

— В Иерусалиме нельзя, — серьезным тоном разъяснил Давид. — А здесь можно. Это не считается.

— Ну ладно, — сказал я. — А зачем ты Маркова поишь? Он же стукач.

— Во-первых, это смешно, — сказал Давид. — Стукач пьет на мои деньги и говорит мне спасибо. И потом, Маркова все знают. Гнать его — другие налезут, неопознанные. А этот вроде бы уже “свой” стукач.

— Поехали вечером к Кешке? — сказал я. — Он в гости зовет.

— Не могу, — сказал Давид. — На “Щелкунчик” идем в Большой. Ему, — Давид кивнул в сторону ловца, — интересно будет посмотреть. А я “Щелкунчик” этот не люблю — знаешь, почему?

— Ну? — сказал я.

— Да там одни мыши, — сказал Давид, — черт их подери. Не люблю.

За нашим столом в баре сидел и пил кофе с молоком Арье Семеныч, которого все звали Колумбарий Семеныч. Дело в том, что Арье возглавлял особую комиссию клуба, называемую почему-то оздоровительной. В этом качестве он командовал всеми похоронами умерших членов Союза писателей. Ему было много, очень много лет. Он, говорят, хоронил еще Льва Толстого. Смерть, верным сотрудником которой он был вот уже лет шестьдесят, обходила его стороной. Они отлично сработались друг с другом.

В служебные обязанности Арье входило посещение тяжелобольных писателей. Если в квартире такого тяжелобольного появлялся Арье со своей философской ухмылочкой на розовой мордочке, — значит, пиши пропало: скоро на кладбище. А вот на какое кладбище — краснознаменное Новодевичье или серенькое Ваганьково — это уже забота Арье-Колумбария. Решает, конечно, не он, а секретариат Союза писателей — но к его мнению прислушиваются, потому что все без исключения члены секретариата безусловно уверены в том, что именно Арье-Колумбарий похоронит их спустя положенное время. Никому и в голову не может прийти, что в один прекрасный день сам Арье отбросит сандалики и поедет в сером автобусе с черной полоской на погост. В глазах простых смертных Арье был бессмертен, как сама смерть.

— Арье Семеныч, дорогой, — льстиво заглядывая в личико Колумбария, сказал Чижевский, — мы ведь с вами знакомы не первый десяток лет. Я стар и болен. Пройдет год-другой, и...

Отставив кофе, Арье Семеныч горестно пожал плечами и развел руками, показывая тем самым, что он, при всех его связях, не волен влиять на ход судьбы.

— А что говорят врачи? — спросил Арье Семеныч, возвращаясь к кофе с молоком.

— Они молчат, — сказал Чижевский. — И это плохой признак.

— Гм, — сказал Арье Семеныч и цепко оглядел собеседника, словно бы измеряя длину его фигуры в дурно сшитом костюме.

— Скажите же мне, друг мой, — вкрадчиво попросил Чижевский, — по какому разряду меня похоронят?

— По второму, — без тени сомненья в голосе сообщил Арье Семеныч.

— А сколько всего разрядов? — продолжал допытываться Чижевский.

— Всего четыре, — сказал Арье Семеныч. — Раньше было три, но теперь членов Литфонда, не являющихся членами Союза, перевели в четвертый разряд.

— Я член Союза со дня его основания, — сказал Чижевский. — Но я готов выйти из Союза и остаться только в Литфонде... Понимаете?

— Члены Литфонда могут рассчитывать на крематорий, ну, в лучшем случае — на Переделкинское кладбище. Всего два автобуса для провожающих. Без оркестра. Зачем вам это? — и Арье Семеныч взглянул на Чижевского сердито. Он не любил путаницы в табели о рангах.

— Похороните меня по четвертому разряду, — сказал Чижевский, прикрывая кулачок Колумбария своей прокуренной ладонью. — А разницу в денежном выражении выдайте сейчас, на руки. А, голубчик?

— Ха, — сказал Колумбарий. — Ха-ха. А ведь действительно...

Лица сидела грустно, курила и пускала дым в коктейль через соломинку.

— Грустно все это, — сказала Лица. — Как все это грустно. Чижевский, почему вы не пишете роман о нищем в ватном пиджаке? Серенький день, аптека на углу, и этот маленький нищий в ватном пиджаке...

— Разве вы не знаете? — сказал Чижевский. — Нищего давно увели в участок, судили и отправили на север, в страну дураков. Раньше он пил водку, а теперь грызет морковь. Водка всегда была теплая, потому что он носил бутылку во внутреннем кармане ватного пиджака.

— Послушайте, — сказал я, — поедemте ко мне в аул. Три часа самолетом — и моя Гора: никакой аптеки, и хоронят всех одинаково. Поедemте на недельку, Шерстяной купит нам билеты.

— Нарисуйте вашу Гору, Ибрагим, — сказал Чижевский. — Вот вам салфетка. Рисуйте.

Я водил карандашом по салфетке, и ничего у меня не получалось. Жалко, я не умею рисовать. Разве эти дурацкие палки и закорючки — моя Гора? Скомкав салфетку, я бросил ее в пепельницу.

— Нет, дайте мне, — сказал Чижевский, расправляя салфетку и аккуратно складывая ее. — Я много раз хотел нарисовать остров

Борнео, и у меня ничего не получалось. Это, наверно, потому, что я реалист. А реализм — безжалостная штука.

— Давайте пьянствовать, — сказал я. — Еще бутылка коньяка — и от безжалостного реализма и следа не останется.

— Да, — сказал Чижевский. — Мы дадим реализму взятку коньяком, и он оставит нас в покое. А завтра утром мы дадим ему пивка.

— И воблы — пусть порадуется, — сказал я, заметив входящего в бар Сашу Деревянко. В одной руке Саша нес большой портфель крокодиловой кожи, а другой обнимал за плечи Сережу Белкина.

— Ну это вы размечтались, — сказал Чижевский. — Вобла в будний день доступна только членам Политбюро.

— Министрам тоже, — сказал я, указывая на подходящего Сашу Деревянко.

Подойдя, Саша с маху опустил на стол свой крокодиловый портфель. К портфелю была приклепана серебряная пластинка с гравированной надписью: "Дорогому товарищу министру Федору Деревянко от кубинских братьев".

— Садись, Саша, — сказала Лика пустым голосом. — Давно тебя не видела.

— Великолепно! — сказал Саша. — А позавчера кто кирял в "Арарате"?

— Ах да, — сказала Лика. — Я позабыла.

Сережу Белкина она не пригласила сесть. Они развелись несколько месяцев назад, и Лика еще испытывала к бывшему мужу величайшую брезгливость.

— Пьете, — потоптавшись у стола, сказал наконец Белкин. — Ну пейте, пейте...

— Да ты садись, — сказал я. Он все-таки перевел моего "Ленина в горах".

Сережа обернулся, ища свободный стул.

— Я бегу, — подымаясь, сказал Арье Семеныч. — Работа.

— Кто умер? — спросил Саша Деревянко.

— Чикин, — сказал Колумбарий. — Утром скончался.

— Так подумайте над моим предложением! — крикнул Чижевский вслед уходящему по делам Арье Семенычу.

В крокодиловом портфеле, поднесенном Сашиному папе кубинскими братьями, обнаружилась богатейшая добыча: два десятка яиц с синим аккуратненьким штампиком "4 управление Кре. ля", здоровенная палка настоящей венгерской салями, плоская баноч-

ка красной икры, две бутылки пшеничной экспортной водки с медалями и вобляночки — пяток очаровательных рыбок, коими следовало перед употреблением постучать по столу, а потом уже снимать с них серебристую шкурку. По всем показателям мамаша Деревянко расписалась сегодня в получении еженедельного продуктового пайка из Четвертого хозяйственного управления Кремля. Саша изъясл кой-чего из кремлевских даров, загрузил кубинский портфель — и вот теперь рад облагодетельствовать нас всех. На прошлой неделе он приволок в американском чемодане системы “Джеймс Бонд” кило полтора нежнейшей семги, голландское пиво в банках, здоровенный кусман швейцарского сыру и неизменные кремлевские яйца. Кроме того в чемодане помещалась монография “Китайская классическая миниатюра”, подаренная папе китайскими братьями еще до того, как выяснилось, что мы все — поганые ревизионисты. Вот Саша и решил, что папа перебьется как-нибудь без подарка коварных бывших братьев, и самое место ему — в букинистическом магазине. Чтобы окончательно и бесповоротно разделаться с коварными китайцами, мы с соблюдением всех правил демократии пришли к единому выводу: на вырученные за монографию деньги купить отечественную водочку, выгнанную из капиталистической канадской пшенички. Так мы и сделали, и последнюю бутылку пили глубокой ночью в каком-то грязном подъезде, запивая сырыми яйцами. То-то, наверно, удивилась дворничиха, обнаружив утром на подоконнике скорлупки со штампом “4 управление Кремля”.

— С китайцами пора кончать, — сказал Саша. — В понедельник мне понадобится грубая рабочая сила.

— Что будет? — спросил я.

— Конь, — сказал Саша. — Черный мраморный конь, подарок сычуаньских пролетариев. Весит килограмм двести. Поедем на нем на Арбат, в антикварный.

— А что скажет папа? — спросила Лика.

— Папа уехал в Египет, — сказал Саша.

— Значит, скоро будем пропивать мумию, — заметил Чижевский.

— Прекрасная идея, — сказал Саша.

— Куда еще собирается ехать папа? — спросил Чижевский.

— В Штаты.

— Тогда наши перспективы безграничны, — сказал Чижевский.

— Ах, оставьте! — сказала Лика. — Это все-таки нехорошо, маль-

чики. — Она налила себе коньяку в фужер, выцедила его неспеша и облизнула дольку лимона.

— Пьете, — пробормотал Белкин. — Пейте, пейте... Эй, шампанского мне бутылку, сухого!

Он, мне кажется, все еще любил Лику. Ну еще бы.

Шерстяной, как видно, решил биться на бильярде до последнего. Это немного беспокоило меня: я все-таки был в какой-то мере ответственен за моего боевого земляка. И потом, просто глупо отдавать целый вагон колхозной шерсти бильярдным жукам, даже если они в свободное от бильярда время пишут критические статьи и сочиняют жизнеутверждающие драмы.

— Пойду взгляну, что с Шерстяным, — сказал я. — Как бы не пришлось нам его выкупать...

— Я пойду с тобой, — сказала Лика. — Надоело здесь сидеть до бесконечности. Шерстяной — прекрасный, добрый человек, надо ему помочь и спасти его. — Лика после поддачи всегда становилась такая трогательная и пеклась обо всех на свете.

В кафе она потянула меня к кофейной стойке, за которой орудовал грек в носках.

— Выпьем кофе, — сказала Лика. — Мне что-то печально...

— Пить надо больше, — сказал я. — Тогда будет весело.

Я почему-то всегда испытывал в присутствии Лики легкое неприятное беспокойство — может, оттого, что я на ней так и не женился и даже не переспал с ней ни разочка. Почти все мои знакомые свое уже получили и успокоились. А я вот — нет. Прямо беда. Не везет мне с настоящими женщинами, только с сиделками везет.

За столом Виталика Бура продолжался гулеж.

— Лика, иди к нам! — закричали оттуда. — У нас тут хорошо!

Лика обернулась через плечо, улыбнулась как-то виновато и отрицательно покачала головой. Она была немного пьяна.

— Ты Шкаликова не видела? — привстав немного и размахивая рукой, спросил Бур. — Сидел-сидел, а потом исчез куда-то, час его уже нет.

— Не видела она, — сказал я Буру. — Чего орешь? Сходи да пощи!

— Не ссорься с ним, Ибрагимчик, — сказала Лика. — Он добрый парень.

— Тоже добрый? — спросил я и постарался сделать так, чтобы мои глаза проткнули Лику, как гвозди. Я ведь знал, что и этот

дубина Бур получил у Лики свое в позапрошлом месяце. Один я не получил.

— Ах, я не о том, — сказала Лика, не смутясь на на йоту. — Это ведь не имеет никакого значения, правда?

— Для кого не имеет, а для кого имеет, — сказал я. — Для меня, например, имеет, а для тебя — нет.

— Да, — сказала Лика. — Ты прав. Прости меня.

“Ну вот, — подумал я. — Вот и все. И какого черта она потащила со мной? Расстраиваться только...”

— А что стряслось со Шкаликовым? — спросила Лика, когда мы вышли в фойе.

— Откуда я знаю. Пропал, и все. Напился, наверно.

— Но его же нигде нет! — сказала Лика. — Давай подыдемся на третий этаж — может, он там?

И она неожиданно быстро пошла к лифту, а я поплелся за ней. Всегда так: что она хочет, то я и делаю.

Мы вошли в лифт и поехали. Не доезжая полэтажа до третьего, Лика вдруг нажала на “стоп”. Лифт остановился.

— Почему ты не обнимаешь меня, Ибрагимчик? — спросила Лика, притянула мою голову и поцеловала так, что как только лифт не оторвался и не свалился в шахту. Руки мои скользнули вниз и пошли путаться в разных там пряжках и застежках. Лика закрыла глаза, привалилась к стенке лифта и трудно дышала. Лифт — не лужайка, лифт и так ходуном ходит. А если кто-нибудь, будь он проклят, вызовет его снизу — что тогда? Надо все время нажимать на “стоп”, а у меня только две руки, не четыре. А Лике просить неудобно, раз она сама не догадывается... Как я справился — не знаю сам. Одну руку держу на кнопке. поворачиваюсь к Лике, с ума, думаю, сейчас сойду. Пускай, думаю, сойду, пускай свалимся к чертовой матери — лишь бы добраться. Лифт тряхануло так, что чуть стенка не выскочила... Тут Лика медленно так в сторону подалась, открыла глаза и говорит:

— Не надо, Ибрагимчик. Пускай лучше все останется по-прежнему.

Я чуть сам себе горло не перекусил. Да ведь лифт — не лужайка, здесь на уговоры времени нет, тем более кто-то внизу уже колотил кулаком по двери первого этажа.

— Лучше поищем Шкаликова, — сказала Лика.

Я выскочил из лифта, как ошпаренный, и помчался вниз, в би-

льярдную. И там, в буфете, первым делом хватил полстакана коньяку — для охлаждения души и организма.

К Шерстяному мне пришлось подойти вплотную и пихнуть его в бок — только после этого он сообразовал обратиться на меня внимание.

— Гляди! — сказал он мне, заколотил со свистом дуплет в середину и вытащил из кармана ком мятых рублей. — Вот!

Это, несомненно, был выигрыш, и Шерстяной демонстрировал его, словно это была Почетная грамота, полученная на Всесоюзном смотре искусственных осеменителей. Да что там грамота! Как будто это был лотерейный билет, выигравший сто тысяч. Одним словом, Шерстяной был горд и счастлив.

— Надя! — сказал я, вернувшись в буфет, где Надя тем временем уплетала пражский торт. — Имей в виду: они, может, его только завлекают. Он разойдется — а они возьмут и поставят столик. Делай что-нибудь!

— Да что делать-то? — спросила Надя. — Он же выигрывает.

— Что ты понимаешь! — прикрикнул я на Надю. — Выигрывает!.. Если кто столик захочет поставить — беги сразу за мной. А то тебе ничего не останется. Усекла?

Распорядившись таким образом, я отправился в бар, моля Бога о том, чтобы Он не свел меня на моем пути с Ликой. А то ведь я за себя отвечаю, но не всегда. Иногда ведь и не отвечаю.

Лику я не встретил, зато повстречал Шкаликова.

Шкаликов маршировал по фойе парадным шагом с молодецким притопом. Он маршировал вдоль стеночки, а потом делал строевой поворот на девяносто градусов и продолжал движение. Иногда он для разнообразия менял курс и пересекал фойе по диагонали. В одной руке Шкаликов держал резиновую милицескую дубинку, подаренную ему министром внутренних дел за короткометражный киносценарий о милицеском курсанте, а в другой — большую сковородку с бифштексом, унесенную, надо думать, из ресторанный кухни.

— Смело, товарищи, в руку... —

маршируя, приятным голосом пел Шкаликов. Он был сильно пьян и по этой причине держался торжественно и немного скованно. Человек десять писателей наблюдали за ним, толпясь в центре огибаемого им прямоугольника. Переходя на диагональ, Шкаликов нацеливался прямо на зрителей, и те организованно уступали ему дорогу.



— Шкалик! — негромко позвал я, стоя в дверях фойе. Но Шкалков, увлеченный маршировкой, даже не обернулся.

— Это вы его привели? — прошипел мне в ухо Шапиро, главный администратор клуба. Шапиро стоял в дверях позади меня, но в фойе не входил. — Вы слышите, что он там распевает?

— Я его не приводил.

— А кто его привел? — шепотом свирепствовал Шапиро. — Он поет антисоветскую песню!

— Да почему я знаю, кто его привел!

— Ибрагим, немедленно уведите его отсюда! — сказал Шапиро. — Или всем будет нехорошо.

— Легко сказать — уведите! Да он с палкой. Как даст по голове — что тогда будет?

— Значит, вы боитесь этого хулигана и антисоветчика! — налившись помидорной кровью, закричал Шапиро.

— Конечно, боюсь, — подтвердил я.

— Эх, вы... — укорил меня Шапиро. — Тогда я сам схвачу его. Войдя в фойе, лысый, как яблоко, Шапиро, решительно печатая шаг, направился к Шкаликову. Шкаликов развернулся в дальнем углу и двинулся навстречу администратору. Они сближались, как два генерала на параде. Зрители притихли, восторг чужого скандала и драки распирал их.

Нескольких шагов не доходя Шкаликова, Шапиро остановился и приставил ногу. Немедля остановился и Шкаликов.

— Гражданин Шкаликов! — отчетливо молвил Шапиро. — Очистите зал и сдайте сковородку.

— Почему честь не отдаешь, свинья! — гаркнул Шкаликов и, быстро размахнувшись, вывалил содержимое сковороды на голову Шапиро. Потом он сунул сковороду в грудной вырез Шапирова пиджака, развернул администратора за плечи и, лягнув его ногой в зад, направил по прямой к двери. Шкаликов очень любил шутки.

Зрители в центре фойе засмеялись обидным для Шапиро смехом. Шкаликов начальственно поглядел на смехачей, и смех мигом прекратился. А Шкаликов, как ни в чем не бывало, с песней продолжил маршировку.

Вдруг какая-то новая шаловливая идея пришла ему в голову. Остановившись, как вкопанный, он повернулся на каблуках к стоявшим посреди зала людям, топнул ногой и рявкнул:

— После антракта состоится демонстрация трудящихся! В колонну — стройсь!

Не ожидавшие такого оборота дела зрители в недоумении топтались на месте. Размахивая дубинкой, Шкаликов подмаршировал к ним поближе и построил их в шеренгу.

— На месте — шагом марш! — скомандовал Шкаликов. — Песню — запевай!

Шеренга затопала вразнобой и неуверенно затянула вслед за Шкаликовым, дирижировавшим дубинкой в опасной близости от голов построенных:

— Смело, товарищи, в руку...

— Громче! — потребовал Шкаликов и вслушался придирчиво. — Так держать!

Удовлетворившись, он уже по-цивильному подошел к дивану у стены, снял туфли, потом брюки и завернул туфли в брюки. Этот тючок он положил в изголовье вместо подушки, дубинку сунул в рукав пиджака, лег на диван и закрыл глаза. Дело было сделано.

Вот тут-то в фойе и вошел мягкой лисьей походочкой секретарь Союза по оргвопросам Ильин — тот самый, что во времена оны носил погоны генерал-лейтенанта МГБ. Ласково оглядев мигом рассыпавшуюся и разбегающуюся шеренгу, он снисходительно усмехнулся и прямоком проследовал к Шкаликову.

— Что это вы спите, — сказал Ильин и постучал носком ботинка по низку дивана. — Тут ведь вам не баня.

Шкаликов немедля открыл глаза, приветливо улыбнулся и спросил:

— А ты кто ж будешь? Присядь, доложи.

— “Присядь...” — с мерзкой ухмылкой повторил Ильин. Это слово, как видно, пробудило в нем кое-какие воспоминания. — Нечего мне присаживаться. А вы вставайте да одевайтесь.

— Совершенно верно, генерал, — почему-то прикартавливая поленински, сказал Шкаликов. Соскочив с дивана, он выхватил из рукава дубинку и нанес Ильину два молниеносных удара — один по плечу, другой по шее. Ильин выкатил глаза и рухнул на диван, как мешок с песком, а Шкаликов, вертя дубинкой, помчался через фойе к парадной лестнице, ведущей во второй этаж клуба. По дороге ему попался на свою беду вышедший развлечения ради поглазеть на скандал кофейный грек в носках. При виде босого Шкаликова в трусах и пиджаке грек сильно удивился, замешкался, ноги его расползлись на скользком паркете, и он свалился на пол перед весело мчащимся Шкаликовым. Шутки ради Шкаликов с ходу вспрыгнул на него вместо того, чтоб перескочить, и ошеломленный грек под тяжестью шутника издал некрасивый звук. Тихий, пыльный Симферополь! Там хоть и не так весело, да зато спокойно. Теперь-то не удержит грека в Москве ни прописка, ни квартира. Останутся писатели без кофе по-турецки.

Тем временем Шкаликов, прыгая через три ступеньки, взлетел на лестницу, ворвался в роскошный кабинет правления клуба, пустой в этот час, и закрылся там изнутри на французский замок.

В потревоженном клубе наступило относительное затишье. Стоя на коленях перед поверженным генералом, Шапиро подносил к его носу ватку, смоченную в нашатырном спирте.

Когда бывшего генерала МГБ бьют милицейской дубинкой по

башке, надо сматывать удочки. Поглядели, посмеялись — и будет. Я живенько сбегал в бильярдную и выволок оттуда упирающегося Шерстяного.

— Держи его под руку крепче и щекочи, — сказал я Наде. — Он, может, щекотки боится.

Наде тоже обрыдло сидеть в буфете, ей хотелось активной жизни во всех ее проявлениях, ей хотелось ехать куда-нибудь на такси и знакомиться с новыми интересными людьми, которые рассказывают смешные анекдоты и все до единого знают совершенно определенно, чего они хотят от Нади. Бильярд с костяными шарами и ореховыми палками — шикарная штукавина, но Надя, в конце-то концов, не сторож при бильярде. И Шерстяному следует над этим задуматься.

Взяв приличный разбег, Надя набросилась на Шерстяного и повисла на нем, сцепив руки под его подбородком. Почувствовав приятные округлости женского тела на своей спине, Шерстяной вздрогнул, покачнулся и выронил кий. Надя же бодро сучила ногами, а ладошкой, сведенной в острый кулачок, шебуршила по ребрам Шерстяного. Мой полузадушенный земляк издал дикий рев, перешедший в хриплый хохот — он-таки боялся щекотки, а Надюша выполняла мою рекомендацию буквально. Мы под руки вывели его, хохочущего, из бильярдной, проводили в гардеробную и сдали на руки Митрию.

— Постереги его, — сказал я Митрию, — а я сейчас...

— Ильина-то... — сказал Митрий. — Шкаликов-то... Шапира-то за милицией послал...

Да, конечно, я был прав: пора ехать к Кешке. Пускай они сами тут разбираются: Шкаликов, Бур, Ильин, Шапиро. Милиция придет — всех в свидетели потащут, а я этого не люблю.

В кафе официантки составляли три стола в один, тащили стулья. Шапиро, очистивший лысину от лука, давал указания: экстренное совещание совета клуба решено было провести в кафе и обсудить один-единственный вопрос: как без боя выкурить Шкаликова из комнаты? Все попытки вести переговоры с оккупантом через запертую дверь закончились неудачей: Шкаликов ругал членов совета последними словами и грозил сокрушить мебель, если его немедленно не оставят в покое. Штурмовать дверь силами милиции было небезопасно, потому что решительный Шкаликов мог привести угрозу в исполнение и искрошить старинную краснодеревянную мебель. Единственное, что оставалось, — это связаться с хулиганом по

телефону и обещать ему полное прощение. Эту миротворческую идею и собирался защищать Шапиро на предстоящем экстренном совещании.

Кешу я нашел в рестрране.

— Ты Бура не видал? — спросил у меня Кеша.

— Плевать я на него хотел. А что с ним такое?

— Он боится, — сказал Кеша. — Ильин уже знает, что это он привел Шкаликова.

— Ладно, — сказал я. — Шкаликову на все это чихать, а Бур сам как-нибудь выпутается — он парень юркий... Поехали, что ли?

— Поехали, — сказал Кеша. — А где коллектив?

— Все ждут, — сказал я. — Чижевский в баре должен сидеть.

Вместе с Чижевским, как ни в чем не бывало, сидела Лика. Как бы я был рад, если б Шкаликов догадался захватить ее в заложницы!

— Не сердись на меня, Ибрагимчик, — сказала Лика. — Ты же видишь сам — так лучше.

— Ладно, — сказал я, махнув рукой. — Я тебе все равно дыханье остановлю.

— Неужели ты хочешь убить меня? — удивилась Лика. Мне кажется, Лика меня очень бы уважала, будь она уверена, что я хочу ее резать кавказским кинжалом.

— Я потом тебе расскажу, — сказал я, — что это значит: остановить дыханье... Едем!

— А где Меценат? — спросил Чижевский, подымаясь из-за стола.

— Он побежал занимать очередь на такси, — сказала Лика.

Меценат — так мы звали между собой Сашу Деревянко.

В гардеробной Митрий, достав из галошника заветный стаканчик, вел с Шерстяным дружескую беседу. Милиционеры, прибывшие уже на место происшествия, ждали указаний начальства, скромненько сидя на лавочке у стены. Милицейский лейтенант в начищенных сапогах нервно расхаживал вдоль гардеробной стойки. Он был горд порученной ему миссией по усмирению писателя и рвался в бой.

Мы вышли вовремя. Огибая клуб, мы услышали сильный грохот, доносившийся из окна захваченной Шкаликовым комнаты. Как видно, сторонники жесткой линии взяли верх на экстренном совещании, и милицейские силы получили приказ подыматься в атаку. Шкаликов — мужик резвый и находчивый, особенно под банкой. Атакующие понесут потери, это уж как пить дать.

После теплого клуба мне показалось на улице немного зябко. И ехать к Кешке пьянствовать не так уж теперь хотелось. Может, зарулить в общагу, в мою провонявшую носками и сушеным мясом одиночку? Заварю чаек покрепче, возьму бумагу, напишу... А? Шерстяные деньги у меня еще остались, на такси хватит, и сиделка вечером, может, догадается заглянуть. А у Кешки опять пьянь пойдет, Шерстяной с Надькой залягут в кухне, сам Кешка со своей идиотской женищей — в нише, Меценат по старой памяти остановит Лике дыхание в угловой комнатенке, Чижевский заснет на стуле, а я до утра буду мучиться на полу в гостиной, где клопы могут загрызть человека до полусмерти. Или, может, напиться поскорей, побуйнить со вкусом, объяснить Лике, кто она такая, и залечь в угловой смотреть сон про Гору? По пьянке клопы орлами покажутся, да и Лика, неровен час, забредет ко мне в угловую подремать до рассвета. Все от нее свое получили, один я в женихах хожу. Несправедливо. Вот возьму и уеду с Шерстяным домой, в горы. Утром пивка выпью на опохмел и уеду. Хасан козла зарежет, пить будем целую неделю. Нет, не будем пить. С питьем надо завязывать. Правильно Иерусалимский говорит: в Москве пить можно, а на родине — нельзя.

Очередь на такси вытянулась длинная, но Саша Дервянко стоял в самой голове, вторым, за Ароном Маргулисом, которого никто не любил, потому что он был стукач со стажем. Как редактор еврейского журнала и стукач, он весь мир объехал и очень этим гордился. Вот и сейчас, стоя перед Сашей, он кричал кому-то в хвост очереди, чтобы все слышали:

— Я на той неделе опять еду в Америку. Правда, в прошлом году я там уже был — но так надо.

— Куда, говоришь, ты едешь? — спросил я, встав рядом с Сашей.

— В Америку, — сказал Арон. — Ты там, наверно, еще не был?

Арон прекрасно знал, что я нигде еще не был, — просто ему хотелось потрепаться про свои поездки. Но я ведь не девочка, нечего ему передо мной разыгрывать представление.

— Интересно... — сказал я. — Никогда не слышал... Как, ты говоришь, это называется?

— Соединенные Штаты Америки, — отчеканил Арон. — Европа — слышал?

— Слышал, — сказал я.

— А Азия? — с издевочкой продолжал Арон.

— Тоже слышал.

— А еще что ты слышал? — продолжал спрашивать Арон.

— Австралия, Антарктида, — сказал я. — Это мы в школе проходили.

— А Америку — не проходили, что ли? — уже сердясь, спросил Арон. В очереди послышались смешки.

— Нет, — сказал я. — Про эту, как ты ее называешь, мы ничего не проходили. Чего это ты выдумал.

— Ну, знаешь ли... — развел руками Арон. — Просто удивительно. Может, у вас там в горах это и не проходят — а я вот в Америке уже три раза был... Нет, вы только послушайте, товарищи! — оборотился он к очереди как бы за поддержкой. Но очередь молчала — это ведь, можно сказать, клубная стоянка такси, и почти все в очереди — люди из клуба. А они идти на помощь Арону Маргулису не собирались.

— Да ты не расстраивайся, Арончик, — сказал я, понемногу переходя в наступление. — Может, ты перебрал сегодня — вот тебе и мерещатся разные чудеса. Ты вот спроси у него, — тут я незаметно наступил Шерстяному на ногу, — он тебе тоже скажет.

— Америка — есть? — рявкнул Арон.

— Нет, — сказал Шерстяной. — Нету.

В очереди громко засмеялись.

— Да вы что — с ума сошли, что ли? — не на шутку раскипятился Арон. — Это же просто издевательство!

— Не волнуйся, Арончик, — сказал я. — Ты лучше у людей спроси — каждый тебе скажет: нету Америки! Так что уж ты на меня не обижайся.

— А Нью-Йорка — тоже нету? — замахал руками Арон. — А Вашингтона? Майами-Бич?

В это время подъехало Ароново такси, и я распахнул дверцу машины.

— Садись, Арончик, — сказал я. — Поезжай, дорогой.

— Филадельфия! — втиснувшись в кабину, продолжал бушевать Арон. — Огайо! Идиоты! Завидуете! Чикаго!

Таксист дал газ, и машина откатила.

— И как таких дураков в стукачи принимают! — словно бы размышляя наедине с собой, но все же достаточно громко, сказал я и пожал плечами. В очереди воцарилось благожелательное молчание.

Но тут подъехала наша "шашечка", и мы стали набиваться в нее в два слоя.

Лица, как назло, по-товарищески расселась у меня на коленках.

Совсем у нее совести нет, даже намека — и то нет. Я это всегда знал, а все-таки расстраивался.

— Ибрагимчик, — наклонившись ко мне впритык, сказала Лика. — Ты обещал мне рассказать, что это такое — остановить дыхание.

— Это значит, — сказал я, мотая головой и стараясь сбросить с лица ее волосы, тихо пахнувшие цветами, — сделать то, что мы с тобой хотели сделать в лифте.

— Как красиво! — сказала Лика. — Это ты сам придумал?

— Нет, — сказал я. — Так у нас в горах говорят. Переспать, перепахнуться, уеть, трахнуть, как там еще... влундить — это у вас говорят.

— У вас в горах... Ты счастливый, Ибрагимчик! — сказала Лика и поерзала у меня на коленях. Она, может, поерзала и не специально. Но мне все равно вдруг захотелось выскочить из такси, и помчаться в Шереметьево, и улететь домой. Со мной такое иногда бывало, и даже довольно часто.

А Шерстяной — тот никуда не хотел лететь. Он сидел рядом со мной и все время толкал меня локтем, потому что Надька уселась у него на коленях, а он времени даром не терял и хватал ее за все места. Нравилось ей это или нет — вот уж не знаю, это ее дело.

Мы проскочили Арбат и остановились у Кешкиного дома. Кешка жил на шестом этаже, туда надо было тащиться по узкой, замызганной лестнице. Открыла нам Кешкина жена Лена — складная бабешка с красивым неподвижным лицом. Пуще всего на свете Лена боялась морщин — поэтому ее лицо и было похоже на маску.

Квартира была замусорена и запущена до последнего предела. Когда-то здесь жил Кешкин папа — известный драматург, но потом он ушел от мамы и съехал к вдове известного поэта. А потом мама ушла от Кешки и съехала к безвестному цирковому гимнасту с железными мускулами и чугунной башкой. После всех этих волнующих событий Кешка, напившись пьян, заявил в клубе, что папу он намеревается повесить на фонарном столбе, а маму определить в богоугодное заведение. Папа и мама обиделись, и их связи с наглым сыном были прерваны, кажется, навсегда.

Длинный и темный коридор, в котором почему-то стояла облупленная ванна, вел в гостиную. Посреди гостиной высился большой круглый стол, когда-то лакированная поверхность которого была покороблена и покрыта белыми пятнами. В углу помещались гигантские напольные часы с маятником и гирями. Часы не шли уже

много лет, и мы все собирались продать их любителям старины — да слишком они были ветхие и тяжелые.

Ниша, выходящая в гостиную, была глубока и заманчива. Там были привольно разбросаны некоторые интимные предметы Ленинского туалета и стояла горбатая тахта, сплошь покрытая черными дырками, в любую из которых можно было легко просунуть кулак: как-то раз пьяный Кеша, любивший курить лежа, обронил тлеющую сигарету и тем вызвал пожар тахты. На стене ниши, на давно выцветших обоях, изображен был губным карандашом мужской половой небывалых размеров, с гордо вознесенной главой. К главе, занимая почти всю ее площадь, была прищиплена булавками портретная фотография циркового гимнаста.

Угловая комнатенка, на которую я возлагал некоторые надежды, соединялась с гостиной узкой дверцей. Комнатенка, засыпанная книгами, служила одновременно и Кешкиным рабочим кабинетом, и спальней для засидевшихся гостей: там стоял обдрипанный письменный столик с доисторической пишущей машинкой на нем и лежал на полу полосатый матрац с ключьями конского волоса, выбивающимися из прорех. Стены комнатенки были обильно испещрены неприличными надписями, оставленными благодарными гостями. Нелегко разместиться вдвоем на полосатом матрасе — но можно.

— Это — товарищ Шерстяной, — представил Кешка Шерстяного, — мастер социалистической пастьбы и двигатель высоких надоев. Он приехал в Москву получать “Золотую звезду”, Героя труда и орден Ленина.

Шерстяной удивился, но возражать не стал.

— Очень рада, — сказала Лена ровным голосом, лишенным интонации. — Наконец-то в этом, простите за выражение, доме появился хоть один приличный человек... Кеша, достань из коробки хрустальные фужеры!

Полдюжины хрустальных фужеров составляли приданое Лены и являлись предметом особой ее гордости. Они извлекались на свет Божий только по особо торжественным случаям. В обычные дни здесь пили из граненых стаканов, обколотых чашек и эмалированной кружки времен солнечного Кешкиного детства. Так что Шерстяной, зная он все эти тонкости, мог бы почувствовать себя если не героем пастьбы, то хотя бы героем дня.

Мы все расселись вокруг стола, стараясь не очень двигать стулья: стульчики были жидковаты. Меценат вывалил на стол припасы из

крокодилового портфеля, а Шерстяной, не теряя драгоценного, зубами скусил пробки с бутылок.

— Кеша, не устраивай здесь бардак, принеси тарелки, — указала Лена. — У нас гость.

Нас она, выходит дело, за гостей не считала — а только одного Шерстяного. Смех, да и все.

Кеша сбегал на кухню и притащил оттуда тройку разномастных тарелок и большую стеклянную банку с кислой кочанной капустой.

— Унеси это! — приказала Лена. — Ты же знаешь — капуста нужна мне для лица.

Мы-то знали все эти Ленины штучки, а Шерстяной не знал. Поэтому он выпучил глаза и спросил:

— Как это для лица? Это ж капуста! Она под водку хорошо идет.

Лена отрезала тонюсенький, как папиросная бумажка, ломтик салами, откусила от него крохотный кусочек и сказала:

— На ночь я прикладываю к щекам и ко лбу по капустному листу. Это очень укрепляет кожу.

Не знаю, как другим, но мне было противно это слушать. Таким же бесстрастным тоном Лена — спроси мы ее об этом — поведала бы нам, как она делает себе очистительную клизму или засаживает куда следует противозачаточные шарики. С такой Леной я бы под одеяло не полез, нет, не полез.

Шерстяной, как видно, решил поддержать светскую беседу и брякнул:

— У меня от такой капусты всегда в животе бурчит, и понос.

— Боже, как вы некуртуазны! — опечалилась Лена.

Шерстяной призадумался, а потом наклонился ко мне.

— Что это такое — “некуртуазно”? — спросил он.

Я тоже не знал, что это значит, и переспросил у Кешки.

— Это значит — не по-рыцарски, — объяснил Кешка. Голову могу дать на отрез, что до женитьбы на Лене он понятия не имел, что это за хреновина такая.

Лена была родом из Риги, ее отец заведовал там отделом социалистического строительства в газете “Советская Латвия”. Лена считала себя законченно интеллигентной дамой современной выпечки и поэтому ругалась матом с той же унылой миной, с какой читала бы стихи Байрона в переводах классиков прошлого века. Нос Лены был слегка кривоват — надо думать, от природы, и она свято верила, что этот дефект делает ее похожей на старинную каменю.

— Элен, мы провели сегодня чудесный день, — весьма куртуазно заметил Чижевский.

— Я рада за вас, — сказала Лена и взглянула на Чижевского благосклонно. — С вами всегда приятно поговорить. Налейте себе и всем.

— Сегодняшнему дню мы обязаны знакомством с нашим уважаемым мастером высоких урожаев, — Чижевский изысканно кивнул в сторону Шерстяного. — Вместе с ним мы наблюдали любовные игры элфантов.

— Чего? — с угрозой в голосе спросил вдруг опьяневший Шерстяной и угрюмо икнул. Лена сочла нужным демонстративно не заметить этого его вопроса и иканья.

— Вы хотите сказать, — уточнила Лена, — что видели, как элфант обрюхатил свою любимую? Я вам завидую. Это, должно быть, незабываемое зрелище.

— Элефан тоже — человек, что ли? — пробормотал Шерстяной, придвигая к себе хрустальные фужеры, плаксиво зазвеневшие. Красивый звон взволновал Лену чуть не до слез, она озабоченно коснулась пальцами висков и свела к переносице дотоле неподвижные брови.

— Нам не довелось увидеть завершение этой любовной драмы, — сказал Чижевский. — Но начало было весьма впечатляюще.

— Забэ-эвно! — сказала Лена, глядя на Шерстяного испепеляющим взглядом, похожим на луч лазера. Дело в том, что Шерстяной, возобновив свои начатые еще в такси атаки на Надю, свалил локтем один из фужеров. — Никогда не поверю, что слон занимался мастурбацией. Мастурбировать дано людям, в особенности некоторым... — тут Лена выпустила в Шерстяного глазной заряд такой мощи, что другой человек, наверно, свалился бы со стула, как от удара дубиной. Но Шерстяной и не мигнул: он, во-первых, был увлечен своим делом, а во-вторых, не знал, что такое мастурбация.

Поставив опрокинутый фужер на ножку, он плеснул туда водки и выпил длинным залпом. Но водка не скользнула вниз, в утробу Шерстяного, и не побежала, журча, к печени — она пошла гулять по пищеводу моего бедного земляка, норовя выплеснуться обратно на Божий свет. Шерстяной надулся и застонал, как воркующий голубь.

— По коридору и направо, — сказал я ему по-аварски. — Беги туда и засунь два пальца в рот.

— Так ведь жалко, — с трудом разводя губы, резонно заметил Шерстяной. — Сколько денег ушло...

Железный человек Шерстяной. Ему бы министром быть.

Но уже в следующий момент природа взяла верх над помыслами человеческими. Вывалив на стол колбасу, Шерстяной схватил тарелку и вместе с ней нырнул головой под стол. Приглушенное рыканье донеслось из-под стола.

— Наш друг, несомненно, наделен врожденной культурой, — заметил Чижевский. — В таком доме, как ваш, милая Элен, он скромно блюет в тарелочку, вместо того чтобы облевать соседа. Bravo, Элен!

Шерстяной показался из-под стола с глазами, налитыми слезами и кровью.

— Ему бы надо отдохнуть с полчаса в угловой! — сказал я. Меня очень раздражало, что Меценат шепотом втолковывает что-то Лике, а Лика не возражает. Если так пойдет и дальше, то угловая вот-вот окажется занятой.

— Мы будем пить! — заявил Шерстяной и сгреб фужеры. Дались ему эти фужеры.

Держа бутылку на отлете, Шерстяной стал разливать. Горлышко бутылки постукивало об ободок фужера. Раздался приятный, мелодичный звук — и фужер аккуратненько раскололся пополам. Я уверен — Шерстяной не нарочно так поступил.

— Так... — сказала Лена и зацокала ноготками по столешнице. — Так-так... — Наступила тишина, даже Саша с Ликой замолчали.

— А тебе жалко, что ли? — искренне полюбопытствовал Шерстяной. — Если жалко — на! — и, выудив из кармана десятку, Шерстяной протянул ее Лене.

Лена взяла не сразу. Сначала она немного поборолась с собой. Сначала поборолась — а потом уже взяла.

— Лена, — сказал Кешка убитым голосом. — Да ты что...

— Подрежь салями, Кеша, — сказала Лена. — Я хочу предложить тост за здоровье нашего кавказского гостя.

— Да чего там... — сказал Шерстяной. — Ну, ладно, спасибо. Только пускай Ибрагим разливает, а то у меня рука дрожит.

Я взял бутылку, и в тот же миг почувствовал, как Шерстяной сунул мне в карман деньги.

— Ты тоже ломай, — сказал мне Шерстяной по-аварски. — Дай ей червонец — пускай она и за тебя выпьет.

Ах, Шерстяной, родная кровь!

А на Кешку просто смотреть было больно — так ему было неловко.

Занеся горлышко повыше, я стукнул по фужеру — и расколол его. И молча протянул Лене деньги. Лена приняла с лицом кривоносой каменщицы.

— Одолжи мне черт! — услышал я шепот Кешки. — Достань, старик! Надо!

Я сунул ему под столом деньги, и через минуту третий фужер был выведен из строя Кешкиной рукой. Поголубев от злости, Лена взяла у Кешки деньги, а потом выскочила из-за стола, как ошпаренная, бросилась в нишу и грохнулась там на тахту.

— Ну, мы пошли, — сказал я. — Давай, Шерстяной.

Шерстяной послушно поднялся, и Надя вслед за ним.

— Я остаюсь, — сказал Чижевский. — Я стар, как остров Борнео.

— Мы тоже остаемся, — сказал Саша Деревянко. — Лица устала.

— Черт с вами, — сказал я. — Не забудьте обсыпаться клопомором.

В коридоре, у самой двери, нас нагнал Кешка.

— Я с вами, — сказал Кешка. — Нужно сделать перекур. А ночевать сюда вернемся. Ведь еще не вечер.

— Уже не вечер, но еще не ночь, — поправил я. — Что придумаем?

— Я очень люблю “Пекин”, — тут же догадалась Надя.

— “Пекин” — это такая столовая, — объяснил я Шерстяному. — Китайская. Поедем в эту самую столовую, а потом вернемся ночевать к Кешке.

— А можно? — спросил Шерстяной.

— Конечно, можно! — заверил Кешка. — Лена через часок успокоится, и вернется ветер на круги свои.

— Да нет, — посерьезнел Шерстяной. — Я не про ветер. В китайскую столовую можно идти? Не запрещается?

Шерстяной был коммунистом, платил взносы, ходил на политзанятия и относился к китайцам с неприязнью. Спустить налево вагон народной шерсти — это он мог, а вот идти против линии партии опасался. Сказано ведь: китайцы — плохие, они все против Советского Союза и хотят на нас напасть. Как же тут ехать в китайскую столовую? Потом неприятностей не оберешься.

— Эту столовую специально для того и открыли, — объяснил я Шерстяному, — чтобы народ туда ходил и изучал оружие врагов. А иначе кто б ее разрешил открыть в самом центре Москвы?

Такой червонный туз Шерстяному крыть было нечем, и он успокоился. Мы сели в такси и поехали в ресторан “Пекин”.

“Пекин” понравился Шерстяному с первого взгляда: несокрушимые колонны с драконскими пилястрами, добротные ковры, зеркала и фонари с шелковыми кисточками. Поддатый официант притащил нам прејскурант в синей кожаной папке, похожей на подарочную: в таких папках преподносят поздравительные адреса к семидесятипятилетнему юбилею. Это же надо умудриться — дотянуть до семидесяти пяти лет!

Развернув прејскурант, Шерстяной долго водил корявым пальцем по строчкам и шевелил губами.

— Закажи лучше ты, — сказал наконец Шерстяной. — А то ведь обжуют.

Я взглянул в прејскурант и обнаружил, что он был напечатан на двух языках: по-английски и по-китайски. Поддатый официант, как видно, любил пошутить.

Опираясь на цены, я выбрал всего понемногу — так что получилось немало. Поддатый для виду почиркал что-то в блокнотике и ушел за заказом. Малое время спустя он появился в проходе между столиками, рискованно балансируя подносом на поднятой ладошке правой руки. Он продвигался вперед как-бы на ощупь, повернув голову в сторону градусов на девяносто и тупо глядя в стену.

— Ты что это голову-то отворотил? — спросил я, когда он лихо опустил поднос на наш столик. — Мы за наглость не доплачиваем.

— А воняет, — объяснил поддатый официант. — Яйца эти, знаешь, сколько в земле пролежали? Два года!

— Свежих нет, что ли? — поинтересовался Шерстяной.

— Это так должно быть, — объяснила Надя. — Я тут с одним канцем была весной — от тоже брал. С непривычки, конечно, трудно, а потом очень даже симпатично кажется. Их уксусом поливать надо, он запах отшибает.

Да, подумал я, отшибает. А можно и не отшибать — за этот самый запах люди деньги платят. Хорошо бы, подумал я, очутиться мне сейчас в моей одиночной кочке и, перед тем как заснуть, минут семь с половиной подумать о том, какой я несчастный-разнесчастный и одинокий человек. От таких грустных размышлений всегда теплей становится на душе и сон потом крепче. Надо было Надьку с Шерстяным оставить у Кешки, а самому ехать домой. Это все Надька, она нас потащила в этот вонючий “Пекин” с его двухлетними яйцами. Нарезаться, что ли, вусмерть, промыть душу во-

дочкой? И скучно, и грустно, и некому морду набить... Надо с Шерстяным на недельку в горы слетать. В горах мое сердце, а сам я внизу.

— Гляди-ка! — сказал Кеша. — Ну, хороша!

Через столик от нас гомонила на каком-то лунном языке компания иностранцев. Лицом ко мне сидела там девушка — не девушка, а просто ай-яй-яй! Я таких девушек никогда еще в глаза не видал. Куда там до нее Лике, сиделке или еще другой сиделке!..

— Кто такие? — придвинулся я к Кешке.

— Говорят по-английски, — определил Кешка. — Но ты не увлекайся: передачи ведь нам носить некому.

По-английски — это уже кое-что. По английски я знал: “ай лав ю”, “о’кей” и “янки, гоу хоум”. Впрочем, “янки, гоу хоум” — это мне сейчас ни к чему — ни к селу, ни к городу. А мужички с ней сидят — ничего себе, особенно вот этот, в переливчатом пиджаке: рельсы на нем можно возить, и в гору. Да что ж это такое делается, братцы-кролики!

А девушка вдруг поднялась и мужичков своих покрыла как бы по матери. Чего они там не поделили — не знаю, но покрыла она их как надо на чистейшем лунно-шекспировском наречии. Я только успел заметить, что она повыше меня будет сантиметров на двадцать — а она уже выскочила из-за стола и по проходу к двери чуть не бегом. А платье на ней длинное и в обтяжку, а что под платьем — так это же лучше не загадывать, потому что захватывает дух, дышать никак невозможно и сил нет подняться с места и встать на ноги.

И я только сказал: “Привет!” — и помчался за девушкой, как будто из этой китайской кухни она уносила в сумочке вместе с помадой и пудреницей мою бедную душу. Девушку я нагнал у самого выхода и распахнул перед ней тяжеленную дверь, как будто эта дверь была вырезана из картона. Сорвись она в этот самый миг с пружины и долбани меня по лбу — уложила бы на месте.

— Сэнк ю! — говорит мне девушка угрюмо, а я ей тут же отвечаю:

— О’кей!

Она — в гардеробную, я — за ней. Она гардеробщику номер, а я гардеробщику — рубль. А гардеробщик мне — ее плащик, и я подаю его ей и помогаю надеть, как будто я этим делом только и занимался и в Москве, и даже в Хиндахе на свежем воздухе. По-

дал, подтянул, несобравшиеся складочки разгладил, и она мне опять:

— Сэнк ю!

Сказать ей “ай лав ю!” — напугаешь, сказать “янки, гоу хоум” — тоже вроде бы ни к чему. Я и говорю ей на всякий случай:

— Сэнк ю!

А она ко мне оборачивается — и улыбается, как будто хочет сказать: “Ты хороший, Ибрагимчик! Просто чудо в масле, а не человек”.

Выходим на улицу, она говорит:

— Такси!

Ну это понять нетрудно. Трудно такси поймать у ресторана “Пекин” в одиннадцатом часу ночи. Я выскакиваю на самую середину Садового кольца и трясую рукой, как будто у меня в кулаке полтора десятка пчел и раскаленных гвоздей. А в кулаке у меня — пятерка, и кому надо — тот ее увидит. И какой-то хмырь болотный тормозит передо мной, как перед шлагбаумом.

Я открываю заднюю дверцу и пропускаю девушку. И сам сажусь.

Она мне больше не говорит “сэнк ю”, а смотрит на меня довольно испуганно. Может, я сумку у нее хочу отобрать — кто меня знает. Вид у меня, чего там скрывать, диковатый, особенно в темноте.

— Ибрагим! — говорю я и со звоном ударяю себя кулаком в грудь.

— Кейт, — говорит девушка без всякого подъема.

— О’Кейт! — говорю я и протягиваю ей руку советско-английской дружбы.

— Великобританское посольство! — с грандиозным английским акцентом называет адрес Кейт.

— Бутырский хутор! — говорю я с не менее грандиозным кавказским акцентом.

— Но, Великобританское посольство! — повторяет Кейт.

— Бутырский хутор, — повторяю и я.

— Куда везти-то? — спрашивает хмырь болотный с подозрением в голосе.

— Шеф, плачу еще пять, вези куда сказал, — говорю я хмырю.

— Это другой разговор... — говорит сообразительный хмырь и нажимает на газ.

А я, не мешкая, наклоняюсь к самому полу и целую Кейт в туфельку. Язык у меня, что ли, от этого отвалится?

Кейт пожимает плечами и молча откидывается на спинку сиденья. Бедная Кейт. В родной Великобритании она такого, наверно, не видала никогда.

За Савеловским вокзалом улицы пошли темные и глухие. Мне показалось, что Кейт немного не по себе, и я тихонько, осторожно, словно бы засовывая руку в тигриную пасть, обнял ее за плечи. Она не пошевелилась и руку мою не сбросила; с тем же успехом я мог бы обнять фонарный столб.

Когда мы проезжали мимо сиделкиной больницы, я тихонечко засмеялся. Это само по себе у меня вышло — но смех получился очень искренний и душевный, да ведь иначе и быть не могло: утром — сиделка, а вечером — Кейт. Даже представить себе трудно.

Услышав это мое искреннее мурлыканье, Кейт чуть-чуть подалась ко мне плечом. Но я все же поостерегся вот так, за здорово живешь, хватать в машине иностранного человека: может, у них там, за границей, все это по-другому делается. Вот приедем в общагу, запрем дверь на ключ — тогда дело другое. Тогда посмотрим.

В проходной общаги дежурил Циклоп собственной персоной. Молить его и просить, чтобы он пропустил ко мне гостью после девяти вечера, было не только бесполезно, но и опасно: признав в Кейт иностранку, он тут же позвонил бы в КГБ. Раза три я проводил по ночам девочек, выдавая их за своих двоюродных сестер, которым негде ночевать в столице — но пытаться убедить Циклопа в том, что Кейт прибыла ночным поездом из высокогорного аула Хиндах, было бы пустой тратой времени.

Я готов был развалить плечом стену общежития — лишь бы добраться с Кейт до моей комнаты. Оставался у меня еще один путь, узенький и страшный, как горная тропка, и я решил им воспользоваться. Кейт долго будет меня вспоминать, а я — Кейт.

В полной темноте я потащил ее через кучи земли и мусора на задний двор. Длинное платье мешало ей идти, и она подобрала его выше колен. Пожалуй, на ее месте я бы уже начал звать на помощь — но она почему-то шла за мной и ни о чем не спрашивала. Да и как бы я мог ей ответить?

По задней стене общежития взбегала на крышу узкая пожарная лестница. Я знал, знал точно, что в коридорном окне третьего эта-

жа, выходящем рядом с лестницей, оторвана щеколда. В это окно я и намеревался влезть вместе с Кейт.

Кейт я пустил вперед: если она свалится с лестницы, я может быть, сумею ее поймать. Или на худой конец свалюсь вместе с ней — черт со мной. Мне кажется, Кейт все-таки немного поколебалась, прежде чем поставила ногу на первую перекладину. Я полз вслед за ней, как кошка. Один раз я взглянул вверх — и отвести глаза мне стоило большого труда. Я так разволновался, что у меня все поплыло перед глазами, и я чуть не упал с лестницы. Такой уж я идиотский тип, и это мне очень нравится. А был бы я другой — я, наверно, писал бы не стихи, а прозу.

Метра не доползая до третьего этажа, я перегнал Кейт. Как это у меня получилось, я до сих пор не могу понять. Может, у меня на полсекунды выросли крылья, и я перелетел по воздуху. Вцепившись в подоконник, я пихнул головой раму и влез в оконный проем. Кейт висела на лестнице, как зонтик на вешалке. Высунувшись по пояс, я схватил Кейт за руки выше локтей и втащил ее в окошко. Здесь же, у окна, мы стояли, прислонившись друг к другу, минуты три. А потом я поцеловал ее, а она — меня. И после такого задатка я готов был ползти по пожарной лестнице до самого неба. Что там говорить: Кейт была вылеплена совсем из другого теста, чем сиделка Марина, то ли Полина.

Мы не выходили из моей комнаты целые сутки — до следующего вечера. Попивая мутный вонючий самогон и грызя сушеное мясо, привезенное Шерстяным, мы разговаривали руками, и этого нам было достаточно. Несколько раз Кейт поглядывала на свои часики, но я отнимал их у нее, брал в рот и делал вид, что хочу их проглотить. Если бы я на чистейшем английском языке уговаривал ее не спешить возвращаться в британское посольство, — это, я уверен, не действовало бы на нее так убедительно. Слава Богу, что я знаю по-английски всего несколько слов.

Под вечер, в очередной раз отобрав у нее часы, я сунул их в рот и задремал. А когда проснулся, ее уже не было. Мне стало так грустно, что я чуть было не проглотил ее часики на память. Я бы даже змею проглотил, если бы она мне ее оставила, уходя. Но потом я подумал, что глотать часы — это, конечно, трогательно, но не лучше ли их тогда сразу выкинуть на помойку. Поэтому я вытащил шнурок из ботинка, вдел его в ушко часов и повесил на шею. Ах, Кейт, почему ты не увезла меня в свою Англию, где круглый год идет дождь и свирепствует ядовитый смог.



Через два дня меня увезли прямо из общежития в Большой дом и там, грохоча кулаками по столу, объявили мне, что я плохой человек и политический диверсант. Я, мол, похитил жену иностранного дипломата и сорок восемь часов держал ее взаперти, и она по этой причине опоздала на самолет, который должен был доставить ее к мужу, торчавшему на аэродроме в городе Монреаль. И еще они мне там сказали, что обязательно со мной разберутся, когда придет время.

Поэтому в Японию мне теперь путь закрыт: не выпустят. И Хасану придется перебиться без нового заграничного пиджака.

Но я об этом не жалею.

(продолжение следует)

Д. Маркиш (р. 1938) — писатель, автор 16 романов, повестей и сборников, кончил Литературный институт им. Горького и Высшие сценарные курсы в Москве; в Израиле — с 1972 г.

Количество наших реакций и эмоций ограничено. Раньше или позже совершенно различные явления почему-то вызывают одинаковые результаты. Прыжок с парашютом и поцелуи в подъезде всегда сливаются в моей памяти, цветение японских вишен напоминает снега Сибири, тишина буддийского храма сродни тихой субботе в армии.

Армейская суббота всегда казалась мне отдельной страной, тишайшей и спокойнейшей, все обитатели которой лежат себе в белых подштанниках по палаткам и встают только по нужде, да и поисками сортира себя не утруждают, ибо женщин нет — нет на многие километры, а значит, некуда спешить и нечего добиваться, и такая тишь и благодать царит в солдатских душах, что они смиряются с еще одной субботой вдали от дома. А что не отдерут какой-нибудь девицы, так солдату на учениях это не страшно — его-то все равно дерут с первого по шестой день недели по схеме: первый, второй, третий, четвертый, пятый, пятый, пятый, пятый, шабат — суббота. Пятый день недели не кончается в десять вечера, а продолжается всю ночь напролет — походом или ночными маневрами — и продолжается утром генеральной чисткой оружия и прочего имущества и смотром перед

Израэль Шамир

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУВСТВ

РАССКАЗЫ

отпуском домой, и все страшно напряжены и ждут разрешения на отпуск из дивизии, и грозные сверхсрочные старшины с огромными усами прогуливаются по лагерю, выискивая непорядок, и замирают сердца рядовых и сержантов, как бы не лишил их старшина долгожданного отпуска за избыточную шевелюру. И все напряжены и устали от бессонницы, и смотров, и старшин с огромными усами и продолжают, рассыпавшись правильной цепью, очищать лагерь от горелых спичек и сигаретных окурков, но вот — приходит Весть. Сначала она проходит слухом, затем вдруг офицеры исчезают в палатке комроты, зовут старшего сержанта, он выходит, зовет к себе сержантов... Все уже понимают, в чем дело: так и есть, сержанты дают роте полчаса — теперь есть время — переодеться в рабочую, непарадную форму, наполнить водой фляжки, зарядить обоймы и приготовиться к смотру полной боевой готовности. И еще они дают краткий — очень краткий — перечень счастливиц, которым надлежит через пять минут выстроиться с вещами и в выходной форме у склада. И за эти полчаса пишутся срочно просьбы об отпуске с подробной мотивировкой и без оной, и сержант выстраивает всех этих просителей в очередь перед палаткой командира отделения, откуда они живо вылетают, помятые и мрачные. Если рота давно не была в отпуске, то это — самое время для самовольной отлучки. И самый нервный и издерганный делает в уме подсчет — вернусь в субботу вечером, глядишь, не заметят, максимум вернусь в воскресенье утром, максимум неделю "губы" получу, а то смоюсь на все 18 дней, за которыми по уставу кончается самовольная отлучка и начинается дезертирство, — вешает автомат на плечо и прыгает на грузовик соседней роты, идущий в Иерусалим. И оставшиеся смотрят ему вслед с завистью и жалостью, но еще больше — с гордостью: мы выдержим и это, не сломившись, ибо побег — признак надлома, значит, они смогли сломить тебя, и ты продолжишь путь сломленным — вместо маневров пойдешь прислуживать на кухне, в походе будешь садиться на землю, а на походе с носилками попросишься на носилки или просто не будешь тащить. Итак, ты сломился, а мы выдержали еще одно испытание — обманутой надеждой на отпуск. Но все же это — очень черное мгновение для всех, и нет даже утешения, что задержали для настоящей боевой операции, потому что в один день операции не готовят, разве что осуществлять третью поддержку четвертого резерва второй линии обороны в месте операции, а это, ясно, не стоит отпуска.

Тем более после такого пятого, пятого, пятого проклятого дня недели.

Но вот проходит смотр готовности, и сержанты освобождают роту до ужина, напомнив о запрете покидать расположение части, командкары подбрасывают роту к ближайшему душу в коммандатуре Иерихона за пятнадцать км, и солдаты долго-долго моются, смывая недельную грязь и пот и полоща израненные ноги. Некоторые наслаждаются бритьем с горячей водой после ежедневного бритья в чертов холод, в предрассветные часы, когда красные пальцы не держат бритву и каждое прикосновение мыла отвратительно, как холодная лягушка в постели. Затем наступает очередь чистого белья. Затем те же командкары умчат роту в ее расположение, и начнется обычная предсубботняя возня — перетряхивание барахла в туго набитых вещмешках, этих заклятых солдатских друзьях. На вещмешке сидит солдат на второй день после призыва, ожидая, куда же его пошлют; с ним он бегаёт вокруг лагеря за всякие мелкие провинности, овладевая военной наукой, затем три года таскает он его за собой по всем заставам, и блиндажам, и армейским лагерям, а подконец его же приволакивает, как побежденного врага, привязанного к заднему бамперу машины, на демобилизационный пункт и возвращает — бывалый, потрепанный, выдавший виды. Сколько ночей проведено с ним под головой — дай Бог, чтоб так же мягко спалось на подушках в гражданской жизни.

А покамест лишь утрясается в этом вещмешке имущество, и выходная форма вновь кладется вниз, подальше, до следующей субботы. И тишина и спокойствие наконец приходят в лагерь, и начинается долгий солдатский сон — без планов, сновидений и спешки.

Суббота может застать солдата в лагере — это очень хорошо, почти как отпуск домой. Есть вода, душ, кровать, теплая большая комната, куда не попадает дождь. К полудню следующего дня, когда все проснутся и останутся в белых подштанниках меж теплыми одеялами, будут читать субботние газеты с бесконечными приложениями, передавая их с койки на койку, и лузгать семечки, и курить, стряхивая на пол и наслаждаясь свободой или стряхивая пепел в газету и наслаждаясь чистотой, и подавят мысли о неуклонно близящемся конце субботы, когда вытащат их из-под теплых одеял, выстроят в одних рубашках перед баракком, прикажут положить носилки с "раненым" на плечи и поведут в бесконеч-

ный поход под бесконечный дождь по всем холмам и взгорьям Палестины.

Но пока — так хорошо, и думать не о чем, потому что все за тебя решено.

Бывают субботы и похуже. В больших индийских палатках, по 6—8 человек в каждой. Впрочем, обычно и тут есть душ, да и столовая ближе, чем в постоянном лагере, так что только скверная погода несколько портит такую субботу.

Но хуже всего — двускатные палаточки в проливной дождь. Они плывут, как сизые утицы, и вещмешок мокр, и одежда мокра, и оружие заржавеет, сколько масла на него ни лей, и удовольствия от такой субботы ровно столько же, как от лежания в луже в холодный день без определенных намерений.

Однажды я провел такую субботу неподалеку от Куле, что под Лодом, лежа в грязи, хлебая разбавленную дождем армейскую консервированную всячину и завидуя всем на свете. Но после обеда мы получили пакетики с конфетами, сигаретами, мылом и жевательной резинкой — “нашим парашютистам от детей Рамат-Гана” — и в своем покетике я обнаружил записку от оченьмышленого пацана десяти лет, который просил меня не умирать за Родину, если это не совсем уж позарез необходимо, — и зависть моя ушла.

Но и такие субботы были мне не так трудны, как были бы вам сейчас — потому что чувства притупляются во время маневров и все воспринимается, как сквозь густую пелену. Солдату хочется жрать, спать, полежать в горячей воде — вот и все. Более сложные эмоции просто не существуют во время маневров. То было счастливое время — тогда я не ведал тоски.

По субботам я, одинокий солдат, болтался по различным особнякам со своей тогдашней подругой, объедал дельцов и писателей, а то приезжал в большую квартиру подружки, сдирал с себя форму, отмокал в ванне, затем в халате шел к столу и съедал и выпивал за шестерых, а потом падал в мягкую постель и немедля засыпал без всяких сексуальных помыслов. Последние возникали лишь где-то поутру и легко находили простое и не слишком бурное решение. До более сложных эмоций я дошел только однажды — благодаря отчаянности моей матери, о чем, собственно, и рассказ.

Как-то утром меня вызвал комроты и очень бережно сообщил, что в газете есть статья о том, что мою маму арестовали. В статье было написано, что мать выступала перед иностранными журналистами во время кассации дела ленинградских “самолетчиков”

в защиту осужденных. Так как выступала она не в Тель-Авиве и не в Нью-Йорке, а в Москве, то реакция была вполне ожидаемой — ее арестовали. Как выяснилось потом, ее друзья смогли быстро добиться ее освобождения с помощью тех же иностранных корреспондентов — она была свободна к вечеру того же дня. Я немедленно с солдатской хваткой попросил лишний день отпуска — связаться с МИДом, узнать подробности. Особой сыновьей заботы в этом не было — таких сложных эмоций солдату на учениях не знать — просто хотелось открутиться на день, и такой случай было грех упускать.

Отпуск я этот получил, и вместе с субботой он дошел до неслыханных размеров в два с половиной дня. Первый день я провел, как обычно, на второй мы пошли в театр, а в воскресенье я лежал на диване в Ришон-ле-Ционе, смотрел на серый дождик за окном и вдруг — вместо радости, что я не под дождем — вдруг почувствовал тоску и грусть. Это было так потрясающе, что я сначала не поверил самому себе, а потом несказанно обрадовался — как импотент возвращенной мужественности, ибо количество наших реакций и эмоций ограничено, и раньше или позже различные явления почему-то вызывают одинаковые результаты. То же чувство я испытал одним чертовым летом, несколькими годами ранее.

Мы жили тогда у меня дома вместе с другом Виленкой, бросив университет, и вели сугубо интеллектуальную жизнь. Родители давали немножко денег, рубль в день, чтобы побудить к работе. Но нам не работалось, мы валялись на коврах и читали книжки. И варили обеды из продуктов, оставшихся от покойницы-бабушки — она свято верила в близость третьей мировой войны и запаслась массой риса, пшенки, муки, макарон, не считая десяти огромных банок варенья. Готовили мы блинчики, или приходила подруга и делала самый доподлинный плов почти без мяса, а то богатели и жарили картошку с мясом — конечно, по-русски, а не как “чипс” — так, чтобы она выходила сочной и сытной, а не сухой и ломкой. К этому покупалась бутылка очень скверного “Белого крепкого”. Все то лето пилось это вино, как румынское вино — четырьмя годами ранее или водка — двумя годами позднее.

Приходило к нам довольно много друзей и подруг. Друзей Виленка, как правило, отшивал, как он это называл, “негнущейся рукой”. Он очень хорошо показывал, как это рука не гнется. Эти два знаменитых высказывания Виленки я бережно храню. Второе — на ту же тему об обедающих друзьях. Поводился к нам

ежедневно обедать наш давешний друг и однокашник, Витенька Циркач, также бывший в перерыве между занятиями, как это вежливо называлось. Когда стало ясно, что Витины визиты не становятся реже, Виленька сказал вторую историческую фразу:

— Он на нас наваливается, а мы же как былиночка.

И показал на ладошке гнущуюся по ветру былиночку, а вслед за тем немедленно пресек Витины визиты.

Особых проблем у нас не было. Навещали нас милые девушки из консерватории, театрального училища, балетной школы и т. д. Однако, как я с ужасом обнаружил однажды, лежа раздетый и бессильный около маленького тела Нины, мужская сила оставила меня тем летом. Не знаю почему, ибо это было идеальное лето, без забот и проблем, типичное лето 60-х годов, когда революция была не за горами, а с ней и приход Мессии.

По привычке я раздевал проходящих, что только увеличивало мое смятение — зачем раздеваешь, дурак? Виленька очень потешался над этим, пока однажды мы не поехали навестить друга, собиравшегося жениться. Друг жил в глухой деревне, и его невеста, здоровая деревенская девка, была очарована столичным шармом Виленьки. Друг был пьян, и я смог увести его, а когда мы вернулись, то нашли Виленьку, худого и потного, в постели, а чертова девка разочарованно кричала:

— Он ничего не мог мне сделать!

И мы немедленно вернулись в город и стали вести славное импотентское существование вплоть до самой зимы. А к зиме какой-то приятель привел ко мне одно создание, высланное из Ленинграда за аморальное поведение, и создание станцевало стриптиз на моем письменном столе, и тогда я выгнал всех из комнаты и вновь стал мужчиной, и почувствовал то, что ощутил годы спустя — на диване в Ришон-ле-Ционе, тихо тоскуя под звуки дождя.

В ПУСТЫНЕ

Что прочнее — дух или плоть? Что выстоит? Что рухнет? Сложи два неотесанных камня, скажи слово, — камни останутся, слово улетит, станет частью того, что когда-то было словом. Царь Соломон, прадед мой, построил Храм, построил дворец, затем сказал: “Суета сует”. Храм исчез, дворец забылся, слова остались. Самое зыбкое — дух, а прочнее не бывает. Может, потому, что даже два

неотесанных камня напоминают не только жертвенник в Вефиле, некогда называвшемся Лузом, но и вавилонскую башню.

По утрам песок заносит линию шоссе в Синайской пустыне. Свежеприпорошенная, она уже готова забыться, отдаться дюнам, слиться с ними. Тогда приходят большие желтые трактора и напоминают ей о железной воле строителей башни. Они отворачиваются от зыбкости и сыпучести пустыни, укладывают камни в складках ее тела, ставят ориентиры. Человеческий ум не переносит зыбкости, вечности, сверхпрочности.

По утрам душа не вмещает сверхпрочности духа, и хочется творить простые и видимые вещи — ручки, унитазаы, дороги, — долгосрочные, хоть и недолговечные. Да и где вечность? Записанные слова — не те же ли дороги, ручки и унитазаы? Мозг работает, мысли и чувства переливаются как в калейдоскопе, — необходимо ли превращать эти ощущения в нечто отдельное от нас, в зрелый плод, который можно сорвать? Чувствовал же Бетховен “Лунную сонату” и до того, как записал ее на нотной бумаге — зачем же записывал? Во имя людей? Жаль выпускать свои родные мысли и чувства, переводить их на общий язык. Но та же сила раздвигает ложесна роженицы — мы должны рожать, хотим того иль нет.

И поэтому по утрам я заливаю масло и соляр в бак желтого трактора, протираю приборную доску и спешу столкнуть с воображаемой линии-дороги лишний кубометр леска. Со стороны — спереди — трактор подобен башне, когда он опускает нож бульдозера и приподымается всеми пятьюдесятью тоннами своего железного тела. Затем он опускает голову, как бык, готовый к броску, и гора песка пред ним плавно трогается с места. И лишь в конце пути он вновь замирает, подобный башне на краю обрыва, готовый покатиться вспять за новой горой.

— Где ты работаешь? — спрашивают меня дома во время кратких отпусков.

— Нигде, — честно отвечаю я.

Там, где я нахожусь, нет никаких ориентиров. Глазу не за что зацепиться. Я не привык к какому-нибудь бархану, и сердце мое не прилепилось к одинокой дюне. Пустыня течет, как море, но без его переливов, и цветов, и плеска. Она подобна декорации театра абсурда — дощечка с надписью “ПУСТЫНЯ”. Декоратор и не позаботился расписать барханы, дюны, оазисы и прочую экзотику. Моя пустыня — пуста. Камера-одиночка более вещна — можно разглядывать стены, потрогать облупившуюся штукатурку в

правом верхнем углу, увидеть мутную краску на зарешеченном окне, саму решетку с неровной плавкой чугуна, камеру можно измерить шагами, а потом биться головой об стенку. Степь оставляет ощущение простора. В пустыне нет и этого — горизонт смят дюнами.

Как далеко было это от прекрасной вещности нашей зеленой страны. Как изгиб колена любовницы, уже не столь любимой, но такой близкой — так мне изгибы твоих улиц, Иерусалим. Я знаю твои горы и доли, и у каждого места, у каждого поворота — свой смысл, свои воспоминания: здесь я встретил Дину, там проводил Рахель. Здесь нет идей, нет целого — одни подробности.

В Палестину, она же страна Израиля, приезжают любители целого, остаются — запутавшись в подробностях. Целое — идеи — не выдерживают солнца таммуза, хамсинов нисана, пестрой грязи на улицах. Идеи не выдерживают прямого попадания. Их следует хранить в умеренном климате. У нас же остались лишь детали.

Иногда по утрам душа не вмещает этой плотности деталей, и тогда самое время уйти в пустыню, где все — вообще.

Но все это объяснение — не обманно ли? Так ли осмысленны мои поступки? По какому праву осмысливают наши поступки? По какому праву мы осмысливаем наши поступки? Итак, я просто нахожусь в пустыне.

Пустыня текла. Дюны ползли. Да хоть бы и стояли на месте — где оно, место, если нет начала отсчета — высокого дерева, дома с красной крышей, родника? Пытались найти ориентир. Вбивали колышки, писали на них трехзначные номера — расстояния. Спрашивали прораба — далеко ли? Спорили по вечерам — насколько продвинулась дорога. Это не помогало. Писали на стенке барака — “Сия кровать принадлежит Узи”. Потом исчезал Узи, потом исчезала кровать, потом исчезал барак.

Не верилось, что в этой зыбкости — человек остается неизменным. Человек начинал течь, подобно песку.

Там в Иерусалиме было черное и белое, орех и пальма, мужчины и женщины. Здесь все текло, плавно меняясь от сверхмужественности бульдозера до сверхженственности песка. Мы — люди — были посредине, мужественнее одного, женственнее другого, как Господь Бог у каббалистов, состоящий из 7 частей, каждая из которых мужественна по отношению к последующей и женственной — к предыдущей. Трактористы чувствовали это и бормотали: этот — не мужик, я — мужик. А тот — во мужик!

Женщин — настоящих женщин, по специальности, — в пустыне не было. Лишь изредка появлялась та или иная — на сидении рядом с водителем джипа, хозяином тракторов, — грубая, черноволосая искательница приключений, озирающая пустыню невидящими глазами. Твердо знающая свою женскую суть и цену до копейки. Трактористы припоминали, что делают с женщинами и сбивались в кучу, посмотреть на это начало отсчета, на этот полюс женственности. Затем эти вымышленные создания из пограничных городков исчезали, и жизнь снова становилась неопределенной и неясной.

Нежной женщиной чувствовал я себя у стальной мощи трактора. С упоением разглядывал свои тонкие запястья и загорелые ноги. Нет, мы не могли касаться друг друга. Трактор был раскален докрасна. Вода в радиаторе кипела весь день. От мотора можно было прикурить сигарету. Касаться было нельзя. Это было время без прикосновений. Это чувство ушло вместе с остальными. Солнце слепило глаза, рев бульдозера покрывал тишину, а когда мотор замолкал, в ушах начинало звенеть. Касаться было нельзя. Песок горел, не хотел становиться вещью, лишь некасаемой декорацией, а на ней я — нежный и беззащитный.

И вдруг — все менялось. К полудню трактора от жара оставались, больше не могли. Я оглядывал себя — маленький человечек с нежными руками. Я мог — правда, в полубморочном состоянии, но мог. Обессилевший трактор лежал желтой тушей на песке, не бросая тени.

А к утру песок запыливал полотно дороги. Песчаные бури воздвигали себе памятники — дюны прямо вслед за бульдозером. Пустыне дорога не мешала. Она была готова съесть ее — не напрягаясь и не спеша. Когда исчезает человеческий род, — а этого осталось недолго ждать, — дорогу заметет и гармония вернется. Ориентирам нет места в текучести пустыни. Наши сызнова возмужавшие потомки раскопают асфальтовую ленту, удивятся ее бессмысленности — кому нужно было соединять две стоянки бедуинов таким шоссе? — и пустыня вновь заметет его.

Одинок я был в бессмысленности пустынной. Устремления трактористов и тракторов были мне чужды, бедуины и песок не искали, хоть и не избегали моего общества.

Как описать его? Лицо некрасивой, но обаятельной девушки, нежный профиль, зеленые глаза, гладкие ноги и стройные колени, слегка тронутая загаром кожа. Возраст — 17 лет.

Джип, набитый битком, как тегеранский автобус, возвращал нас по вечерам в лагерь. Мы оказались рядом. От толчков и рывков нас то и дело кидало друг на друга. Он положил свою прохладную руку на мое колено, и я ощутил удар тока. Кровь забила в висках. Мысли смешались.

Выплыло слово "шелха". Странное семитское слово. Не "твой" и не "ваш". Скорее — "принадлежащий тебе". Им не кончают вежливые письма: "С почтением Ваш и т. д." Им завершают признание, сдачу на милость победителя "Твой народ — мой народ". Как сказала Руфь. "Ани — шелха": "я — твой".

Мы заговорили. Я почувствовал себя, как тролль горы Курама в облики бедного старика, когда с ним заговорил прекрасный юный принц Иошицуне. Он был благороден, как сакура, — тролль влюбился бы в него. В нем были свойства шелка и стали, наподобие сабле в шелковых ножнах, он был приветлив, как и пристало принцам, запястья его были тонки, благородство сквозило в нем, как в молодом арабском жеребце.

— Я скоро иду в армию, — сказал он. — Я хочу быть парашютистом.

Почему я не умер тем же вечером, — не знаю. Если бы он коснулся меня вновь — я бы погиб. Я жил в мире, лишенном прикосновений. Нельзя было касаться песка, касаться трактора, касаться друг друга. Женщин следовало скорее трахать, тискать, мять или гладить. Простой смуглый народ моей страны боится касаться, держаться за руки, барахтаться, — чтобы засыпать пропасть отдельного бытия. Но в благородном мире отборных батальонов, в дворянских полках — нет касаний. Даже в теснейшем союзе армии — в двуспальной и двускатной палатке — не прикасаются. Мужественность принцев из шелка и стали безупречна и совершенна, совершенней мужественности тракторов и Господа Бога. Любовь к ним безумна, ибо неутолима. Касаться их нельзя.

Тогда, в джипе, скачущем по пустыне, я испытал единственное прикосновение моей жизни.

Через несколько дней я оставил трассу и бежал в Иерусалим.



Игорь Губерман (Гарик)

ДАЦЫБАО НА ТЮРЕМНЫХ СТЕНАХ

*Тюрьмою наградила напоследок
Меня Отчизна-мать, спасибо ей,
что я теперь воочию отведал
судьбу ее нехудших сыновей.*

Мы жизни свои ценим слишком низко.
Меж тем как, то медвяная, то — деготь,
история течет настолько близко,
что пальцами легко ее потрогать.

В объятых водки и режима
лежит Россия недвижимо.
И только жид, хоть и дрожит,
но по веревочке бежит.

Судьба мне снова что-то роет.
Сижу на греющемся кратере.
Мне так не хочется в герои,
мне так охота в обыватели!

Тюрьма весьма обогащает
наш опыт игр и пантомим,
но только сильно сокращает
возможность пользоваться им.

Друзьями и покоем дорожи,
люби, куда любится, и пей.
Живущие над пропастью во лжи
не знают хода участи своей.

Страны моей главнейшая опора –
не стройки сумасшедшего размаха,
а серая стандартная контора,
владеющая ниточками страха.

Еще я жив, еще не стар,
люблю людей и верю книжкам.
Я только здорово устал,
как будто вырос быстро слишком.

Я заметил на долгом пути,
что, работу любя беззаветно,
палачи очень любят шутить
и хотят, чтоб шутили ответно.

А жаль, что мы умрем. Родятся внуки,
а их, поскольку нам уж не подняться,
растленные какие-нибудь суки
научат убивать и подчиняться.

Вокруг себя едва взгляну, —
с тоскою думаю холодной:
какой кошмар бы ждал страну,
где власть и впрямь была б народной?!

Евреи лезут как на грех,
где все вмешательства нелепы.
Евреям нужно больше всех,
когда другие мудро слепы.

Какое это счастье — на свободе
со злобой и обидой через грязь
брести домой по мерзкой непогоде
и чувствовать, что жизнь не удалась...

Благодарю Тебя, Создатель,
что сшит не юбочно, а брючно,
что многих дам я был приятель,
но уходил благополучно.
Благодарю Тебя, Творец,
за то, что думать стал я рано,
за то, что к рюмке огурец
Ты посылал мне постоянно.
И за тюрьму благодарю, —
она во благо мне явилась,

что тоже милость...

Благодарю Тебя, Всевышний,
за все, к чему я привязался,
за то, что я ни разу лишним
в кругу друзей не оказался.
И одному Тебе спасибо,
что держишь меру тьмы и света,
что в мире дьявольски красиво,
и мне доступно видеть это.

Игорь Гарик, создатель широко известных "Еврейский дацзыбао"; — одно из загадочнейших имен Самиздата. Его язвительные, остроумные четверостишия разошлись по всей России и даже вышли за границу, а их автор все еще оставался неизвестным для своего читателя.

Сейчас стало возможным раскрыть этот псевдоним.

Автор "Еврейских дацзыбао" — московский писатель Игорь Губерман. В августе 79 г. он был арестован КГБ после подачи заявления о выезде в Израиль и осужден по вымышленному уголовному делу, а в действительности — за отказ дать показания на своих товарищей — издателей журнала "Евреи в СССР" и руководителей семинара ученых евреев-отказников.

Игорь Губерман приговорен к 5 годам лагерей. Из тюрьмы ему удалось послать своим друзьям новые дацзыбао, которые мы предлагаем читателю.

Игорь Гарик продолжает свой мужественный, творческий и жизненный путь. Борьба за освобождение Игоря Губермана продолжается.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Книга профессора Бар-Иланского университета Поля Эйдельберга "Стратегия Садата" стала политическим бестселлером последних месяцев. Она ставит важнейший для будущего нашей страны и всего мира вопрос: каковы истинные цели стратегии Анвара Садата? — и предлагает свой ответ на него. Независимо от того, как относиться к этому ответу, нельзя не задуматься над ним — особенно в свете нижеследующих слов, произнесенных всего два месяца назад:

"Независимо от различий, существующих между нами и главами стран "Фронта отказа", в вопросе о решении арабо-израильского конфликта эти различия являются тактическими, а не стратегическими".

(Анвар Садат. Из выступления на съезде египетской национально-демократической партии 18 марта 1980 года)

Поль Эйдельберг

СТРАТЕГИЯ САДАТА (главы из книги)

Введение. Тень Гитлера продолжает тревожить память и воображение человечества. Назвать своего политического противника "фашистом", сравнить его с Гитлером стало расхожим приемом политического преувеличения.

Но разным людям Гитлер представляется по-разному. Советы видят в нем современного Наполеона, сначала вторгшегося в Россию, а затем бежавшего из нее. Для американцев он не столько завоеватель, сколько тиран, палач, уничтоживший больше людей, чем кто-либо другой в истории — за исключением Сталина и Мао Цзэ-дуна. Вдобавок, американцы склонны воспринимать Гитлера немного мелодраматически. Они часто забывают, что Гитлер был удачливым и прагматичным немецким политиком, а также почти удачливым, почти прагматичным политиком на международной сцене.

Вот почему нас так шокирует совершенно иное восприятие Гитлера:

"Я был на летних каникулах в своей деревне в те дни, когда Гитлер начал свой марш из Мюнхена в Берлин, чтобы изгладить последствия поражения Германии в первой мировой войне и отстроить страну. Я собрал своих друзей и сказал им, что мы должны последовать примеру Гитлера..."

Это написано в книге, озагла-

ленной "В поисках своего Я". Ее автор Анвар эль-Садат стал после смерти Насера президентом Египта. В 1978 году он опубликовал свою книгу в Соединенных Штатах. Само ее название уже вызывает симпатии у американского читателя, и без того находящегося под впечатлением исторической речи автора с трибуны израильского парламента (Кнессета).

Книга Садата имеет также подзаголовок: "Автобиография". Из нее мы узнаем, что Садат всегда был правоверным мусульманином. Это несколько озадачивает: как-то ни к чему, кажется, правоверному мусульманину заниматься "поисками своего Я". Далее автор уверяет нас, что ему было всего двенадцать лет, когда он сказал своим друзьям, что нужно "последовать примеру Гитлера". Это тоже озадачивает, потому что двенадцать лет Садату было в 1930 году. В тот год нацистская партия, зародившаяся в Мюнхене, набрала на выборах второе по количеству число голосов. Этот факт можно, конечно, истолковать как символический "марш Гитлера на Берлин". Однако в действительности Гитлер пришел к власти только в 1933 году. Даже если представить себе, что результаты выборов в Германии стали известны в крохотной, заброшенной египетской деревушке Мит Абуль-Кум на берегах далекого Нила, трудно понять, как могло это известие настолько поразить воображение двенадцатилетнего крестьянского мальчика.

Быть может, Садат прибегает здесь к излюбленному в автобиографиях приему — проецирует назад, в свою молодость, мечты и амбиции взрослого человека? Не следует ожидать, что он будет воспринимать Гитлера так же, как воспринимаем его мы. Ведь Садат не родился и не вырос в либерально-демократическом обществе. Судя по его словам, он видит Гитлера куда реалистичнее нас; мало кто на Западе прежде всего вспомнил бы о победе Гитлера на выборах. **Сегодняшний** Садат действительно может думать, что в арабском мире ситуация напоминает положение Германии после поражения в первой мировой войне — в частности, потерю ею части своих земель и образование нового государства, Чехословакии, которое поработило три миллиона немцев. Таким поражением Садат может считать 1948 год, когда израильцы победили Египет (и еще пять арабских государств) в Войне за независимость. Либо же 1967 год, когда израильцы победили Египет (и еще восемь других государств — членов Лиги арабских стран) в Шестидневной войне и отняли у Египта Синай, у Иордании Западный берег и у Сирии Голанские высоты. Если Садат

стремится “изгладить” последствия Шестидневной войны, то это означает, что он хочет всего лишь вернуть арабам территории, утраченные ими во время этой войны. Такая цель соответствовала бы той “политике мира”, которую общественное мнение демократических стран связывает с именем египетского диктатора. Если же Садат стремится “изгладить” последствия Войны за независимость, тогда его конечная цель состоит просто в уничтожении Государства Израиль — невзирая на договор, подписанный им с Израилем в марте 1979 года.

Все это, конечно, лишь предположения, но особенности автобиографии Садата, не говоря уже об особенностях и даже противоречиях его публичных заявлений, таковы, что требуют самых серьезных и детальнейших предположений. Не следует забывать, что Гитлер тоже использовал двухэтапную стратегию умиротворения и агрессии в своих отношениях с демократическими странами в 30-х годах.

Прежде чем говорить об этой стратегии, напомним, что Садат специализировался в военном искусстве. Он изучал великого Карла фон Клаузевица. Он знает, что “война это не цель в себе, а лишь продолжение политики иными средствами”. Следовательно, и дипломатия или политика умиротворения тоже может быть формой агрессии, проводимой иными средствами. Более того, действия Садата, самоучкой изучившего немецкий язык во время тюремного заключения (к которому он был приговорен англичанами во второй мировой войне за пронацистскую деятельность), свидетельствуют о том, что он тщательно изучал дипломатическую тактику и методы психологической агрессии Гитлера.

Эта тактика и методы представляют собой комбинацию умиротворяющих и агрессивных действий, синхронизированных так, чтобы они способствовали неминуемому поражению противника. Мирный этап этих действий (его можно назвать “мирным наступлением”) — типичный пример политики, проводимой диктатурами по отношению к демократиям, то есть к режимам, опирающимся на ведущую роль общественного мнения, которое Гитлер назвал “могущественнейшим фактором нашей эпохи”. Эта политика ставит перед собой три взаимосвязанные цели, достижение которых во многом зависит от способности диктатора:

а) переложить ответственность за войну на противника (самому выступая в роли апостола мира),

б) разделить и деморализовать ряды противника (путем поощрения лидеров оппозиции и пацифистских движений в его стране) ,

в) изолировать противника от его друзей или союзников (угрожая им войной или экономической катастрофой) .

Эти три цели можно преследовать одновременно и наиболее эффективно, используя демократическую фразеологию для обмана демократических стран. Так, например, Гитлер, будучи тираном, провозглашал демократический принцип самоопределения для того, чтобы лишить Чехословакию контроля над Судетами, естественные границы и укрепления которых были жизненно необходимы для обороны и существования страны. Точно так же Садат, глава военно-диктаторского режима, постоянно ссылается на принцип самоопределения,* чтобы дискредитировать израильские претензии на Западный берег (Иудею и Самарию) , без которого сердцевина Израиля окажется сведенной до девяти-четырнадцатимильной полоски земли и станет незащитимой.

Нужно отметить, однако, что ссылки Садата на самоопределение вдвойне эффективны благодаря тому, что они непрерывно подкрепляются угрозой войны с "третьей стороны" – например, со стороны сирийского диктатора Хафез аль-Асада. Выступая на фоне таких воинственных заявлений (и даже не обязательно ссылаясь на них) , Садат может запугивать угрозой войны, даже не угрожая ею сам. Очевидно все же, что и он не исключает из своих планов военный вариант и готов обратиться к нему, если Израиль не примет принцип самоопределения арабов на Западном берегу. Учитывая, какой мощной эмоциональной поддержкой этот демократический принцип пользуется и в Израиле, и в США, можно понять, каким образом угроза войной в сочетании с этим принципом позволили Садату достичь всех трех целей, которые

* Отметим содержащийся здесь двойной обман. Садатовский Египет столь же мало основан на принципе самоопределения народа, как гитлеровская Германия. И если арабы Иудеи и Самарии получат такое самоопределение, они окажутся под властью правительства, которое не только подавляет всякие свободы, но и стремится к уничтожению Израиля – единственной ближневосточной страны, где такие свободы осуществлены. Самоопределение в политическом смысле предполагает наличие демократических свобод – свободы слова, многопартийной системы и периодических выборов, которые позволяют народу сменять людей, ответственных за планирование и осуществление политики страны. В отличие от этого, так называемое национальное самоопределение не обязательно предполагает такие свободы и в крайнем его толковании требует для каждой отдельной этнической, расовой и религиозной группы права на создание собственного государства, что в конечном счете может привести только к полной политической анархии.

ставит перед собой всякая нацистская стратегия войны и мира в своей мирной фазе.

Для этой стратегии характерно использование не только демократического языка, но и демократических средств информации. Не нужно думать, будто только тщеславие заставляет таких автократов, как Садат, столь часто давать интервью американскому телевидению и другим средствам информации. Эти интервью позволяют Садату эффективно манипулировать общественным мнением демократических стран, подстраиваясь под его лад и систематически обрабатывая его своей пропагандой.

Некоторые из принципов такой пропаганды изложены Гитлером в его книге "Майн кампф".* Пропаганда, пишет Гитлер,

"должна быть адресована всегда и исключительно массам. Она должна быть рассчитана главным образом на эмоции и только частично на интеллект. Задача пропаганды состоит не в том, чтобы обсуждать права различных народов, а в том, чтобы настаивать на одном-единственном праве, которое она провозглашает и отстаивает. Ее цель не в объективном поиске истины, если эта истина благоприятна для противника, и не в академически объективном объяснении ее массам; цель пропаганды — всегда и неукоснительно служить только нашему делу".

Мы сейчас увидим, как Садат применяет эти принципы, но сначала напомним следующий эпизод.

В сентябре 1953 года несколько западных информационных агентств сообщили, что Гитлер еще жив. На волне этих слухов ведущая каирская газета "Аль-Мусаввар" задала некоторым египетским общественным деятелям следующий вопрос: "Что бы вы написали Гитлеру, если бы он оказался жив?" Одним из отвечавших был полковник Анвар эль-Садат. Вот что он написал:

"Дорогой Гитлер. Я поздравляю Вас от всего сердца. Хотя Вы и кажетесь побежденным, в действительности Вы — победитель. Вы сумели посорить старика Черчилля с его союзниками, исчадиями дьявола. Германия все равно победит, потому что ее существование необходимо для сохранения мирового равновесия. Германия возродится вопреки воле западных и восточных держав. Не может быть мира, пока Германия снова не станет тем, чем она была. Запад, равно как и Восток, заплатят за ее восстановление, нравится им это или нет. Обе стороны вложат огромные деньги и усилия в восстановление Германии, чтобы иметь ее своей союзницей..."

Если заменить в этом письме слово "Германия" словом "ислам", мы увидим амбиции самого Анвара эль-Садата; и действительно, это примечательное письмо кончается словами:

* "Майн кампф" и сегодня является обязательным учебным пособием в египетских офицерских училищах и военной академии.

“Я не удивлюсь, если Вы снова появитесь в Германии или если новый Гитлер поднимется, чтобы продолжить Ваше дело...”

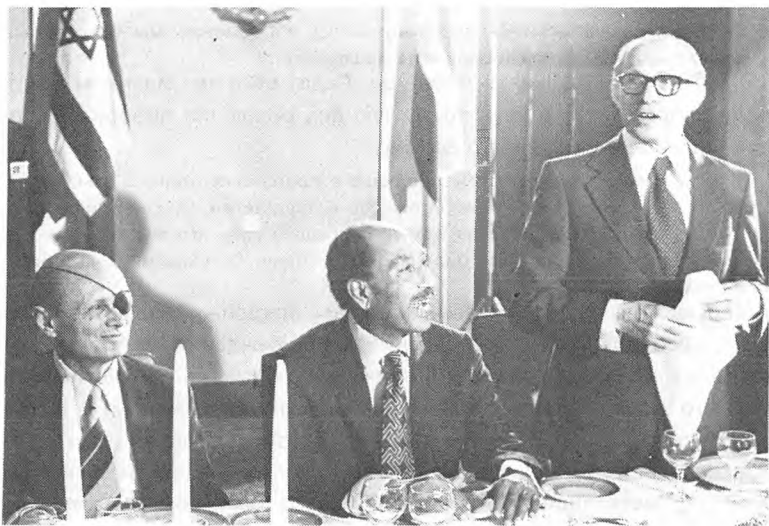
В 1970 году Мухаммед Анвар эль-Садат стал президентом Египта. Два года спустя в речи по случаю дня рождения пророка Магомета Садат заявил, говоря о евреях:

“Самое замечательное достижение нашего пророка состояло в том, что он изгнал их из Аравии. Они — народ лжецов и предателей, зачинщики заговоров, люди, рожденные для дела измены. Обещаю вам, что мы вернем их в их прежнее положение... как говорит о них Коран: “осужденные на унижения и бедствия”.

Многие благорасположенные люди искренне надеются, что Садат преодолел свои юношеские предубеждения либо же эти его заявления имеют чисто риторический характер. Но не исключено, что Садат остается при своих нацистских симпатиях. Будучи вынуждены выбирать из этих двух противоречащих друг другу возможностей, как решить, какая из них “истинна”, какой Садат — “настоящий”? Правильней всего было бы считать обе одинаково вероятными, надеяться на лучшее и защищать себя на случай худшего.

Но этого не случилось. Американцы и израильтяне, будучи миролюбивыми демократическими народами, действуют по принципу: кто старое помянет... Их обезоруживает кажущаяся прямота, с которой Садат признается в своих юношеских симпатиях к Гитлеру. Садат знает, какой ужас пробуждает в них имя Гитлера. Он знает также, что люди, которые хотели бы дискредитировать его, могут вспомнить, что в годы войны он был осужден за пронацистскую деятельность. Признаваясь в том, что когда-то он хотел следовать примеру Гитлера, Садат провоцирует у большинства читателей желаемый возглас: “Уж сегодня-то он наверняка не питает таких чудовищных амбиций, иначе зачем бы ему самому признаваться, что он питал их прежде?”

И все же — какой из Садатов прилетел 19 ноября 1977 года в Израиль, чтобы провозгласить то, что он сам, а вслед за ним и весь Запад, назвал “вестью мира”? Какой бы ответ ни предпочтеть, нельзя забывать об одной дисгармонирующей ноте, которую он внес в этот визит. На банкете, устроенном в его честь на следующий день израильтянами, Садат был в галстук, узор на котором хозяева, к сожалению, не уделили должного внимания. Возможно, они были слишком им очарованы, ибо, как увидит, обратившись к фотографии, читатель, этот узор состоял из переплетенных, перевернутых свастик!



На приеме у Бегина

”Мирная инициатива” Садата. (1). Одно из условий визита в Иерусалим, которые выдвинул Садат, состояло в разрешении произнести речь перед израильским парламентом. Более 2000 корреспондентов из разных стран собрались в Святом Городе. Событие было действительно впечатляющим: мусульманский лидер, провозглашающий речь, в которой демократические страны страстно хотели видеть и увидели декларацию мира. Кто бы отважился допустить, что Садат решился на такую безумную дерзость, как обмануть практически весь мир?!

Впечатление от речи Садата было громадным. Но проанализируем ее внимательно и трезво. Прежде всего эта речь была классическим образцом пропаганды. Она содержала буквально считанное число предельно простых, эмоционально впечатляющих идей; идеи эти непрерывно повторялись; они были обращены к массам. Можно не сомневаться, что Садат прекрасно разбирается в психологии массы, в эмоциях, владеющих большинством людей, — мужчин и женщин, молодых и стариков.

Первой задачей любого оратора является завоевание доверия и симпатии слушателей. Для Садата это было особенно трудно ввиду разношерстности аудитории и беспрецедентного характера его

“мирной инициативы”. Нужно подчеркнуть, однако, что речь Садата была рассчитана прежде всего на общественное мнение в Соединенных Штатах Америки, этом главном союзнике Израиля. Учитывая это, в первых десяти фразах своей речи Садат десять раз упомянул имя Бога. “Такой богобоязненный человек наверняка не станет лгать” — так или примерно так должно было подумать большинство американцев. Для подкрепления этого впечатления вся речь была густо пересыпана такими словами, как “искренность” и “откровенность”. Перед тем как охарактеризовать шаги, которые он считает необходимыми для достижения мира, Садат четыре раза на протяжении трех фраз обратился к слушателям со словами: “Будем откровенны друг с другом”. Но это еще не все.

Понимая, что некоторые люди все же могут заподозрить его в заговоре или рассчитанном маневре, Садат напомнил аудитории:

“Как я уже заявил, я не обсуждал это мое решение ни с одним из моих коллег или братьев — главами арабских стран “Фронта отказа”.

Тот, кто способен поверить этому, способен уже поверить чему угодно. Ибо буквально накануне своей поездки в Иерусалим, Садат совершил молниеносные визиты в Дамаск и Риад.

Но если это утверждение и заронило в ком-то подозрения, то Садат ликвидировал их одним мастерским ударом, заявив, что такие подозрения вообще характерны для арабо-израильского конфликта. При этом он с профессиональной ловкостью повернул дело так, будто эти подозрения и настороженность всегда исходят только от Израиля:

“Между нами была стена, которую вы воздвигали в течение четверти века. Эта стена угрожала нам истреблением и уничтожением, если мы попытаемся осуществить наши законные права на освобождение оккупированных земель. Эта стена рухнула в 1973 году. Однако остается еще одна стена. Она представляет собой психологический барьер, существующий между нами, барьер подозрений, барьер неприятия, барьер страха, обмана, барьер иллюзий”.

И вот этот-то барьер он якобы намерен преодолеть своим визитом. Так, одним решительным ударом, Садат перенес фокус подозрений в неискренности и обмане с себя на Израиль.

Этим он достигал первой цели всякого нацистского “мирного наступления” — переложить вину на противника. Но этого было недостаточно. Невзирая на то, что именно Египет пять раз на протяжении двадцати пяти лет первым начинал войну против Изра-

ля, Садат осмелился открыто оклеветать еврейское государство перед всем миром, заявив:

“Я говорю вам, что **вы** должны раз и навсегда отказаться от иллюзий, будто **вы** можете нас завоевать, и от своего убеждения, будто сила — лучший метод в обращении с арабами”.

Это по-орвелловски бесстыдное извращение фактов тем более поразительно, если вспомнить, что именно египетский режим, как всякая военная диктатура, основан на принципе силы.

Но это лицемерие не может удивить тех, кто знаком с арабами. В той же своей речи Садат сказал далее, что он никогда не пользовался двумя разными языками. Между тем он, который знает английский и постоянно твердит на этом языке о своем “желании мира” перед американскими телекамерами, **ни разу не употребил этого термина во время своей речи в Кнессете.**

В Кнессете Садат говорил, разумеется, по-арабски; и слово, которое он повторял там снова и снова, было “салам”, западные корреспонденты переводили его как “мир”, но на самом деле на арабском языке оно означает не более чем “перемирие” или “отсутствие военных действий”. Для любого араба это слово было шифровкой, которая позволяла ему понять, что Садат никогда не пойдет с Израилем на “сулх”, то есть подлинный и длительный мир.

Чтобы не оставлять сомнений в этом важнейшем вопросе, следует напомнить, что 7 декабря 1973 года, вскоре после Октябрьской войны, редактор “Аль-Мусаввар” писал в своей газете:

“Английское слово “реасе” может быть переведено на арабский как “салам” и как “сулх”, тогда как для араба это два различных слова. “Сулх” означает одно, а “салам” — другое”.

Далее он объяснял, что Израиль может получить “салам” в обмен за подчинение всем арабским требованиям (которые позднее были перечислены Садатом в его речи в Кнессете).

“Но “сулх” — это совсем иное. “Сулх” означает, что евреи Палестины — и я повторяю и подчеркиваю: “евреи Палестины” — одумаются и согласятся жить под одной кровлей и под одним флагом с арабами Палестины, в светском государстве... пропорционально их численному отношению в 1948 году. Под этим я понимаю, что только **коренные** палестинские евреи и их дети и внуки могут остаться на палестинской земле рядом с коренными палестинскими арабами. Евреи же, прибывшие из-за рубежа, должны вернуться в страны своего происхождения, где они жили до 1948 года...”

Если же эти евреи не согласятся добровольно эмигрировать, “сулх”, то есть подлинный мир в арабском понимании, предполагает изгнание или уничтожение таких евреев, то есть иными словами — уничтожение Израиля.

В свете этих разъяснений очевидно, что “мир”, который Садат предложил Израилю в своем выступлении в Кнессете, — не более чем перемирие. Но это именно то состояние, которое к тому времени уже существовало между Израилем и его арабскими соседями де-факто. Выходит, Израилю предлагалось вернуть жизненно необходимые для его существования территории в обмен за обещание или лозунг: “No more wars”. Садатовская “мирная инициатива” была просто жульническим трюком.

Верно, Садат подписал “Принципы мирного договора между Египтом и Израилем” в Кемп-Девиде. Но при этом он отверг раздел 5 параграфа 6 американского проекта договора, согласно которому “стороны обязуются выполнять условия данного соглашения... независимо от любых обязательств, внешних по отношению к нему”. Эта оговорка обеспечивала договору приоритет не только по отношению к проблеме Западного берега и Газы, но также к любому соглашению Египта с другими арабскими государствами. Фактически она упраздняла многолетнее участие Египта в объединенном фронте арабской агрессии против Израиля. Отвергнув эту оговорку, Садат попросту создал себе легальную лазейку, чтобы оправдать возможный разрыв дипломатических



*Садат
и Бегин
в Кемп-Девиде*

отношений с Израилем в любой удобный для него момент, не переставая в то же время следовать наступательной стратегии. Окончательный текст "мирного" договора формулирует этот вопрос весьма двусмысленно.

Не успели, что называется, просохнуть чернила под этим текстом, как в апреле 1979 года египетский премьер-министр Мустафа Халиль провозгласил:

"Если Сирия начнет войну за освобождение Голан, эта война будет рассматриваться как оборонительная, и наши обязательства по совместному Арабскому оборонительному пакту могут вступить в силу".

Подписание египетско-израильского договора, состоявшееся 26 марта 1979 года, еще более затрудняет демократическим и миролюбивым нациям понимание подлинного смысла "мирной" кампании Садата. Оно, однако, не обмануло автократических правителей арабского мира.* Ливийский диктатор аль-Кадафи сказал в своем интервью газете "Монд":

"30 октября 1973 года я имел секретную беседу с Садатом в Каире. Он сказал, что готов подписать любой мир с Израилем, если тот вернет ему Синай. Истинное положение дел, я должен добавить, состоит в том, что он при этом отнюдь не собирается придерживаться своих обещаний и возобновит войну против Израиля, как только его армия будет в состоянии одержать решающую победу. Садат сказал мне, что он хочет прорыть туннели под Суэцким каналом, что позволит ему в нужный момент внезапно высадиться в Синае египетские войска".

Заявление Кадафи было воспроизведено в израильской газете "Едиот ахронот" 25 сентября 1977 года, за два месяца до визита Садата в Иерусалим. Уже тогда на него не обратили серьез-

* Тем, кто ссылается на почти всеобщее осуждение арабами Садата, как на доказательство его "искренности", не мешало бы понять, что арабские правители заинтересованы в таком осуждении отнюдь не потому только, что хотят прослыть непримиримыми. Любой арабский правитель не хочет возвышения Садата как лидера всего арабского мира. (Это, кстати, показывает, что и при отсутствии Израиля на Ближнем Востоке не было бы мира: внутриарабские распри, разжигаемые Советами, будут продолжаться.) Арабские правители не дураки. Они понимают всю пользу стратегии Садата, которая открывает перед ними путь к возвращению их собственных территорий. Даже убийство Садата не изменило бы этого факта. Послужив общему арабскому делу, сам он физически арабским лидерам уже не нужен; нужна его стратегия. Ничто не иллюстрирует ее лучше, чем его заявление (25.12.78) о предстоящей нормализации отношений между Израилем и другими арабскими странами, одновременно с которым его премьер Мустафа Халиль заявил, что обязательства Египта перед Арабской лигой, включая военные договоры против Израиля, имеют приоритет над любым египетско-израильским соглашением. А 1 января 1979 года министр иностранных дел Бутрус Рали заявил, что палестинское самоуправление на Западном берегу и в секторе Газы будет "первым шагом на пути к созданию палестинского государства".

ного внимания. Сегодня, после заключения египетско-израильского договора, многие люди еще более склонны видеть в этом заявлении Кадафи пример злонамеренной лжи. Поэтому нам придется обратиться к высказываниям самого Садата.

В разделе своей "Автобиографии", опубликованном в египетском журнале "Октябрь" 11 сентября 1977 года, за два месяца до мирной инициативы, Садат писал:

"Аль-Кадафи предпочел повторить ту же ужасную ошибку, которую совершили арабы несколько лет назад, когда они отвергли все и вся, когда они превратили слово "нет" в непререкаемое божество, воскурили ему фимиам и в ходе этого обожествления сожгли все мосты и были остановлены ... все потому, что арабы связали судьбу арабской нации и трех ее поколений со словом "нет". В политике, как и в спорте, плох тот игрок, который выбивает мяч за площадку, едва только тот к нему попадет. Это уклонение; такой игрок избегает участия в игре, вместо того чтобы взять мяч, провести его через ряды противника и забить гол".

Заметим, что Садат не оспаривает целей Кадафи, который неоднократно провозглашал, что стремится уничтожить Израиль; он возражает только против **методов** достижения этой цели. Более того, в том же отрывке Садат говорит, что он хотел бы избежать второстепенных и периферийных схваток именно потому, что все его внимание поглощено предстоящей войной с евреями, которая "будет намного более жестокой, чем Октябрьская война".

Западные корреспонденты так ослеплены, что, когда Садат делает очередные воинственные заявления, они объясняют их "внутренней или межарабской политической необходимостью", которая, дескать, обязывает человека, на самом деле искренне преданного делу мира. (И, напротив, яростные арабские протесты против подписания мирного договора тотчас объявляются "доказательствами" враждебности арабов к Садату). Эти рафинированные обозреватели всю свою изощренность направляют в одну-единственную сторону — в надежде на мир. Они поставили свой скептицизм на службу своей слепой вере — и это побуждает их искать все более замысловатые "объяснения" происходящему.

(Кстати сказать, слово "мир" прозвучало в речи Садата в Кнессете ровно девяносто пять раз. На протяжении всего пятидесяти минут демократические народы 95 раз услышали, как египетский диктатор повторяет это соблазнительное, но обманчивое слово. Можно видеть знамение нашего времени в том, что это обмануло даже интеллектуалов. Уж они-то должны были разглядеть в "мир-

ной инициативе“ Садата не только мошеннический, но и до прозрачности очевидный трюк!)

К аналогичным выводам приводит анализ лозунга “No more wars”, который Садат выдвинул на многолюдной пресс-конференции, состоявшейся вскоре после его выступления в Кнессете. Тем, кто благоговеет перед Садатом как перед правоверным мусульманином, следовало бы призадуматься над тем, что этот лозунг входит в глубокое противоречие с основами ислама. Им следовало бы серьезнее отнестись к тому факту, что ислам по своей природе — религия воинственная и экспансионистская (это, в частности, объясняет, почему военные легко захватывают власть в арабских странах). Согласно исламской доктрине, весь мир разделяется на область мира (Дар аль-Ислам) и область войны (Дар аль-Харб), причем эта последняя включает те районы мира, которые еще не признали авторитет ислама и против которых мусульмане обязаны вести священную войну (джихад) до тех пор, пока весь мир не станет Дар аль-Ислам. Не мир, но война — обычное состояние для ислама (и поэтому, в частности, концепция стабильных границ чужда исламской ментальности). Еще в 1971 году, когда Садат то и дело повторял призывы к войне с Израилем, а западная пресса гадала, всерьез или нет он их повторяет, английский теолог о. Хафи пытался обратить внимание западной общественности на эту особенность арабского ума:

“ Большинство наблюдателей полагает, что эти призывы ничего не значат, потому что они толкуют их со своей, светской, политической точки зрения, а не с мусульманской... Для мусульманина воля Аллаха важнее всех политических соображений. Государство — лишь сцена, где осуществляется эта воля. Согласие даже на временное поражение, означающее захват мусульманских земель немусульманами, равносильно вероотступничеству. Победа над врагами ислама — акт веры и доказательство ее правоты... Речи Садата полны скрытых ссылок на ислам, которые западная пресса не дает себе труда донести до своего читателя, — частично потому, что не придает им значения, частично потому, что их не понимает”.

Излишне говорить, что в своих выступлениях по западному телевидению Садат избегает всяких ссылок на ислам. Однако в главной мечети Каира он открыто заявил, что “джихад — это священная обязанность всех мусульман”. В этом смысле и ливанская война может рассматриваться как война религиозная. Мусульмане в принципе не могут примириться с ситуацией, когда им приходится делить власть с немусульманами. В случае евреев эта ситуация еще более обостряется. Со времен Магомета ислам

видит в евреях низших существ; евреям место на самом дне исламского государства, под властью мусульман. Отсюда: существование еврейского государства — это вызов исламской доктрине, вторжение на территорию Дар аль-Ислам, оскорбление арабской гордости, нестерпимая провокация и вызов, брошенный каждому правителю арабского мира.

Размеры этой провокации и вызова усугубляются тем, что в границах Израиля до 1967 года живет около полумиллиона мусульман. Хотя эти арабы полностью равноправны с евреями, имеют свои политические партии и своих представителей в Кнессете, они тем не менее живут по законам государства, в котором евреи составляют большинство. Ни один арабский правитель не может согласиться с таким положением вещей, если не хочет быть свергнутым или убитым исламскими фанатиками. Поэтому саатовский лозунг “No more wars” равносителен самоубийству.

Но это именно то, в чем Садат хотел бы убедить Запад, именно поэтому он постоянно подчеркивает, с каким риском был сопряжен его визит в Иерусалим. Я вернусь к этому ниже, но тут я хотел бы отметить, что, выдвинув этот лозунг, Садат сумел окрасить свою “мирную инициативу” чуть ли не в мессианские тона. В мире, раздираемом множеством военных конфликтов, эмоциональное воздействие подобного лозунга огромно, особенно на демократическом Западе, и Садат отдает себе отчет в тенденции к пацифизму, так мощно проявившейся, например, в антивоенном движении в США. Будучи знатоком психологической войны, он понимает, как воздействовать на эмоции масс. Поэтому он не преминул несколько раз повторить в своей речи в Кнессете:

“К чему нам обречать грядущие поколения на тяготы кровопролития, сиротства, вдовства, разрушения семей и стоны жертв?”

В “Майн Кампф” Гитлер пишет:

“Проницательность больших человеческих коллективов очень ограничена. Их интеллект ничтожен. Зато их способность забывать колоссальна. Поэтому эффективная пропаганда должна сводиться к нескольким простым утверждениям, которые она должна повторять, как лозунги. Только после того, как эти простейшие идеи будут повторены тысячи раз, массы наконец запомнят их”.

После этих слов легче понять, почему Садат так настойчиво и неустанно напоминает о праве “палестинского народа” на самоопределение.

В своей речи в Кнессете и в бесчисленных других выступлениях Садат постоянно провозглашает, что право “палестинского наро-

да” на самоопределение составляет “суть всей проблемы”, даже всей ближневосточной проблемы. (В свое время Гитлер утверждал, что право судетских немцев на самоопределение составляет “суть всей проблемы”, всех европейских проблем!). Здесь перед нами пример сведения множества проблем огромной сложности и запутанности к одной простейшей, доступной массам идее. В действительности ближневосточные проблемы, конечно, не сводятся к правам “палестинцев”. Начать с того, что здесь имеются большой сложности религиозные проблемы. Как уже сказано, само существование еврейского государства ставит под вопрос истинность пророчеств Магомета и бросает вызов основным принципам ислама. Мусульмане относятся к этому предельно серьезно, что бы ни думал об этом весь остальной мир.*

Далее, здесь существует серьезный политический конфликт. Израиль — это либеральная демократия. Осуществленные в нем принципы социального равенства, свободы слова, политического плюрализма воспринимаются арабскими лидерами как угроза феодальной социальной структуре их режимов и автократической структуре их власти. Несмотря на свой штатский наряд, каирский режим продолжает держаться главным образом на весилии офицерства. Военная и полицейская элита составляет основную опору египетского руководства и диктует ему его внешнеполитические планы и стремления. В Египте и во всем остальном исламском мире имеются влиятельные группы, которые не заинтересованы в мире с Израилем. Правда состоит в том, что “палестинское” самоопределение не только не является “сутью проблемы”, но, напротив, представляет собой препятствие к миру на Ближнем Востоке. Поэтому в действительности термин “самоопределение” — это саатовский зашифрованный сигнал к войне.

Действительно, вдумавшись в слова Садата о “палестинском народе” и его праве на самоопределение. Даже не вдаваясь в вопрос, существует ли вообще некий “палестинский народ”, следует заметить, что в одной Иордании (не говоря о других арабских странах) живет больше палестинских арабов, чем в Иудее и Самарии. Главари этих арабов развязали в 1970 году гражданскую войну

*Как говорит профессор Багдадского университета аль-Рахман аль-Базаз: “Существование Израиля подрывает единство нашей нации и единство нашей цивилизации, охватывающей весь наш район. Более того, существование Израиля — это вызов нашей философии жизни и тем идеалам, во имя которых мы живем, это препятствие на пути к целям, к которым мы стремимся в мире”.

в Иордании и способствовали началу геноцида против христиан в Ливане. Далее, если арабы Иудеи и Самарии даже самоопределятся, они раньше или позже окажутся под властью военной диктатуры поддерживаемой Советами "Организации освобождения Палестины" (ООП). Цели ООП недвусмысленно сформулированы в Палестинской национальной хартии 1977 года, признанной всеми арабскими странами, включая Египет. Эта Хартия призывает к ликвидации Израиля. Но даже если исключить ООП, любое арабское государство, основанное в Иудее и Самарии, будет неизбежно стремиться к уничтожению Израиля хотя бы потому, что это государство в силу своей малости будет экономически нежизнеспособно. Близкий к Насеру, а позднее к Садату египетский журналист Хейкал писал в "Аль-Ахрам" 13 июня 1963 года:

"Существование Израиля не опирается на естественные факторы, способные обеспечить мощь государства — его территория мала, его ресурсы ограничены, его население немногочисленно".

Это говорилось до того, как Израиль захватил Синай, Газу и Голаны. Если Израиль не был жизнеспособным тогда, то арабское минигосударство в Иудее и Самарии будет тем более нежизнеспособным теперь. Тем больше оснований думать, что такое самоопределение станет ножом, направленным в спину Израилю. В этом смысле Садат даже прав, называя "палестинское" самоопределение "сутью всей проблемы". Решение этой проблемы на его условиях означало бы приближение "окончательного решения" еврейского вопроса.*

"Мирная инициатива" Садата (2). Забудем, однако, на время о преклонении Садата перед Гитлером и об использовании им нацистских методов в арабо-израильском конфликте. Как следует расценивать его "мирную инициативу", исходя из опыта его подготовки к Октябрьской войне 1973 года? Осторожному и трезвому наблюдателю представляются здесь две возможности:

* Обратим внимание на комментарий радио Дамаска 15 февраля 1977 года: "Предположим на минуту, что ООП получит право создать палестинский национальный очаг на Западном берегу и в секторе Газы. Израиль прекрасно знает, что это минигосударство не будет иметь формальной конституции и потому не будет считать себя связанным какими-либо установленными границами. Это означает, что первой же фразой неписаной палестинской конституции будет призыв к борьбе за освобождение палестинских территорий, на которых располагается Израиль: Рош-Аникра, Бейт-Шеан, Хайфа и Яффо на побережье, — иными словами, всей Палестины от Галилеи до Негева, от Иордании до Средиземного моря.

1) Садат не только искренне предан делу мира, но и готов на уступки, обеспечивающие безопасность Израиля,

2) Садат ищет "мира" только для подготовки к войне, он пришел в Иерусалим с целью способствовать посредством грандиозного обмана делу постепенного уничтожения Израиля.

Мир между Израилем и Египтом возможен только в первом случае — и то лишь пока Садат находится у власти. К сожалению, этой возможности противоречит то обстоятельство, что египетский диктатор ни в чем существенном не отошел от тех неприемлемых условий мира, которые он изложил в своей речи в Кнессете. Как уже отмечалось — и не нужно быть военным экспертом, чтоб это понять, — отдав не только Синай, но и Голаны, Иудею, Самарию и Газу, Израиль не сможет защитить себя. Но именно этого требует Садат в обмен на "мир". Следовательно, можно заключить, даже без других доказательств, что верна только вторая альтернатива и мирная инициатива Садата представляет собой грандиозный обман, рассчитанный на поэтапное уничтожение Израиля.

Если это так, чего же добился Садат своим визитом?

Вспомним, как настойчиво он добивался личных встреч с лидерами каждой из многочисленных израильских партий после своей речи в Кнессете. Не успел Садат вернуться в Египет, как многие израильские политические деятели, в том числе из коалиции, призвали правительство Бегина "вознаградить" Садата за его "рискованный визит" в Иерусалим. Как уже говорилось, Садат неоднократно упоминал об этом риске в своей речи. Тем самым он побуждал людей нашего, поистине орвелловского мира приравнивать личный риск отдельного человека к риску целой нации. Наш вывернутый наизнанку орвелловский мир не отдает себе отчета в том, что если Садату действительно грозит покушение или переворот, то у Израиля **тем больше оснований** опасаться идти на такой риск. Ни один народ не может ставить свою безопасность в зависимость от того, сколько еще продлится жизнь и политическая удача того или иного человека, даже если намерения этого человека недвусмысленно благожелательны.

(Садат заявил, что он принес "мир, спокойствие и безопасность всем мужчинам, женщинам и детям в Израиле". Он предложил Израилю в обмен за возвращение к границам до 1967 года, "все гарантии, какие хотите", едва ли убедив этим тех, кто помнит

слова Гитлера: "Я готов дать письменные гарантии всей оставшейся части Чехословакии".)

Тем не менее внутреннее и международное давление на Израиль было так велико, что ему пришлось выступить с мирным планом Бегина. В ответ на саатовское требование самоопределения и государственности для арабов Западного берега, план Бегина предлагал им автономию — с тем, чтобы вопрос о суверенитете был обсужден по истечении пятилетнего периода. Кроме того план Бегина великодушно признавал египетский суверенитет над Синаем, лишая тем самым Израиль стратегической военно-морской базы в Шарм а-Шейхе и синайских аэродромов, составлявших основу израильской системы обороны.

Но для Анвара эль-Садата этого было недостаточно. Он потребовал полного отступления с "оккупированных территорий", включая "арабский Иерусалим":

"Говоря откровенно, наша земля не предмет торга. Мы не можем согласиться с попыткой отнять у нас даже один квадратный дюйм нашей земли, мы не можем согласиться с дискуссией или торговлей из-за нашей земли".

Гитлер в "Майн Кампф" выразил то же самое иначе:

"Мы не будем торговаться с евреями; мы предложим им жесткое или".

План Бегина был очень неохотно одобрен большинством Кнессета. Внутри коалиции послышались скептические голоса: этот план отдавал слишком много и ставил под угрозу безопасность Израиля. Даже оппозиция считала, что полный отход из Синая опасен. Но главное расхождение вызвал вопрос о Иудее и Самарии. Партия Авода утверждала, что план автономии неизбежно приведет к возникновению независимого арабского государства. Авода предпочитала территориальный компромисс, по которому большая часть Иудеи и Самарии перейдет под суверенитет Иордании. Тем временем образовалось движение "Мир сегодня". Некоторые из его лидеров дошли до того, что потребовали даже отхода Израйля с Галанских высот, единственного препятствия на пути вооруженной Советами Сирии. Садат, разумеется, превозносил движение "Мир сегодня". Постепенно партия Авода распространила на это движение свое покровительство. В израильском обществе воцарились замешательство и разброд — в точном соответствии с расчетами Садата. Он достиг и второй цели нацистской "стратегии мира".

Успех Садата в Израиле уступал только его успеху в США. Иерусалимский визит сделал его героем американского телевидения. Покуривающий трубку диктатор с его тщательно отрепетированными оксфордскими манерами, маскирующими дисциплинированного служаку, завоевал сердца американцев. Президент Картер превозносил его как "великого человека", "избранника судьбы" и заверял, что "нам будет вас не хватать", когда этот "человек года" (по определению журнала "Тайм") покидал Белый дом.

(Трудно удержаться от вопроса, случалось ли редакторам "Тайма" подумать о том, что в стране этого "великого человека" им бы не разрешили опубликовать ни одной критической статьи о нем, поскольку в Египте всех подобных критиков ждет пожизненная ссылка на каторжные работы.)

Садат добился того, чего не могла сделать нефть Саудовской Аравии: большая часть американских средств массовой информации настроена сегодня открыто проарабски и антиизраильски. Именно этот крутой поворот общественного мнения позволил Картеру предложить, а конгрессу (незначительным большинством) одобрить беспрецедентную пакетную сделку о поставках оружия на Ближний Восток, по которой Египет и Саудовская Аравия получили истребители Ф-5Е и еще более страшные истребители-бомбардировщики Ф-15.

Садат вряд ли мог ожидать большего от своей "мирной инициативы". С невероятной хитростью и решительностью он стремился подорвать "особые взаимоотношения" между Израилем и США — нанести удар в место, которое Клаузевиц назвал бы "солнечным сплетением" Израиля. Тем самым он осуществил и третью цель нацистской стратегии.

Здесь уместно задать вопрос: что же, в конце концов — если не считать личного очарования Садата, — заставило демократические Соединенные Штаты объединиться с таким диктаторским режимом, как Египет, против демократического Израиля? Садат играл на широко распространенной боязни очередного ближневосточного военного конфликта, который, как полагало общественное мнение, мог бы привести не только к новому нефтяному эмбарго, но и к прямой американо-советской конфронтации. Вот почему уже в самом начале своего выступления в Кнессете Садат предупредил, что, в случае неудачи его "мирной инициативы", весь мир ожидает "неизбежная катастрофа". Несколько позже он еще раз

повторил ту же угрозу: "Грядущее побоище будет означать проклятие человечества и истории". Как сказал некогда Гитлер: "Я, конечно, буду сожалеть, если эта (судетская) проблема приведет к войне".

Так что не обаяние Садата, а растущее (в пользу СССР) военное неравновесие в мире — вот что побудило США требовать от Израиля подписать неравноправные соглашения с недемократическим и политически неустойчивым арабским режимом — соглашения, основанные на уступке стратегически важных территорий в обмен за хрупкий мир или бессильные гарантии. По мнению вашингтонских стратегов, эти соглашения уменьшают опасность конфликта на Ближнем Востоке, способного перерасти в большую войну, которой они настойчиво стремятся избежать. То, что эти соглашения только **увеличивают** вероятность такой войны, еще не дошло до американцев. Безнадежно напоминать им, что арабы во главе с Египтом трижды начинали агрессивную войну против Израиля **до того**, как Израиль захватил обсуждаемые ныне территории. На это американские стратеги, конечно, ответят: "Забудьте прошлое. На этот раз арабы действительно хотят мира". Не поможет и ссылка на бесчисленные примеры человеконена-



Садат в Иерусалиме.

вистнической пропаганды, которая заполняет контролируруемую правительствами арабскую печать, проводится в контролируемых правительствами школах и университетах и, следовательно, исходит от правительств арабского мира. Анис Мансур, редактор журнала "Октябрь" — доверенное лицо Садата (он сопровождал его в поездке в Иерусалим). Мансур — полковник Гитлера. Его яростные выпады против евреев не уступают гитлеровским. Он пишет:

"Теперь весь мир понял, что Гитлер был прав и печи крематориев — самое подходящее наказание (для евреев)".

Мансур пишет за Садата; он говорит то, что сказал бы настоящий Садат. Но, как и в 1938 году, западные политики и интеллектуалы не хотят видеть опасность, не хотят ее слышать, не хотят говорить о ней. Как сказал о них Ленин, они слепоглухонемые.

Садат и Советы: совпадение интересов. Стратегия Садата сложилась не сейчас. Он начал применять ее во время подготовки к Октябрьской войне 1973 года.

Эта война была завершением полуторалетней кампании обмана и фальсификации. В первую годовщину Октябрьской войны каирский еженедельник "Роз эль-Юсеф" опубликовал отрывки из книги своего военного корреспондента Абд аль-Сатар аль-Тавила, подчеркнув, что работу автора поощрял и направлял сам Садат, открывший ему доступ ко многим секретным документам. Аль-Тавила утверждает, что садатовский блестящий план маскировки приготовлений к войне был основан на широкой дипломатической активности и что египетский план камуфляжа включал также использование вопроса о советском оружии и отношениях с СССР таким образом, чтобы ввести в заблуждение противника. Он пишет:

"Различные правительственные источники распространяли слухи (по меньшей мере, преувеличенные) о нехватке оружия, необходимого для начала войны против Израиля, в то самое время, когда Египет и СССР заключили соглашение о поставках этого оружия, которое в действительности уже начало поступать... Более того, египетская пресса снова и снова подчеркивала намерения Каира искать оружие на Западе. Все это было рассчитано на то, чтобы создать у противника впечатление, будто одной из причин, почему Египет не начинает войну, является нехватка оружия. В результате весь мир был застигнут врасплох, когда наступил час атаки.

Египетский камуфляж, рассчитанный на обман противника, включал также вопрос о советско-египетских отношениях. Это было сделано так умело, что даже многие арабы начали сомневаться в египетско-советской дружбе. Непрерывно обыгрывался эпизод изгнания советских военных

советников, и в результате многие не обратили должного внимания на слова президента Садата о том, что это не более чем "охлаждение между друзьями"..."

Год спустя, в интервью по каирскому радио 24 октября 1975 года, Садат подтвердил версию аль-Тавила, назвав изгнание 15 тысяч советских военных советников в июле 1972 года "стратегическим прикрытием... великолепным стратегическим способом отвлечения внимания от нашей подготовки к войне..."

Значение этих фактов тем более велико, что в **точности тот же сценарий**, опять включающий "разрыв" между Египтом и Советским Союзом, используется и сейчас — сценарий, снова повторяющий тезис о прекращении советских военных поставок Египту и необходимости поэтому замены советского оружия западным. Снова "эксперты" говорят о нехватке оружия у Египта. Снова слышатся разговоры о том, что Египет хочет освободить себя от зависимости от советского оружия посредством десятилетнего плана закупок на Западе. И снова Советский Союз подозрительно слабо реагирует на эти разговоры (точно так же, как в 1972—73 годах, во времена тогдашнего, широкого разрекламированного "разрыва" между Египтом и СССР).

Разумеется, египетско-советские отношения могут иметь свои периоды охлаждения и потепления, вплоть до обмена резкими нотами, закрытия консульств и даже денонсации договоров. Все это помогает драматизировать и "удостоверять" мнимый "разрыв", но не дает оснований предполагать ухудшение **военного** сотрудничества между обоими режимами. Что же касается обращения Садата к Западу за оружием, то оно, несомненно, прежде всего укрепляет проегипетские симпатии в странах, прежде симпатизировавших Израилю, и одновременно позволяет египетским офицерам познакомиться с той военной техникой, которая находится на вооружении израильской армии. Относительно же того, могут ли западные поставки заменить советские, вот что сказал сам Садат в интервью каирскому радио 21 августа 1975 года:

"Если бы я намеревался заменить все советское оружие, которое у нас есть, мне понадобилось бы для этого, по меньшей мере, двадцать лет".

Хотя "20 лет" кажутся преувеличением, не следует забывать, что такая замена действительно потребовала бы полной переподготовки всего египетского генерального штаба. Садат сам подчеркнул значение этого фактора, сказав 9 декабря 1975 года:

"Девяносто процентов моей боевой техники поступает из СССР, и я

еще не сошел с ума, чтобы думать, будто я могу заменить эту технику в течение нескольких лет”.

В то время как Египет и СССР обмениваются взаимными оскорблениями, рассчитанными на доверчивую аудиторию, американские и НАТОвские разведки дают несколько иную картину подлинных египетско-советских отношений:

“Египет продолжал получать большие партии советского оружия, по крайней мере, вплоть до конца 1977 года. Египетские наземные силы уже превзошли уровень 1973 года, получив танки Т-62, приборы ночного видения, ракеты и вертолеты-ракетносцы. Египетские воздушные силы перевооружены такими новейшими самолетами, как МИГ-21, МИГ-23, Сухой-17 и Сухой-20. Это оружие было доставлено в Египет через советских союзников и Кувейт”.

Таким образом, по крайней мере, до конца 1977 года Египет повторял ту же игру, с помощью которой он обманул Израиль и США в 1972 году. Но это только вершина айсберга.

В статье, опубликованной в “Аль-Ахрам” 31 октября 1975 года близкий друг и доверенное лицо Садата Абд аль-Куддус признал, что так называемое “изгнание” советских военных советников из Египта в 1972 году было в действительности не односторонним актом со стороны Египта, как это рекламировалось в печати, а трехсторонним соглашением между Египтом, Сирией и СССР.

“На самом деле эти военные советники были (с согласия Садата) переведены в Сирию, но лишь после того, как они выполнили свою миссию по установке ракетной системы на западном берегу Суэцкого канала в рамках подготовки к форсированию канала 6 октября 1973 года”.

Это сотрудничество между Садатом, Асадом и Москвой заслуживает тщательного рассмотрения.

В арабском стратегическом плане уничтожения Израиля Садату отведена роль “умеренного”, тогда как Асад должен играть роль радикала. Тем временем Советы продолжают снабжать обоих своим оружием, одного открыто, другого тайно. Изображая из себя “умеренного” и имитируя “разрыв” с Советами, Садат создает у США иллюзию, что с его помощью они смогут вытеснить СССР с Ближнего Востока и уменьшить его влияние там. Примечательно, однако, что эта стратегия разработана не в Каире, а в Москве. Сам Садат говорил:

“В Москве все понимают не хуже меня. Они не раз говорили Насеру после поражения 1967 года: “Договорись с американцами”. Все четыре раза, что я был в Москве, они говорили мне: “Начни разговор с американцами”. Громыко сказал Исмаилу Фахми: “Американцы держат козыри в этой игре. Это каждому ясно...”

Есть основания думать, что на этот раз Садат говорит правду. Ведущие советские эксперты неоднократно побуждали Египет и Сирию взять на вооружение стратегию, которая заставила бы Соединенные Штаты сделать для арабов то, чего их страны, даже с советской военной помощью, не могут достичь на поле боя.

В этом свете становится понятным и нынешнее осуждение Москвой "мирной инициативы" Садата и итогов кемп-девидской встречи в верхах. Стратегический план Москвы и Каира был расшифрован Лүфти аль-Кули в газете "Аль-Ахрам" 11 февраля 1976 года:

"Отношения между Израилем и США перестали быть "тотальными". В свете этой новой политической реальности Египет пришел к выводу, что и его отношения с СССР тоже должны перестать быть "тотальными". В противном случае разногласия между Израилем и США сойдут на нет, и арабо-советский фронт снова будет иметь против себя единый американо-израильский фронт".

По признанию Садата именно Москва побуждала его начать диалог с американцами. И действительно, Москве и Каиру нет надобности сговариваться и консультироваться, коль скоро их интересы и без того совпадают, им достаточно просто добиваться своей цели. Эту общую цель Москвы и Каира приближенный человек Садата журналист аль-Куддус объяснил в газете "Аль-Ахрам" от 14 ноября 1975 года следующим образом:

"Израильтян не случайно преследует ощущение, будто их душат. Это удушение не прекратится, даже если Израиль отступит к границам 1967 года, даже если он признает права палестинского народа на Западном берегу и в секторе Газы, даже если он признает ООП, — что рано или поздно неминуемо произойдет, поскольку арабы сумели привлечь и Вашингтон, и Москву на свою сторону. Этот процесс может закончиться только с принятием Объединенными Нациями резолюции, требующей от Израиля возвращения захваченных в 1948 году арабских земель их владельцам или выплаты им компенсации. Тогда арабы, понятно, откажутся от компенсации и будут настаивать на возвращении им их земель, тем самым вынуждая Израиль вернуться к границам 1947 года".

Можно не добавлять, что это будет означать окончательное исчезновение еврейского государства. Таковы конечные цели Садата. Это также цели СССР. Советские карты, на которых Израиль всегда изображается в границах 1947 года, это подтверждают.

Вопреки общепринятому мнению, вмешательство СССР в ближневосточные дела обусловлено не арабо-израильским конфликтом, как бы энергично СССР ни раздувал и ни использовал этот конфликт. В арабском мире имеется достаточно разногласий, кото-

рые позволяют Москве осуществлять политику “разделяй и властвуй”. Но, вероятно, лучший способ показать ошибочность господствующего мнения — это задать вопрос: смогут ли арабы лучше противостоять советскому давлению, если Израиля не будет?

Разве не очевидно, что без Израиля советское влияние на Ближнем Востоке значительно увеличится, поскольку у Запада уже не будет возможности помочь арабским странам, которые в одиночку ни минуты не смогут противостоять советским притязаниям? Можно ли представить себе, что президент США попросит и получит у конгресса согласие послать американские войска (как во Вьетнаме) на защиту арабских диктатур после того, как они уничтожат демократический Израиль? Разумно ли ожидать, что американский народ поддержит такую интервенцию, даже если какой-нибудь арабской стране будет угрожать советское вторжение?

Кремлевские стратеги, несомненно, это понимают. Они отдают себе отчет в том, что решение арабов уничтожить Израиль равносильно в конечном счете их решению стать частью Советской империи.

Загодя вооружая арабов, Советы преследуют, конечно, свои глобальные цели. Их главная цель на Ближнем Востоке состоит в установлении контроля над Персидским заливом. Этот контроль дал бы коммунистам возможность накинуть экономическую петлю на горло западной Европы и Японии. В итоге это привело бы к распаду НАТО и советизации всей Европы. С захватом высоко развитых, промышленных европейских стран и достижением стратегического превосходства над США Советы стали бы хозяевами мира.

Достижение этой цели требовало открытия Суэцкого канала, чего коммунисты добились в результате Октябрьской войны 1973 года и Синайского соглашения 1975 года. Открытие канала позволило Советам вывести свой флот в Индийский океан и Южную Атлантику, сократив длительность морского пути туда с сорока одного дня до шестнадцати. Британский адмирал Хилл Нортон, в то время руководитель военного комитета НАТО, предупреждал:

“Базы, приобретенные Советами на восточном и западном побережье Африки, позволяют им атаковать с моря и с воздуха все линии наших грузовых перевозок и в любой удобный для них момент прервать снабжение

Запада нефтью и другим сырьем, от которого зависит не только наша оборона, но наша экономика и сама жизнь”.

Будучи военным стратегом, Садат прекрасно отдает себе отчет в том, какими тяжелыми последствиями грозит Западу его сговор с Москвой. Однако, как правоверный мусульманин, Садат уже давно питает жгучую ненависть и презрение к Западу с его либеральным образом жизни (включая ориентированный на Запад Израиль).

Государство Израиль — главное препятствие на пути советского проникновения на Ближний Восток и стремления Советов к мировой гегемонии. Кремлевские стратеги используют Садата для устранения этого препятствия. Разумеется, у Садата есть свои грандиозные амбиции: египетская гегемония над истоками Нила, на побережье Северной Африки (особенно в Ливии), в восточной части арабского мира (в частности, в Сирии, с которой Египет уже несколько раз пытался слиться) и у входа в Красное море (включая Эритрею, Сомали и Йемен), тем самым нависая над Саудовской Аравией и Персидским заливом)*. Но Садат всего лишь пешка на мировой шахматной доске. Арабский мир безнадежно отстал, ни в военном, ни в техническом, ни в научном отношении он не способен противостоять Советскому Союзу. Садат использует Москву, чтобы добиться своих целей в борьбе с Израилем. Москва позволяет Садату использовать себя, чтобы после устранения Израиля захватить господство на Ближнем Востоке, а затем и во всем мире.

В заключение необходимо обсудить такой вопрос: существует ли какое-либо скрытое сотрудничество между Москвой и Каиром?

Для ответа следует вспомнить тот главный факт, что конечная военная (и религиозная) цель Садата состоит в уничтожении Израиля. Поняв это, подумаем, какие средства он может использовать для достижения этой цели.

Израиль может быть ослаблен с помощью дипломатического нажима, его можно принудить отступить к границам до 1967 года. Садат уже сумел добиться от США такого нажима. Но в конечном

* Некоторые эксперты попытаются, наверно, интерпретировать Кемп-Девидские соглашения как свидетельство намерений Садата пожертвовать панарабизмом ради египетского “национализма”. Однако ни в его политике, ни в исламской доктрине нет ничего, что препятствовало бы Садату сначала добиться чисто египетских, а уж затем — общеарабских целей. В свое время такие же “эксперты” предсказывали, что Гитлер тоже преследует только чисто национальные цели Германии и потому удовлетворится включением Судетов в состав Третьего Рейха.

счете Израиль может быть уничтожен только с помощью оружия. Садат это понимает, поэтому вопрос состоит в том, где он собирается добыть это оружие.

Здесь нужно подчеркнуть следующие обстоятельства:

1. Девяносто процентов египетского арсенала — советского происхождения;

2. Для замены существенной части этого арсенала западным оружием понадобится несколько лет;

3. Несколько лет понадобится на переподготовку египетских офицеров;

4. Египет, уже и без того задолжавший СССР несколько миллиардов долларов за прежние поставки оружия, может оказаться в еще большем долгу, если вздумает заменить советское оружие более дорогостоящим американским (даже при помощи Саудовской Аравии) .

Допустим, однако, что, несмотря на это, египетский арсенал, подготовка и т. д. станут преимущественно западными, и США заменят СССР в роли главного его поставщика. Это отнюдь не означает, что США смогут удержать Египет от войны с Израилем (не смогли же они удержать Грецию и Турцию от войны из-за Кипра, хотя обе стороны были даже членами НАТО). С другой стороны, если бы Вашингтон смог воспрепятствовать Египту начать войну с Израилем, это противоречило бы целям Садата. Поэтому предположим, что Египет сможет начать и начнет войну. В этой ситуации (если только Израиль не будет побежден одним стремительным ударом) Садат не может уже, разумеется, рассчитывать на продолжение военных поставок со стороны США. И он не так глуп, чтобы этого не понимать.

Мы вынуждены поэтому заключить (вместе с Садатом), что уничтожение Израиля **не может быть достигнуто без военной и тактической помощи СССР** (тем более доступной, что обе стороны близки и географически, и политически) *. Следовательно, несмотря на то, что Садат **в данный момент** повернул на прозападный

* Каир и Москва должны прекрасно понимать друг друга. Существует почти полный параллелизм между мусульманской доктриной Дар аль-Ислам и Дар аль-Харб и коммунистической идеей "Лагеря мира" (социалистического блока) и "Лагеря войны" (капиталистических стран). Подобно исламу, коммунизм (или марксизм) не признает национальных и стабильных границ. И в завершение можно отметить, что советский "детант" — это не что иное, как исламский "салам".

курс, египетский диктатор не может позволить себе заменить значительную часть своего арсенала американским оружием*.

Но допустим даже, что он на это пошел. Можно по-прежнему утверждать, что, несмотря на нынешние разногласия между Египтом и СССР, обе диктатуры в случае новой войны на Ближнем Востоке окажутся в одном и том же лагере.

Сегодня Каир и Москва могут быть "в ссоре". Но имеются глубокие и устойчивые стратегические факторы, которые в случае войны вынудят обе страны опять сблизиться. Не потому ли Садат так упорно отказывается предоставить США военные базы на своей территории? Советскому Союзу он их предоставлял. В этом контексте интересно также, что Садат продолжает поддерживать ориентирующуюся на СССР "Организацию Освобождения Палестины". Быть может, подобно своему другу, "дорогому Генри", Садат не верит, что у США найдутся силы или решимость для длительной борьбы с СССР. Подобно Гитлеру, который считал, что Запад находится в упадке, Садат вовсе не склонен ставить на проигравшего. А ведь только заранее примирившийся со своим поражением способен проводить политику типа киссинджеровской, некогда вынудившую Израиль отойти с западного берега Суэцкого канала, чем было положено начало череде событий, позволивших главному сопернику Америки, Советскому Союзу, сделать гигантский шаг по пути достижения политической гегемонии.

* Если египетская армия полностью пройдет переподготовку с американским оружием, она не сможет в ходе войны переключиться на оружие советское. Разумеется, определенная часть египетской армии такую переподготовку пройдет, но можно не сомневаться, что именно она будет первой брошена в бой, и лишь затем Садат использует войска, снаряженные советским оружием, пополнение которого ему будет обеспечено.

** Попытки картеровской администрации (после падения шаха) сколотить ось Каир-Риад следует рассматривать, как признак отчаяния, граничащего с глупостью. Сейчас, кажется, пытаются заставить американцев поверить, что Египет, вооруженный американским оружием, может занять место Ирана в качестве американского жандарма на Ближнем Востоке, в частности — в Персидском заливе. На каком основании? На том, что Египет, с его сорока миллионами населения, самая большая страна в этом районе. Но при этом игнорируют ряд существенных обстоятельств. Во-первых, половина населения Египта страдает от хронических болезней. Во-вторых, египтяне с их массовой безграмотностью не имеют тех навыков, которые необходимы для ведения современной технической войны. И наконец, живя в рабстве со времен фараонов, они привыкли не повелевать, а прислуживать (что и позволяет их правителям быть прозападными сегодня, просоветскими завтра). Что сказать о планах картеровской администрации в свете этого? Поистине, кого боги хотят уничтожить, они сначала лишают ума — или превращают в слепцов.

нии в Индийском океане и в районе Африканского Рога. А сегодня Садат видит, как те же Соединенные Штаты беспомощно наблюдали за тем, как зашатался, рухнул и наконец распался прозападный режим в Иране (в который Штаты вложили миллиарды долларов в виде поставок самого современного оружия и который считали главным форпостом в обороне своих интересов в Персидском заливе).

Ни Садат, ни Советы никогда бы настолько не преуспели, если бы не упрямое и слепое нежелание Запада понять, в чем состоит основной конфликт нашей эпохи. Сегодня идет сражение между либеральной демократией и коммунистической тиранией. Западная политическая, деловая и интеллектуальная элита попросту отказывается всерьез задуматься над всеобъемлющим и неустранимым характером этого конфликта. Именно ее Ленин более полувека назад назвал слепоглухонемой. Она осталась такой по сей день. Как сказал Орвелл, "поколение, которое ничему не научилось, тянет нас ко дну, как камень на шею".

П. Эйдельберг — американский ученый-политолог, автор нескольких книг по вопросам детанта и американской внешней политики, сотрудник израильского университета Бар-Илан; книга "Стратегия Садата" опубликована в 1979 г. канадским издательством "Даун" и публикуется нами с небольшими сокращениями.

**Принимается подписка на
"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО"**

70-й год издания. Ежедневная демократическая газета под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ. 300 сотрудников во всех странах мира. Документы Самиздата. Жизнь русских в США. Годовая подписка 70 долларов. Авиапочтой 180 долл. в год.

Заказы и чеки присылать по адресу: "Novoye Russkoye Slovo"
243 W. 56 St. New York, N.Y. 10019, USA.

Есть картины природы, от которых физически, без всяких метафор, начинает болеть сердце. Живешь в состоянии легкого экстаза. Все смотрится сверху вниз. Приходят на ум самые мучительные, неразрешимые вопросы — и оказывается, что они очень просто решаются. Опускается на дно возмущение, боль, гнев, желчь, все становится ясным, прозрачным. Все хочется понять, и все можно понять.

Очень глубокое, очень полное, очень вынимающее сердце созерцание может совершенно обновить душу. Раскрывается глубина, в которой человек находит своего Бога, свой высший образ... Но практически (если исходить из самых частых, а не из самых веских случаев) этого не бывает. Красота на время, пока она перед глазами, всколыхнет — и потом отпустит. Особенно легко стирается след от бессловесной красоты, в которую нельзя впитаться умом или плотью, выучить наизусть, поцеловать. Чаще всего она используется как декорация, как фон, на котором приятно сфотографироваться, выпить, обняться — и забывается.

Григорий Померанц

СНЫ ЗЕМЛИ

Даже если удар красоты перевернул всю жизнь — человек еще

не спасен этим. Неизвестно, куда жизнь повернется, какой глубинный пласт вывернется наружу, — самый глубокий, где только Бог или помельче, где есть и дьявол — он сильнее ангелов Божьих. Поэтому сказано в Талмуде: одно и то же вино иного превращает в льва, иного в зайца, а иного — в свинью. Одно и то же впечатление поразило Мышкина жалостью, Рогожина безжалостной страстью, одного довело до безумия, другого — до убийства.

Пока красота — среда, что-то внешнее, она преломляется сквозь личность и дает разные спектры — как всякий луч извне. Пока красота не стала самим тобой, не вытеснила тебя и не заняла твоего места, пока она не проявилась в тебе, как подобие Бога, и Бог не стал твоим Отцом — до тех пор впечатление от красоты раскалывается. В иную минуту скажешь вместе с Достоевским: “Красота мир спасет”; в другую ответишь (с ним же): “Красота — это страшная и ужасная вещь”.

Знаменитая телеграмма Сталина и Жданова об усилении репрессий (в 1937 г.) была послана с Кавказа. Сталин обдумывал ее, глядя на те же горы, от которых приходил в трепет Оленин, горы, которые уравнивали для Толстого всю грязь, всю пошлость (“А горы!”). Сталин тоже любил горы. На Риге есть две его дачи и, кроме того, сохранился фундамент от беседки на Сосновке. Туда проведена дорога, чтобы машина могла подняться (400 метров над уровнем озера). Сталин приезжал на Сосновку в четыре часа утра послушать соловьев. Даже днем, при обычном освещении, это одно из самых поразительных мест на земле. Достаточно простоять совсем немного, и кажется, что ты сейчас взлетишь. Что-то распирает изнутри наружу, как воздушный шар над костром. Час на Сосновке помнишь год, много лет. Сталин бывал там в самое лучшее время, на рассвете, и слушал соловьев. А потом, вспоминая соловьев, обдумывал, как отрежиссировать процесс Бухарина.

Даже осмысленная красота, вошедшая в слово, направленная мыслью художника, действует иногда совершенно неожиданным образом. Невозможно рационально объяснить, почему Сталин любил “Дни Турбиных” Булгакова, почему он смотрел их не то 12, не то 14 раз и велел восстановить постановку, когда ее “по требованию общественности” сняли. Еще можно как-то понять любовь диктатора к “Огням большого города” Чаплина. Тут представляется маленький человек, вышедший в большие люди, из которого сентиментальными слезами выходят наружу занозы его

беззащитной, открытой всем обидам, и болезненно самолюбивой юности. Но такого естественного психологического объяснения любви к “Дням Турбиных” я не вижу. Возможно только объяснение противоестественное и сверхъестественное. Вспоминается лесковский помещик, наряжавший актрису крепостного театра, избранную для растления, в костюм святой Цецилии, или ансамбль смертников Воркуты, исполнявший в столовой для начальников песню смертника Грановского “За полярным кругом”, или танго смерти в немецких лагерях. А иногда мне представляется совсем фантастическая картина: где-то в аду грешники, осужденные на вечные муки, разыгрывают сцены из райской жизни перед ложей Вельзевула... и Вельзевул снисходительно хлопает в ладоши. Факт остается фактом: в булгаковской апологии интеллигенции Сталин находил вдохновение для своей деятельности, направленной к уничтожению интеллигенции (в булгаковском понимании этого термина) ...

Всегда есть возможность вывернуть замысел создателя (и с большой и с малой буквы) наизнанку, оторвать красоту от добра и насладиться ею по-дьявольски. Человека тянет к чему-то необъятному, грандиозному, возвышенному. Но до Бога он не может дотянуться и на полдороге срывается вниз, к посредственности — или принимает опору дьявола. И тогда уже парит на его крыльях.

Всякая не совсем растоптанная душа содержит в себе некий высший образ. Когда красота расправляет душу, высший образ расправляется вместе с ней. Но что это за образ? Насколько он высок?

Образы природы сами по себе немые, они только смутно соответствуют структуре души, их нравственный смысл окутан тайной, и тысячелетие за тысячелетием постепенно раскрываются в слове, в иконописном лике, в музыке. Человечество строило свои высшие образы десятки тысяч лет, пока дошло до прозрачности Будды или Христа. А сколько до этого — и отчасти после этого — было нечистых кумиров, отчасти даже под теми же светлыми именами?

Без непосредственного восприятия красоты, разлитой в мире, духа, веющего повсюду, а не только в церкви, — высший образ мертвеет, становится буквой, книгой, кумиром. Но и обратно: без высшего образа, без стержня, направляющего наше созерцание Бога, разлитого в мире, Бога как космоса, мира как подобия

высшего замысла, глубинного скрытого бытия, которое мы должны раскрыть в своей собственной глубине, чтобы свершиться, чтобы "душа сбылась" (Цветаева) — она слишком далеко может пасть в своих блужданиях, и не только не "сбыться", а совсем погибнуть. До сих пор можно встретить образованных людей, убежденных, что насилие — лучший учитель, а пирамида из человеческих черепов — памятник вечной славы. В необразованных массах этот взгляд распространен почти повсеместно. Нечто глубоко безбожное, антихристианское, антихристово есть в самой нетронутой интеллигентностью, верующей, посещающей церковь народной русской среде. В этом смысле Сталин — естественный, законченный (хотя, к несчастью, не единственный) плод всей русской истории, начиная не с Ленина, и не с Петра, а с Ивана IУ и даже с Ивана III. Прошло много веков, прежде чем сперва угасло русское искусство иконописи, потом мысль об образе и подобию Божьем.

2. АНГЕЛЫ ДИОНИСИЯ

В Кремле не можно жить.

А. А...

Гейне как-то сказал, что "порох выдумал Бертольд Шварц. Остальные 29. 999 999 немцев пороху не выдумали".

Почему это так? Почему у примитивных племен нет пропасти между гением и посредственностью, а в любой цивилизации высший тип скорее противостоит массовому? Мы этого не знаем, но мы привыкли к этому и можем просто поставить Рублева в ряд с Гете, Данте и прочими.

Однако дело не в одном Рублеве. Несколько веков подряд богомазы из глухих углов удельной, а потом Московской Руси писали удивительные иконы. А потом что-то случилось, и искусство упало.

Гораздо раньше, чем русские люди перестали беречь иконы, они разучились их хорошо писать. Лучше всего это делали в XIII—XУ вв. По мере укрепления самодержавия начался медленный склон вниз. В XУI в. заметны явные черты упадка, а в XУII — старой классической русской иконописи уже нет. Одна из причин раскола — нежелание молиться иконам "нового письма", "никоианской прелести". Все это случилось до Петра, до сознательного само-

державного поворота в Западу. Петр не убивал живой древнерусской культуры (как это казалось славянофилам). Его удары падали на труп, казавшийся живым, потому что у него по-прежнему росли ногти и волосы, потому что стереотипы могут веками держаться в массах, когда сердцевина высокой культуры уже мертва.

Что же убило русскую иконопись? Этот вопрос вырос для меня из другого, почти детского, вставшего, когда один единственный раз нас с женой пустили на хоры Успенского собора, посмотреть фрески. Меня тогда больше всего поразила фреска Дионисия "Богородица с ангелами". Богородица оказалась без головы, но ангелы, наклоненные к ней, сохранились. Они были такие естественные в своей ангельской легкости, такие светлые, "дивные и пречистые", что хотелось смотреть на них долго, часто, каждый день. Казалось, если сделать это, то освободишься от всякой душевной тяжести.

И вдруг я подумал, что Ивана Грозного смолоду пускали сюда, не так, как меня, а много раз; и потом, став царем, он мог смотреть на эти и другие фрески и иконы, сколько ему хотелось. И он действительно очень любил ездить по монастырям, почитать святые иконы. Как же получилось все остальное? И если Феофан Грек, Андрей Рублев и Дионисий не смогли ему помешать, — на что они нужны?

Полного ответа на свой вопрос я до сих пор не знаю. Но из этого вопроса возник другой, тот, который я выше поставил, о причинах упадка русской иконописи. Мне стало казаться, что некоторые даты политической истории России не случайно совпали с этим упадком. Ангелы Дионисия не смогли помешать Ивану IV стать Грозным. Но после Грозного они вывелись, улетели. Остались нарисованные на стене, остались иконы, но иконопись умерла. Не было веры в торжество духа над плотью, и само представление о духовной красоте стало более плотским; потребовались истоминские румянцы и пухлость щек. И торжество Церкви стало мыслиться по образу и подобию парада победы (есть такая икона XVIII века в Третьяковке).

Можно возразить, что иконопись вся сложилась в Византии, в условиях самодержавия, которое было для Ивана Третьего и Четвертого нормой. Но два одинаковых факта в разных историях — это разные факты. Византийцы — народ, с самого начала смертельно усталый, еще в прошлом своем рождении изверившийся в возможности справедливой власти. У них она была, они ее поте-

ряли, и никаких надежд на тысячелетнее царство праведных не осталось. Византийская церковь считала себя дочерью Иоанна Богослова, но иоаннова хилиазма не унаследовала. Ее православная духовность — просто окошко в потустороннее, выход из земной юдоли зла через смерть. Отсюда суровость византийских икон, исчезающая у Андрея Рублева. В русских — как и во многих варварах, не исчерпавших своей исторической энергии, — еврейский хилиазм (вера в лучшее будущее с мистической помощью) находит живой отклик. Лучшие русские люди верили, что власть, освободившая их от Орды, будет справедливой властью. Они верили, что 'все минется, только правда останется'. Поэтому царствование Ивана Грозного было непоправимым ударом для рублевского православия. Что-то сходное испытали коммунисты, пережившие 1934-1939 гг. и борьбу с космополитизмом. Идея поблекла, потеряла силу и держалась только потому, что не было другой.

Расцвет иконописи приходится на годы, когда русская государственность, разбитая и покоренная, сильно поблекла в народных глазах. Князь оставался ближе хана, но он стал рычагом, финансовым агентом Орды. Государственность вся пахла Ордой. Сюзереном был хан, его в летописях называли царем, ему писали доносы, его делали судьей в княжеских спорах. От этого во времени некуда было уйти. Оставалась только вечность, неподвластная ни князьям, ни ханам. И глубинные пласты души больше, чем когда-либо прежде, повернулись к вечности, к Царствию, которое внутри нас, к христианскому царству духа. От этого духа ждали и физического избавления, прилива силы, способной победить злую, басурманскую силу. Никогда, ни прежде, ни позже, иконам не молились с такой страстью, никогда не вглядывались в них с такой тоской.

Но добрая сила, если и нашла себе форму, то только под кистью Андрея Рублева. В политической жизни пришлось условно посчитать орудием добра Московское княжество, добившееся перевеса над своей соперницей, Тверью, едва ли не с помощью доносов.

В высший момент духовного напряжения страны Сергей Радонежский, учитель Рублева, благословил Дмитрия Донского на бой с Мамаем и своим огромным неоспоримым авторитетом помог этому рыцарю, родившемуся среди расчетливых московских князей, сделать решающий шаг к объединению Руси.

Мамаево побоище было таким же внешним выражением внутренней силы духа, как, скажем, Шестидневная война. Но, к несчастью, победители часто становятся рабами своих побед, а в истории России это происходит почти всегда. Двойная победа Москвы над татарами (при Дмитрии Донском и Иване III) оказалась в конечном счете победой наиболее отатаренного из русских княжеств. Внешнюю Орду сменила внутренняя, осененная византийским крестом и благословением всех святителей и от этого во много раз более опасная, растлительная для народной души. Ибо собственно татарская Орда, по крайней мере, не благословлялась церковью, не становилась "прелестью" для своих рабов.

Самодержавие как система, вне зависимости от физиономии своих носителей, вело себя в России примерно так же, как впоследствии Иосиф Сталин. Оно уничтожило или доводило до ничтожества тех, кому обязано было своим возвышением.

"Коллективное руководство" князя и бояр, уцелевшее в стереотипной формуле: "царь приказал, бояре приговорили", за один век было сведено на нет". "Иван III... как осторожный политик, не ставил ребром вопрос о низведении бояр на положение рядовых слуг, но и не упускал подобных случаев. Обладая крутым нравом и тяжелой рукой, Иван III без ненужных жестокостей своего нервного внука, царя Ивана, сделал очень много, чтобы разрушить дружинную организацию армии и низвести крупное боярство на положение покорных слуг. Опалы при Иване III случались нередко. Подвергая опале крупного служилого землевладельца, Иван III отбирал у него вотчины, частично или все, "распускал" дворы его и "чады", отпускал на волю рабов"*.

Часть этих холопов, приученных к военному делу, сажали на новгородские и другие приобретенные земли и качества **помещиков**, рядом с потомками оскудевших бояр и князей. Этика нового класса дворян-помещиков складывалась, таким образом, из княжеско-боярской и холопской; и в течение довольно короткого времени боярский дух независимости растворился в холопском духе. "Княжата и бояре уже в XV веке в своих челобитных именовали себя холопами."**

Герцен не преувеличивал, когда писал, что русские дворяне

* С.Б. Веселовский. "Исследование по истории класса служилых землевладельцев", М., 1969, стр. 77.

** Там же, стр. 79.

так же мало отличаются от дворовых, как слова, обозначающие эти сословия. В московской период это было именно так. "Во время ливонской войны... правительство доходило до применения телесных наказаний: жену, детей и всех людей помещика (уклонившегося от службы – Г. П.) сажали в тюрьму, а самого его, если удавалось поймать, били батогами и отправляли под конвоем в полк".*

Другим следствием возвышения самодержавия было унижение Церкви. В удельный и в ранний московский период она отошла от рабских привычек византийского православия и завоевала себе известную независимость, даже известное право голоса в государственных делах (не оформленное законом, но иногда удававшееся – Сергею Радонежскому, Нилу Сорскому). Однако московские князья, став царями, почувствовали себя вселенскими владыками, стоящими над вселенской Церковью. Митрополитов и патриархов в Москве приучились возводить и низлагать с такой же легкостью, как в Константинополе, и не только при Иване Грозном, но и при кротком Алексее Михайловиче. За двести лет Церковь до того была приучена к послушанию, что и петровский синод приняла по-рабски, на коленях. **Паралич Церкви**, о котором с горечью писали многие русские мыслители, при Петре только обнаружился, стал очевидным. Начало болезни относится к более ранней эпохе, к появлению (в XV в.) идеи о Москве как о третьем Риме, к заражению России трупным ядом византийского цезарепапизма.

Относительная независимость духовного сословия не пережила удельной Руси. Она стояла наряду с другими феодальными вольностями (боярскими, городскими, даже крестьянскими в Юрьев день) и пала вместе с ними. Учреждения, пережившие страшнейший внешний гнет, почти без сопротивления покорились Москве, защитнице веры, и были разрушены ею. Даже Господин Великий Новгород, всегда непокорный, откупившийся от татар, отбившийся от шведов и немцев, не смог устоять. Не устояла и Церковь. Но главное, она не устояла внутренне, духовно. Сами церковные деятели (во всяком случае, некоторые), упиваясь возможностями новорожденного христианского царства, толкали Ивана !!! к вмешательству в несветские дела, призывали его (как Иосиф Волоцкий), "по примеру гишпанского кесаря" жечь еретиков (жи-

* Там же, стр. 82.

довствующих). И Церковь получила по заслугам, когда Иван IV казнил Колычева. Грозный царь был искренне убежден, что Бог поставил его выше Церкви, дал ему власть печься не только о земной плоти холопей своих, но и об их бессмертных душах.

Эта позиция царя, напоминающая положение китайского Сына Неба, халифа (повелителя правоверных) и византийского василевса, полностью закрывает дорогу всякой общественной свободе — так же, как споры между папами и императорами открыли дорогу свободе городов и общей свободе на Западе. К величайшему несчастью для России, освободившееся от татар Московское государство решительно повернуло на татарский путь развития (так же, как Сталин, победив Гитлера, стал подражать своему разбитому врагу)*.

Нельзя объяснить это произволом одного или двух Иванов. Тут есть какая-то доля участия и других Иванов. Под грозой княжеских междоусобиц и татарских набегов какая-то часть народа **полюбила** сильную, жестокую власть — единственную, способную объединить грызущиеся друг с другом уделы и оборонить рубежи. И вместе с этой властью полюбила ее жестокость и покорила дыбе земного царя так, как если бы это был крест Царя небесного. Масса **разрешила** ужасам опричнины совершиться над собой, так же, как она **разрешила** впоследствии сталинские лагеря смерти и **до сих пор их оправдывает**. Если в Европе деспотизм никогда не мог так разыгаться, так укорениться, как в России, то не потому, что в Европе не хватало деспотов. Но существовали некоторые привилегии, некоторые свободы — аристократические, церковные, городские, — против которых ни Людовик XI, ни Генрих VIII ничего не могли поделать. Существовало представление о неотъемлемых правах личности — ограниченное, феодальное, сословное, но настолько крепкое, что его никак нельзя было сломать. И оно не все над собой дозволило. Можно было отрубить голову вельможе, но нельзя было его высечь. А русские цари знали, что отодранный батогами дворянин или брат казненного будет им служить так же, как Иов Богу, как изуродованный в сталинских застенках Ванников — служил Сталину.

Это было нормой, законом; нарушитель этого закона был из-

* Я называю этот путь татарским, хотя внешне, по одежде он был византийским. Византийские символы только дополняли и прикрывали татарское влияние, гораздо более непосредственное и сильное.

менник (как Курбский или Ф. Раскольников), и царь Иван в полном сознании своей правоты, с возмущением ставил Курбскому в пример раба его Ваську Шибанова, до конца верного своему господину. Достоевский полагал, что Грозный при этом где-то в глубине души сам устыдился Шибанова. Я этого не думаю. Россия из одних Шибановых, из одних верных рабов, без всяких аристократических привилегий была открытым идеалом Грозного, тем, за что он страстно боролся, и он выставлял свой идеал, конечно, без всякого стыда. "А жаловать мы своих холопей вольны, а казнить их вольны же".

Народное сознание как бы раздвоилось, раскололось надвое. "Идеал Мадонны и идеал содомский" складывались друг возле друга и только в русской душе: в украинской культуре, второй наследнице Киевского периода, ничего подобного "двум безднам" нет. Ни всемирной отзывчивости (за которую Короленко сознательно предпочел русскую культуру украинской и польской), ни сверхмирной жестокости.

Именно в этом — несмыслимый след азиатских связей России. Собственно татарская Орда быстро отпала, но осталась Орда внутренняя.

Под ордынским, а потом под царским и крепостным гнетом зачалось и христианское смирение, связанное с внутренней силой и достоинством, и холуйская смесь злобы, зависти и преклонения перед чужой властью. И весь комплекс уничижения паче гордости перед иностранцами, и отношение власти к народу как к хамову племени, и отношение народа к власти как к оккупантам, которых по возможности надо обмануть, у которых при каждом удобном случае надо украсть — пока нападение извне не объединит на короткое время всех православных. Все это в московское время отвердело, окостенело и дало дополнительный аргумент в пользу кнута: с нашим народом иначе нельзя!

К счастью, эти сдвиги не были всеобщими. По разным углам сохранились обрывки домосковского и даже дохристианского быта, уцелели какие-то корешки языческого русского характера: в рыцарских традициях боярства на севере, не затронутом рабством, на беглых казачьих окраинах. Этот языческий пласт русской культуры мы очень недооцениваем. Этот пласт всплыл в XIX веке в "Казачах" и в "Воине и мире", освобожденный западным влиянием от влияния восточно-византийского и блещущий всей прелестью, всей силой свободного развития.

Однако западное влияние одарило вольностью только высший, барский слой русского общества, и только в этом слое была мыслима Наташа Ростова. Низы послепетровской России оставались в неволе еще более жестокой от тягот преобразований и от контрастов с дворянскими вольностями. В ближайших к просвещению непривилегированных слоях продолжали жить темные, тянущие к саморазрушению глубины, соединение несовместимых элементов, рвущихся прочь друг от друга — все это сложилось в московский период, обозначилось в “Повести о Горе-злосчасти” (XVIII в.), а потом еще раз с несравненной мощью и мировым размахом выступило в романах Достоевского. Здесь христианская Россия неразрывно связана с Россией антихристовой, униженные и оскорбленные становятся деспотами и мучителями, святость Мышкина — в побратимстве с рогожинским зверством. Это — наше московское наследство. Оно с трудом поддается европеизации, гуманизации. “Переставая быть христианским, московский пласт русской культуры становится просто зверским” (Аскольдов) .

Г. Померанц — один из известнейших публицистов советского Самиздата; его большие и малые эссе собраны в книге “Неопубликованное”, вышедшей в 1972 г. в издательстве “Посев”; статья “Сны Земли” (откуда взяты, с некоторыми сокращениями, публикуемые нами главы) появилась в Самиздате несколько лет назад и представляет собой одно из лучших изложений особой концепции русской истории, развиваемой Померанцем (и в некоторых чертах близкой концепции А. Янова); она вызвала резкое осуждение национально-почвеннических кругов в России (см. статью В. Борисова, “Вестник РХД”, № 125).

“Русский вопрос” — узел важнейших проблем современности; не удивительно поэтому, что он вызывает ожесточенные споры и скрепчивает на себе полярно противоположные точки зрения, от утверждения (А. Янов), что коммунизм есть органической порождение русской истории, до провозглашения (А. Солженицын) коммунизма иноземной оккупантщиной, которой, спасая собой человечество, уже 60 лет героически сопротивляется русский народ. Дора Штурман пытается объективно оценить позиции сторон в этом споре.

Дора Штурман

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД РУКОПИСЬЮ

Полемика между А. Яновым и его оппонентами удручающе часто выводится последними за пределы научного и даже политического спора и превращается в неблаговидную газетную (как любил выражаться Ульянов-Ленин) “драчку”. Один из подходов к А. Янову примерно таков: не Янову (не Янов**ЫМ**) заниматься русской историей и современностью, ибо он а) бывший советский журналист и бывший член КПСС, печатавшийся в советских журналах, в том числе и в партийно-идеологических; б) добровольный эмигрант, а не изгнанник и не беглец; в) еврей, что делает решительно некорректным его активный интерес к российским и советским делам; г) русофоб. Не вдаваясь ни в один из этих доводов, скажу только, что отказывать человеку в праве заниматься тем, чем ему интересно, на основании анкетных данных и прежних и даже нынешних взглядов — смешная наивность. Опытom доказано, что только очень бдительное насилие может помочь в этом случае ограничителям чужих занятий.

Среди всех этих обвинений лишь одно: “русофоб” — заслуживает серьезного к себе отношения. Но А. Янов, независимо от его понимания и толкования русской истории и современности, не русофоб. Ни насилия

над русскими, ни враждебности к ним, ни их уничтожения он не проповедует. Более того: он чувствует себя более русским, чем кем бы то ни было другим. Его отношение к России не "фобия", а скорее та, несколько навязчивая, "любовь без взаимности", на которую обречены шовинистами инородцы, не имеющие другой культуры, языка и гражданственных интересов, кроме русских.

Когда российских евреев, интересы которых прикованы к России, вдруг — как самозванцев и чужаков — лишают, пусть лишь на бумаге или на словах, права заниматься русскими делами, русской историей, они испытывают обиду и недоумение. С появлением Тамиздата и Самиздата ксенофобия по отношению к евреям, чувствующим себя русскими, свойственная некоторой части пишущих русских, выразилась впервые за много лет не только на уличном и чиновном уровнях, но и на уровне элитарно-интеллектуальном, в том числе и диссидентском. Естественно, что это потрясло евреев, отождествляющих себя с русскими. Камень, запущенный в твою голову хулиганом, несправедливость со стороны государства, которое несправедливо ко всем, куда менее ошеломляют, чем расистские сентенции в устах своего же брата-интеллекта...

Однако даже при самом неблагоприятном для евреев подходе к ним, их недругам следовало бы признать, что СССР — угрожающе весомый фактор всей земной, а не только русской жизни, и, следовательно, повышенный интерес к русской истории и советской современности **никому** не может быть вменен в криминал, ни с одной точки зрения — кроме официальной советской*.

Эти и последующие размышления навеяны мне новой книгой А. Янова "Русская новая правая. Русский национализм и правые идеологии в современном СССР", изданной недавно на английском языке (здесь обсуждается ее неизданный по сей день русский оригинал). Эта книга посвящена почвенническим движениям современной России. Они предстают в ней как прообраз некоей партии ("новая правая" ") и в качестве таковой связываются автором с его общей концепцией русской истории, высказанной в этой и предыдущих его работах. Какова же эта концепция?

* Правда, и некоторые сионисты (преимущественно из неофитов) тоже склонны отказывать евреям если не в праве, то в целесообразности заниматься русскими делами. К счастью, Израиль в гетто не превратить и евреев вне мировой жизни не поставить, как ни стараться.

О терминах и их наполнении. Прежде всего, несколько слов о терминологии А. Янова.

А. Янов — мастер острых парадоксальных формулировок, но иногда за терминами, которыми он оперирует, возникает смысловая неопределенность, лишаящая парадокс достоверности.

Казалось бы, термины — вещь второстепенная, и не стоит начинать разговор о книге с их рассмотрения. Но, к сожалению, в данном случае неопределенность терминологическая создает впечатление неопределенности мировоззренческой.

Известно, что вопрос о языке исследователя есть вопрос о его миропонимании. Советский терминологический код представляет собой определенную идеологическую систему. Поэтому сохранять часть терминологии в ее советском значении, часть же наполнять иным содержанием — значит обрекать себя на эклектичность.

Книга Янова пестрит терминами вроде “национализм”, “правые”, “левые”, “лево-революционные силы”... “Правизна” (как характеристика идеологии и политической тенденции) всегда окрашена у него эмоционально отрицательно, а “левизна”, “революционность” — положительно, причем без всяких обоснований.

“... из-за отсутствия в современном СССР (в отличие от дореволюционной России) массового “лево-революционного” движения, новый катаклизм, если он произойдет, имеет значительно больше шансов произойти под хоругвами “правого” русского национализма, нежели под знаменами Демократического движения”, — пишет А. Янов.

Да, в “дореволюционной” (предфевральской или предоктябрьской?) России уж никак не было дефицита “массового “лево-революционного” движения”: анархисты, эсеры, большевики, меньшевики, широкий спектр национальных левых движений, левый край кадетов и пр. Но разве это привело к победе весьма в ней широкого демократического движения, а не к торжеству диктаторской крайне левой силы?

Непонятно далее, кого автор видит за определением “лево-революционные”? Чем может быть, как должно выглядеть, чего должно требовать “массовое лево-революционное движение” в современном СССР? Куда вообще двигаться влево от коммунизма? Дань ли это современной, скособоченной влево западной фразеологии или опять атавизм советских школьных, вузовских и публицистических словарных рефлексов?

Тот же советский эмоциональный рефлекс сохранен А. Яно-

вым и в отношении к термину “национализм”: национализм — это всегда плохо; интернационализм — прекрасно. Но ведь и эти термины не имеют сегодня достаточно четкого смысла без достаточно серьезных оговорок.

Термины “реакция”, “реакционный”, “реакционность” тоже зачастую употребляются А. Яновым с инерцией в сторону их советского наполнения, то есть как понятия заведомо отрицательные. Толкование реакции как **ответной** акции, как **ре**-активного отклика на **акцию** ему чуждо. Между тем реакция — это и семантически, и исторически, и политически прежде всего отклик, ответ. Нынешние оппозиционные, националистические течения в СССР — это в существенной мере именно реакция на коварные миражи-оборотни левацкого денационализма, **над**национализма, тоталитарного империализма, **использующего интернационалистскую фразеологию**. Эта **ре**-акция возникает как абсолютизация ценности всего того, что ущемляется и отрицается акцией: **своей** религии, **своего** национального приоритета и суверенитета. И одновременно реакцией решительно отвергается все, что акцией демагогично защищается: дружба народов, свобода совести и т. д. В этом смысле легче бороться с нацизмом, чем с коммунизмом, ибо первый не компрометирует великие принципы, а просто отрицает их. Второй же — компрометирует. А главная опасность всякого реактивного мироощущения и миропонимания — их склонность, отвергая скомпрометированное, ударяться в противоположную крайность. Но реакция может быть и началом опамьтования, освобождения от крайнего взгляда, от гнетущей лжи. Увы, А. Янов, кажется, слишком обижен на современную русскую националистическую реакцию, чтобы оценить ее беспристрастно. Впрочем, это понятно, ибо — как всякий полемист — он еще и участник горячего, живого общественного процесса.

Без переосмысления, в стереотивном значении употребляют А. Яновым и термин “либерализм” и его производные. Он называет “истеблишментским либерализмом” даже “левых” (?) партийных ортодоксов, — в том случае, когда они под вывеской “интернационализма” выступают против русского почвенничества. Ну, а когда они же выступают против сепаратизма советских “окраин”, против сионизма или культурной автономии евреев, против территориального самоопределения крымских татар, против эмиграции немцев и т. д., — кто они тогда?

Есть у А. Янова еще одно выражение, заслуживающее особого

внимания: “Знаменитая триада XX века — борьба против коммунизма, демократии и еврейства”.

“Триада” выделена в лучшем случае с угрожающей небрежностью. Коммунизм в качестве **объекта вражды, борьбы**, определяющей атмосферу XX века — это странный (если не страшный) тезис.

Во все большей мере XX век становится полем **борьбы коммунизма против демократии**. Еврейство же в этой борьбе является для агрессивного коммунизма лишь еще одним фактором, дающим ему дополнительные возможности политического маневрирования: в отношениях с Западом оно предмет торга, для своего же народа — враг внутренний и внешний.

Соблазны симметрии. В своей книге А. Янов рассматривает далеко не все направления современного русского национализма, но лишь мимоходом упоминает об этой неполноте. Конечно, автор волен избирать для рассмотрения ту часть проблемы, которая его занимает. Но у человека, с вопросом не знакомого, остается впечатление, что современный рост русского национального самосознания (каким он представлен в книге А. Янова) имеет **преимущественно** или даже исключительно ксенофобный, шовинистический характер. Между тем документы ряда религиозных и оппозиционных движений в СССР и материалы русской зарубежной прессы доказывают, что эти национальные движения, включая русское, в значительной их части свободны от ксенофобных комплексов. Конечно, шовинистические элементы шумнее и демагогичнее демократического, цивилизованного национализма, но, увы — порядочные люди всегда уступают своим антиподам поле борьбы за массовое сознание. Янов же попросту не замечает националистов, тяготеющих к демократии. И это особенность не только новой его книги, но и всей концепции.

А. Янов видит роковую историческую особенность русского национализма в том, что “либерализм в нем **всегда** вытеснялся ликом шовинистическим”. Попытаемся, однако, быть более справедливыми к русскому национализму, чем антисемиты — к нам. И тогда мы увидим, что на протяжении 1861—1917 гг. шовинизм в России, вопреки всевозможным рецидивам, эксцессам и колебаниям, его обострявшим, неуклонно вытеснялся из государственной политики и общественного сознания тенденцией на уравнивание прав и либерализацию. И процесс этот **был сорван не победой шовинистических настроений и элементов**, а сложным (и далеко

еще не распутанным историками) сочетанием целенаправленной демагогии **слева**, усталости и отчаяния **снизу** и **реакции** на все это **справа** (причем демагогия и организованная разрушительная кампания **слева** были куда более весомыми факторами, чем эксцессы **справа**).

Но А. Янов редко вдается в историческую фактографию — в детали процессов. Он предпочитает ярко, выразительно и масштабно (однако порой и недостаточно обоснованно) набрасывать перед читателем их “общие” контуры. При этом для него характерна очень эффективная в литературном смысле, но весьма рискованная в научном плане приверженность к архитектурно законченным и исторически симметричным схемам. Создается впечатление, что соблазн сохранить симметрию иногда толкает А. Янова к смысловым натяжкам. Нередко ответственные общие выводы делаются им на основании недостаточно представительного материала: лекция высокопоставленного идеологического пропагандиста, частные разговоры без соответствующего их анализа, впечатляющая цитата без противопоставления ей цитат противоположного или иного свойства... Этого достаточно для публицистики или беллетристики, но не для научного обобщения.

Куда существеннее для его концепции, однако, тот факт, что в интересах, по-видимому, все той же симметрии А. Янов склонен рассматривать явления **дискретные** и по своему человеческому составу **разносубстанционные** как явления непрерывные, переходящие из состояния в состояние (хотя Аксаковы и Хомяков никогда не перешли бы, выражаясь фигурально, в состояние Шиманова и Емельянова). А. Янов утверждает, что русское славянофильство и почвенничество как в прошлом веке, так и в наши дни **симметрично эволюционируют** к союзу с властью: раньше — с самодержавием, теперь — с диктатурой КПСС. Но действительно ли перед нами в каждом из двух веков разворачивается эволюция одного явления, а не параллельные и переплетающиеся феномены с различными эволюциями?

Какие имеются основания предполагать, что, к примеру, взгляды украинского националиста Черновола, братски пишущего совместную с еврейским националистом Пенсоном книгу, эволюционировали во взгляды некоего “маленького Гитлера”, описанного Э. Кузнецовым? Сосуществуют же во времени, а не последовательно сменяют друг друга украинский националист-ксенофоб В. Мороз и решительно отвергший нацистскую сущность его воз-

зрений украинский же националист Д. Шумук (журнал "22", № 8), поддержавший Э. Кузнецова. На каком основании А. Янов пишет, что национализм Шиманова содержит "уже не латентный,... а откровенный антисемитизм, связанный с обличением жидо-масонства (идентифицируемого с либеральным диссидентством), как агента сил мирового хаоса и антипода "православного мира". Почему "уже не", а не сам по себе? Почему следует считать, что Шиманов, Осипов и Огурцов — это три стадии одного процесса, а не **разные (одновременно существующие) типы национализма**? А. Янов не проследживает на фактах эволюцию их взглядов и высказываний. Он просто располагает их, **современных друг другу**, в хронологическом ("эволюционном") порядке **друг за другом** — и возникает стройная схема "эволюции современного национализма к шовинизму и союзу с властью". Между тем при желании он мог бы найти сколько угодно примеров противоположной "эволюции" — усиления либеральных тенденций почвенничества и совместных действий, взаимной поддержки и взаимного понимания разноплеменных (в том числе русского) национальных движений. Точно так же в конце XIX—начале XX веков идеи либерального славянофильства и почвенничества имели **своих** продолжателей, вплоть до октября 1917 года усиливавших демократические и либеральные тенденции **этого** славянофильства.

В прошлом веке действительно наблюдалось движение либеральных групп (и "славян", и "западников", кстати, а не только "славян", как у А. Янова) к поддержке правительства Александра II, а позднее и его преемников. В настоящее время действительно есть лица и группы, считающие себя почвенниками, руситами, патриотами, которые тяготеют к альянсу с партийной властью. Но подробное рассмотрение этих сложных процессов опровергает упрощенную идею о их сущностном сходстве.

В 1860–70 гг. в готовности на союз с властью значительной части либералов сыграли существенную роль два фактора: либеральный характер власти, проводившей важнейшие преобразования с уникальной для такой революции безболезненностью, и безответственный экстремизм левых сил, срывавших эти преобразования. Экстремизм последних в эпоху, когда никакой экстремизм не был нужен, когда он будил отчаянную охранительную реакцию, заставлял наиболее дальновидных "центристов" **разных** оттенков попытаться преодолеть весьма относительную необщ-

ность их целей с правительственными – необщность скорее фразеологическую (“идейную”), чем по сути дела.

Можно показать с текстами в руках, что “правеющие” либералы прошлого века с высокой точностью прогнозировали как последствия победы в России левого экстремизма, так и опасные последствия крайнего, бескомпромиссного охранительства.

Отчасти интеллигентофобия и антилиберализм некоторых течений и идеологов **современного** почвенничества объясняются тем, что потерпевших историческое поражение либералов они обвиняют в крушении России не меньше, а то и больше, чем экстремистов – исконных противников и гонителей либерализма. Когда-то А. Солженицын писал в “Августе 1914” о либералах, зажатых между “черной и красной сотней”. Теперь он (случай действительно эволюции, а не параллельности) набрасывает другую схему (“Вестник РХД” №№ 123–124): либералы и прогрессисты безответственно болтали о гражданских свободах и демократических преобразованиях и привели Россию к советской власти. Упускается “мелочь”: **поражение** либералов и прогрессистов привело Россию к ее нынешним обстоятельствам. Их непрактичность и недостаточная политическая боеспособность, а **не их победа и не их идеи.**

Нынешние почвенники ищут (в какой-то части) спасительной альтернативы как советской партократии, так и современной западной жизни с ее экстремистскими, монополистическими и нравственно-разрушительными тенденциями. Иные из почвенников (в значительной мере и А. Солженицын) видят в авторитаризме орудие наименее болезненного перехода от социализма к другому, достойному и свободному, но лишь смутно видящемуся способу существования. Это отмечает и А. Янов. Тех же, кого привлекает альянс с коммунистической властью, нельзя уподоблять “правеющим” славянофилам прошлого или выводить из эволюции либерально-почвеннических групп наших дней: в основе такого альянса могут лежать лишь самые малопочтенные побуждения. “Праветь” в сторону Александра II или Столыпина и не “праветь”, а “леветь” в сторону ЦК КПСС – это движения отнюдь не симметричные. Это процессы исторически альтернативные.

Шовинизм как альтернатива марксизму. А. Янову кажется вероятным, что националисты в правительстве и ЦК вкупе с националиста-

ми, идущими им навстречу снизу, из оппозиции, единодушно изберут русский великодержавный шовинизм в качестве единственной приемлемой для них альтернативы изживающему себя марксизму. Он объясняет читателю:

"...над чем так упорно работают идеологи Новой правой? Они исходят из того, что если экономическая цель системы, включающая неисполнимые и скомпрометированные обещания "материального изобилия", "сытости" и "образования", больше не может легитимизировать авторитетную надстройку, то следует не настаивать на ней, ... а **заменить** ее целью национального возрождения и величия, целью спасения России как от дегенерирующего Запада, так и от угрожающего Китая, целью создания новой "аскетической" цивилизации".

Допустим, что та часть почвеннически настроенных **общественных** (но не истеблишментских) групп, которой занимается А. Янов, действительно думает о перечисленных выше целях. Но об истеблишменте А. Янов сам же и вполне справедливо писал: "...действительный смысл модернизации в авторитарической системе заключается отнюдь не в "материальном изобилии", а в создании модернизированного и конкурентноспособного военно-промышленного комплекса".

Неужели же русский великодержавный шовинизм, возведенный в ранг правительственной политики, может усилить боеспособность империи, в которой русские составляют всего 51% населения? (Существуют мнения, что эта официальная цифра сильно завышена; как бы то ни было, она непрерывно уменьшается). Такая "ре-мобилизация" создаст постоянный внутренний фронт, куда более напряженный, чем нынешний, ибо сегодня русские (при том, что Москва — центр империи, а русский язык — общее средство коммуникации для всех ее народов) **не являются ни экономически, ни политически привилегированной нацией.** Неужели же Кремль изберет в качестве необходимой ему **имперской** идеологии идеологию какой-то части (количественно отнюдь не преобладающей) одного из народов СССР? Да еще в целях создания **аскетической** цивилизации, что само по себе большие массы людей привлечь не может?! Ведь усиление русского шовинизма неизбежно активизирует национальные движения нерусских народов, уже и сегодня куда более массовые, чем русское почвенничество.

А. Янов пишет о русском народе (полагая, что так рассуждают и почвенники, и власть) :

“Самобытная русская политическая система, основанная на православной миссии нации, — вот что может вдохновить его на новый государственный подвиг возрождения”.

На **государственный**? Каким же образом? Ведь государство-то **многонациональное!** В Кремле, насколько известно, от имперской политики еще не отказались, а “православная миссия нации” — понятие настолько ограничительное, что и русскую нацию **разделит, а не сцементирует** (как разделяет, а не цементирует нынешних израильтян ортодоксальный иудаизм). Реализации этой идеи должно сопутствовать возникновение новых напряжений внутри империи и рост террора против собственных инакомыслящих. Нет, русский шовинизм империи ни к чему. Вот антисемиты любого культурного и социального ранга Кремлю **нужны**. И вовсе не из-за патологического, как представляется многим, кремлевского антисемитизма. В Кремле уже нет фанатиков, и роскошь следовать собственным чувствам ему недоступна: не та ситуация. Но диктатура обойтись без врага не может: нет тогда смысла для общества терпеть партократию. Ненависть же к еврею не деструктурирует империю, не усложняет ее дел, не стимулирует распада, а цементирует ее народы в едином эмоциональном порыве (пусть не все общество, но зато его самую бездумную, решительную и неразборчивую в нравственном смысле часть). Антисемитизм для власти инструментально куда полезней, чем почвенничество, чем любые формы славянофильства. И все-таки стать альтернативой марксизму и он не может, ибо не обладает всем аппаратом этой идеологии и не сулит блаженства на этом свете. Массы и образованное общество действительно изверилось в навязываемой свыше идеологии, но, не располагая (в силу полувековой идеологической монополии коммунистов) другими критериями, продолжают представлять себе мир и историю в терминах опостылевшего всем марксизма. И не шовинизм — альтернатива ему.

О “нежелании слышать”. “Борьба за гражданские права, благородное демократическое движение оставляют массу равнодушной... Подавление Венгрии или Чехословакии вызвало протест у тысяч, но было одобрено миллионами”, — пишет А. Янов.

Кем и как измерено “нежелание слышать”? И больше оно или меньше (насколько? в каких единицах?), чем у народов и образованной элиты Запада? Нынешние сознательные и бессознательные социализаторы Запада буквально затоплены информацией,

предостерегающей их от повторения опытов национализации, сверхмонополизации и т. п., но тем не менее к этой информации глухи. Я имею в виду под такой информацией не только свидетельства "потерпевших", но и собственно западные голоса. Кто на Западе хочет их слушать?

А. Янов говорит о безразличии подавляющего большинства русских к благородным усилиям демократического движения. По каким и сколь широким каналам оно влияет на массовые слои общества? Ведь в последние годы даже западное радиовещание почти перестало действовать в этом направлении. А кем и как была установлена мера искренности чисто внешнего "одобрения миллионами" вторжения в Чехословакию? Разве кто-нибудь подсчитал, скольких экономических и пропагандистских усилий стоило советскому правительству это "одобрение"? Не точнее ли сказать, что подавляющему большинству советских людей, утратившему доверие ко всякому казенному слову, обе акции, венгерская и чехословацкая, были непонятны и потому безразличны: в массах растут изоляционистские настроения, в людях растет индивидуализм.

Прежде чем говорить о национальной психологии, надо бы как-нибудь вычленив русскую национальную психологию из советской многоплеменной, а затем исследовать ее "информационное питание" и судить о реакции "русской психологии" на это "питание" сравнительно с аналогичными условиями, процессами и результатами нерусского национального существования. И тогда, по всей вероятности, оказалось бы, что реакции россиян на политические события и явления не чреваты никакими "онтологическими" парадоксами, роковыми — во всяком случае.

Исключительность и знаки, ей предстоящие. Между взглядами А. Янова и его почвеннических оппонентов существует некая общность, затемненная их взаимно не совпадающими эмоциями. Обеими сторонами признается **исключительность** русской истории и русского национального характера.*

Перед нами возникают концепции "плюс-исключительности", "минус-исключительности" и "икс-исключительности" русского народа. Они отличаются друг от друга только эмоциональной

* Интересно, что такая же общность наблюдается в идеологиях антисемитизма и крайнего еврейского (и религиозного, и светского) национализма.

оценкой, отраженной в стоящем перед "исключительностью" знаке.

Особенное и неповторимое присуще любому существу и пути, человеческому и народному, ибо неповторимы ни лица, ни их совокупности, ни их судьбы. Но кем, в каких сравнительных изысканиях доказано преимущественное преобладание в русском характере и в русской истории черт и процессов, неведомых большинству остальных народов построманской цивилизации, **какой принадлежит и Россия?**

Почвенники, по А. Янову, вещают, к примеру, следующее: "Россия — принципиально иная цивилизация, основанная на аскетических идеалах". Сам А. Янов (уже от себя) тоже говорит: "...иная планета,... иная цивилизация".

К примеру: русские якобы всегда жаждали и жаждут "сильной руки", "хозяина", "твердости": "... как раз "исторически" русские массы ждали "порядка", то есть защиты от произвола бюрократии, не от безликого "коллективного руководства" (олигархии), "а от мощной руки Хозяина" (А. Янов).

Но порядка нормальные здравомыслящие люди жаждут всегда. (израильтяне, например, не перестают тосковать по сильному характеру Бен-Гуриона). А ждать порядка от обезличенной бюрократии слишком наивно даже для "массы" (любого народа). Но опять (вне всяких альтернативных суждений) возникают сакраментальные вопросы: кем, с помощью каких методов произведено исследование, позволяющее в **серьезном сочинении**, а не в беллетристике и публицистике говорить о том, **чего всегда жаждали и жаждут русские** в их отношении к власти? Почему тогда самой "твердой" в истории России власти пришлось уничтожить (в этом сходятся все оценки) **десятки миллионов** людей, чтобы обрести **относительное** спокойствие, **ни на минуту не ослабляя своей бдительности по отношению к обществу?** Ведь это перманентное истребление подданных — исторический факт, а не психоаналитическая спекуляция.

А. Янов не раз повторяет, что "правая русская традиция имеет в русской культуре... громадную мощь". Хорошо бы знать точно, что подразумевается под "правой традицией". Консерватизм? Бескомпромиссное охранительство? Шовинизм? Неужели же именно они сыграли в русской культуре ведущую и роковую роль? А взрывной, конвульсивный радикализм и бунтарство в самых различных и неожиданных формах, а социал-утопизм — в основном западнический, но и почвеннический, с переводом и без перевода

на русский общинно-артельный код, — разве они имели в русской истории и культуре меньшую мощь? В этом признании мощи одной только “правой традиции” в российской истории А. Янов тоже своеобразно сходится со своими идейными противниками. Те, кто, подобно ему, считает, что “правые традиции” безоговорочно плохи, полагают, что они-то, исконно России свойственные, в коммунизме и победили. Те, кто считает, что коммунизм плох, а “правые традиции” хороши (значительная часть сторонников “плюс-исключительности” России), утверждают, что в лице коммунизма победила “левая”, западная сторона, одолев плодотворные национальные традиции. Отсюда идеализация русской исторической почвы и “сатанизация” западных воздействий. А. Янов анализирует высказывания и письменные выступления еще и третьей стороны в споре — так называемых “национал-большевиков”, имеющих корни, по-видимому, и в обществе, и в “верхах”. “Почвенники” этого типа полагают, что большевизм (коммунизм) есть последовательный этап развития исконных русских государственно-народных традиций и что этот этап **хорош**. Он только должен быть очищен от инородческих и внешних влияний и вооружен наступательными тенденциями. Именно к этой крайней и немногочисленной среди пишущих “почвенников”, но страшной **национал-коммунистической** группе полнее всего приложима яновская модель националистической “ремобилизации” коммунизма. Немногочисленность идеологов этой группы не должна успокаивать тех, для кого неприемлема ее позиция и с чьей точки зрения чудовищны ее намерения. Мы уже знаем, как увлекают народы в години смут такие идеи. А. Янов видит и правильно квалифицирует эту опасность, но напрасно распространяет ее на все почвенничество. Это распространение несправедливо. Кроме того он ведь и сам странным образом сходится с национал-коммунистами, утверждая, что **русская историческая традиция** перестроила социалистические (европейские) идеалы по своим меркам, откуда и возникла русская коммунистическая система. Значит, опять, как в вопросе об исключительности, основное различие — в эмоциональной оценке, а не в принципиальном истолковании предмета спора?

А. Янов точно и доказательно говорит об опасностях почвеннического, националистического **моноидеологизма**. Но левого, “интернационалистского” (денационалистского) **моноидеологизма** он почти не касается. А между тем мысль о том, что хороший —

по европейскому замыслу — социализм испорчен лишь русской национальной традицией “правизны” (сверхпопулярная среди западной “левой” в настоящее время) — это мысль опасная. И не потому, что она обидна для русских, а потому, что она принципиально ошибочна. Она дезориентирует человечество в его попытках осознания своей истории.

А. Солженицын в своем интервью английскому радио от 2.3.1979 г. со справедливой тревогой и болью говорит:

“Если все ужасы СССР не от коммунизма, а от дурной русской традиции, от Ивана Грозного и Петра, так тогда Западу нечего опасаться, значит, с ними ничего плохого не будет. Если их постигнет социализм, то только добродетельный! После разоблачений советской системы западные представления отступили от траншеи к траншее. Сперва сдали Сталина и все свалили на мифический сталинизм, которого и не было, потом с болью сдали даже и Ленина, так не потому, что он коммунист, а, мол, потому, что он русский! Раз это все русские извращения, так чего бояться Западу?! Запад очень боится слышать правду — всякую правду. Запад очень падок на успокоительный самообман”.

Можно спорить о том, существовал ли (существует ли) сталинизм как особая фаза советской истории (на мой взгляд, существует), но справедливость суждения А. Солженицына в целом не вызывает сомнений. По А. Янову, однако, все ужасы СССР именно от “дурной русской традиции”. Он пишет:

“... русские писатели всегда были уверены, что политика есть принципиальный аморализм и обман, насаждаемый кастой профессиональных политиканов. Поэтому конструируемый ими специально “русский” путь спасения человечества всегда заключался не в установлении контроля общества над политикой, а в **устранении** общества от политики, что, естественно, предполагало согласие на авторитаризм.

И столь же естественным результатом соединения неутолимой страсти к политическому пророчеству с политическим инфантилизмом всегда была утопия, причем утопия реакционная, пытавшаяся возвести традиционную отсталость русской культуры на степень вершины и венца человеческой мысли”.

Пишущая и мыслящая Россия не знала такого периода, когда бы ее мысль была слепа и глуха к духовным и политическим процессам, протекающим за ее пределами. От Европы Россия получила и различные утопии, и некие конструктивные образцы, во

многим органичные ее собственному общественному мышлению. Но в роковом для нее **радикалистском** броске XX века Россия попыталась воплотить в жизнь **не одну из своих национальных утопий** (никогда общегосударственных экспериментов не ставивших), а **западную социалистическую (коммунистическую) утопию** — и даже без национальных народнических акцентов! Можно ли сегодня игнорировать этот общемирового значения факт? Опускается он автором как общеизвестный, или отрицается? Или просто не принимается во внимание, как малозначительный?

При чтении книги А. Янова меня не покидала мысль об одной хронологической ошибке, искажающей чуть ли не все столь модные ныне сопоставления России с Европой. Я уже говорила, что чаще всего эти сопоставления суть **сравнения без сравнений**, оба не содержат конкретных фактографических исследований российского и европейского исторических процессов. Они априорны и дедуктивно-тенденциозны. В этих сопоставлениях игнорируется этногосударственная молодость России по сравнению с большинством западноевропейских народов и государств. Разрыв в два-три (иногда более, иногда менее) столетий не позволяет сравнивать каждый **календарный** момент русской (российской) жизни с параллельно текущим **календарным** моментом жизни французской, английской или немецкой. Было бы верно, следуя тщательно продуманным историческим параметрам, сопоставлять каждый момент жизни более молодой России с соответствующим **историческим**, а не календарным моментом жизни западноевропейской. И тогда исчезнет последовательная и роковая картина "традиционной отсталости русской политической культуры". Будет лишь естественная для неповторимо-конкретных человеческих множеств неповторимость судеб. И в этой неповторимости сыграет особую роль постоянное присутствие в сознании образованной части русского общества (в том числе и власти) сначала византийского, а затем и европейского образцов национального, культурного, государственного и бытового существования. На протяжении веков нетерпеливая русская мысль постоянно упускала из виду, что современное ей западное существование на несколько "возрастных" исторических ступеней старше, чем общенародное русское бытие. (Феномен такого взаимодействия более молодых культур с более зрелыми присущ не только одной европейско-русской истории). По мнению ряда исследователей, русских и западных, быстро развивавшаяся в 1860—1910 гг. Россия

догнала бы исторически старший Запад к середине XX столетия. Некоторые считают, что раньше. Но коммунизм прервал и так исказил эту исторически не новую взаимосвязь, что теперь утешаться и руководствоваться благополучными аналогиями и прецедентами уже нельзя. Историческое развитие России перерублено, как бы специально для того, чтобы человечество на опыте проверило одну из самых навязчивых своих утопий.

А. Янов убедительно критикует русские авторитарно-почвеннические утопии прошлого и, главное, настоящего. Но он ни разу не упоминает, хотя бы попутно и бегло, несметные западные утопии. И в том числе — самую массивную и страшную: многоликую утопию коммунистическую. Создается опасное впечатление, что достаточно отречься от претензий на русскую самобытность и решительно обратить свои взгляды на Запад, как откроются выходы из всех тупиков современной России. Но (прошу прощения за банальность) разве не с Запада пришли в Россию коммунистические (они же социалистические) миражи чудодейственной всеобъемлющей плановости, мнимого народовластия и спасительного централизма, по сей день столь дорогие Западу? Я не хочу сказать, что большевики обращаются за справками к Платону, Кампанелле, Морю, Верасу и другим утопистам; я просто хочу подчеркнуть, что в поисках спасительной антитезы стихийному историческому процессу с его трагическими издержками **человеческая** мысль обращалась и обращается к авторитаризму и централизму многократно и повсеместно, а не только в России. Но почему-то никто не строит на этом основании наукообразную национал-психологическую спекуляцию о предрасположенности к тоталитаризму греческого, итальянского, британского, французского и других народных характеров. О русском же — строят...

Не естественней ли думать, что речь идет о **всечеловеческих** попытках всецело (то есть тотально) подчинить стихийное наше существование разуму?

Повышенная обусловленность жизни молодых народов разно-сторонними влияниями их более зрелых соседей вполне естествена. Деление мыслящих россиян на почвенников и "подражателей иностранщине" весьма условно, что не раз уже отмечалось в литературе. Поведите нынешних самых воинственных почвенников, жестко связующих "русскость" и православие, назад, вглубь истории, и на каком-то ее этапе им придется стать воинствующими "византистами" (то есть "западниками") — ведь само православие

принесли на Русь и насильственно насаждали его два-три века отнюдь не почвенники, а радикальные подражатели чужой культуре. Однако для любого народа, живущего **своей, особой** (как всякое полноценное существование) исторической жизнью, не существует и простого политического выбора между своим и чужим путем. Так человек не может стать двойником своего, пусть более преуспевающего, чем он, соседа. И в этом смысле представление А. Янова о возможности для России перенять чужой путь и способ существования и о ее упрямом, predeterminedенном загадочной русской "ментальностью" уходе от этой возможности не "**достаточно просто**" (как ему представляется), а **слишком** просто, чтобы соответствовать истине.

Охранительная реакция части россиян на западнический экстремизм не однажды в русской истории означала понятное и трезвое нежелание повисать где-то в воздухе, над толщей русского "мира", иного по ряду существенных свойств, чем соблазнительный Запад. Ведь различным оказывалось очень многое — от запаса опыта и представлений до структуры общественной занятости и социальной стратификации, связанной с ней. По-видимому, и здесь, как всегда в истории, каждый случай должен рассматриваться и расцениваться конкретно, а не тенденциозно. Тогда вместе с мнящимся А. Янову отталкиванием России от всего иноземного, исчезнет и мнящееся ему вечное ее кружение в безвыходных исторических циклах, не оставляющих места прогрессу: "Деспотия — оттепель — смута — деспотия..." По А. Янову, эти роковые трехфазные циклы повторяются на всем протяжении нескольких последних столетий русской истории, от Брежнева до Ивана IV и даже глубже. Проведем и мы небольшой конкретно-исторический экскурс.

Уроки русской истории. В эпоху первых Романовых, особенно Алексея Михайловича и Софьи, власть не вводит никаких сногшибательных новшеств и не крушит привычных обычаев. Не проявляя экстремизма, она смягчает ряд законов, снимает ряд запретов и разрешает ряд условно западнических (условно — ибо они решительно назрели уже и в русской жизни) бытовых нововведений. Землевладельцам запрещается закрепощать добровольных "заложников" за беглецов от посадского тягла. Созываются для совещаний с правительством выборные от всех вольных сословий. Облегчаются промышленные и коммерческие операции.

Софья отменяет смертную казнь за антиправительственные высказывания (кнут и ссылка за них остаются). Разрешается носить "немецкое" платье и брить бороды (но не предписывается). В кругу Софьи, а в меньших масштабах и при ее отце, рассуждают (это отражено документами) об отмене (конец XVII века!) весьма расплывчатого в ту пору крепостного права, о наделении крестьян землей, о заселении свободных земель освобожденными крестьянами, об оживлении внешних торговых связей, об отмене "кормлений" и "откупов", о переводе всех должностных лиц на достаточное жалованье, о модернизации налоговой системы и т. д. и т. п. Если применять современную фразеологию, то можно сказать, что правительство при активном участии разных общественных групп и лиц осторожно раскрепощает те наличные уже в русской жизни начала самодвижения, которые лежат в основе европейской цивилизации, условно именуемой буржуазной. Если судить не по календарю, а по собственным возрастам стран Европы, то окажется, что Россия, несмотря на великие трудности своего окраинного, пограничного с Азией географического расположения, не отставала от общих темпов развития.

Петр I, в его психологическом и политическом экстремизме, отверг тенденцию, которую скорее всего и не уловил. Он явил собой классический тип прогрессиста-эклектика: по культурно-технологическим своим задачам он вроде бы и неукротимый западник, но по приемам и средствам насаждения культурно-военного и технического прогресса — отъявленный деспотический "азиат". Я не рискну назвать петровские методы специфически **русскими**. Для русской дотатарской старины и для других допетровских периодов столь тиранический преобразовательный экстремизм не характерен. Иван IV и как психологическое (в существеннейшей степени), и как историко-политическое явление — имеет прецеденты и аналогии в европейской жизни соответствующих исторических этапов.

Но вот параллели между Петром I и Лениным возникают и в работах А. Янова, и в других исторических сочинениях не случайно. Петр I и Ленин действительно относятся к сходному типу преобразователей, имеющих много общего и в методах преобразования, и в психологии. Ленин чувствовал это и не раз на Петра, с его "варварскими методами борьбы против варварства" (Ленин), ссылался. Горе в том, что методы были действительно варварскими, но противопоставлялись они **не варварству, а нормальному историче-**

скому развитию, которое — в ленинском случае — они оборвали и замкнули*.

Этот вид преобразователей, беспощадных генераторов “больших скачков”, характерен для многих стран, развивающихся в условиях достаточно близкого технологического, экономического и прочего опережения их соседями. Не замечая ростков новизны в своей стране, они вместо развязывания начал самодвижения, **деспотически навязывают** ей противоестественный “большой скачок”. С кляпом во рту, под кнутом безжалостного погонщика и в стреноженном состоянии (ибо поработаны все слои общества) страна должна “догонять” соседей по **избранным погонщиком показателям**. Естественно, что возникает реакция охранительства. И либо конвульсии “большого скачка” гасятся этой реакцией, либо “прогрессист” утопляет ее в крови, которую старается лить с превентивным избытком — для обретения запаса прочности.

В целом, на большом историческом промежутке времени, эмансипация общества, которому одновременно навязаны бег в избранном преобразователем направлении и подавление **всякой инициативы и истинной самодеятельности**, не совпадающей с верховной волей, **замедляется, а не ускоряется**.

Последствия петровского истерически-беспощадного “прогрессизма” во внутренней жизни страны скомпенсировались настоящим самодвижением лишь во время александровской революции 1860-х гг., когда раскрепощены были не только высшие классы, но и крестьянство.

Когда А. Янов и близкие к его взглядам историки обнаруживают в российском обществе или в русском народе неспособность сопротивляться тирании власти, они забывают об одном моменте, который простительно упускать из виду публицистам, а не историкам. Русское общество сопротивлялось революционно-радикалистскому экстремизму **еще меньше**, чем тирании власти. Последней

* А. Солженицын считает кощунственным яновское уподобление сталинского ГУЛАГа террору эпохи Петра 1. Однако уподобление это и количественно, и качественно вполне уместно. Простой подсчет жертв петровской эпохи (даже по данным С. И. Соловьева — горячего сторонника Петра 1) доказывает, что процент жертв по отношению к тогдашнему населению сравним с соответствующим советским. Но ведь размах верховного насилия — это (несмотря на всю чудовищную избыточность террора, принимающего характер цепной реакции) и показатель **всенародного неприятия** верховной политики. Мягкий (с учетом критериев эпохи, а не норм гуманизма XIX столетия) прогрессизм первых Романовых не встречал такого отпора, как радикализм и экстремизм Петра, и не нуждался в терроре.

всегда требовался террор для подавления общества, а левых экстремистов это общество внесло в историю чуть ли не на руках. Террор понадобился им только (и сразу же), когда они превратились в беспрецедентную по своему всеобъемлющему монополизму и централизму **власть**. И объясняется эта недостаточная (в конечном итоге) сопротивляемость общества скорее исторически, чем иррационально-психологически: образованный, отвлеченно мыслящий слой народа (включая власть) активно воспринимает — и навязывает стране — идеи и образцы жизни соседей, а в самой стране, как правило, не успевают сложиться к этому времени те массовые слои, которые (в более старой) Европе обычно ставили прагматические, “утилитарные” пределы экстремизму **мысли и власти***. В России и почвенники, и западники (в обществе и в верхах) оказывались обычно представителями умственных и административных движений. Выращиванием в ней мощного “третьего сословия” (в его крестьянско-фермерской части) всерьез занялся только П. А. Столыпин (а сделали этот процесс возможным только реформы Александра II). Поэтому устойчивость русского общества по отношению к радикальным утопиям и кризисным состояниям в целом была ниже европейской. И те же идеи, которые в Европе (до недавнего времени) чаще всего гасились или вводились в приемлемые границы общественным прагматизмом, Россию в один из критических моментов ее бытия (каковых и Европа знала немало: 1848—49 или 1919—23 годы) ввергли в пропасть социализма.**

Для осуществления “большого скачка”, предопределенного близоруким волюнтаристом, необходим огромный потенциал на-

* Боюсь, что в нынешней западной цивилизации эти утилитаристски-прагматические слои все более размываются экспроприаторской монополизацией, а их устойчивость исчезает под натиском аморализма квазикультуры широкого потребления. В “третьем” же мире, которому его идеологи и лидеры навязывают “гонку за Западом” или “гонку за социализмом”, эти слои (как и в России XIX—XX вв.) еще не успели сложиться.

** Я сознательно употребляю слово “социализм”, ибо подразумеваю под таковым полную тройную (политическую, идеологическую и экономическую) государственную монополию. Вслед за А. П. Федосеевым, я полагаю, что как современный западный неполный монополизм, так и современные “конвергентные” формы теоретического и практического социализма “с человеческим лицом” суть лишь стадии полной монополизации, стадии монокапитализма, то есть социализма. И напротив — системы, использующие все гуманные и разумные формы социальной помощи и социальных гарантий, но оберегающие от государственной, профсоюзной и корпоративной монополизации частную экономическую инициативу и многоплановую конкуренцию, не являются социалистическими.

силія. Но “догнать” плюралистический Запад, убив плюрализм, нельзя, ибо в основе западного прогресса лежала до сих пор (сохранится ли этот стимул в дальнейшем, не берусь предсказывать) многосторонняя, во всех плоскостях жизни, в том числе и духовной, конкуренция. Большевики ее тотально уничтожили и завязли, барахтаясь в экономической и культурной импотентности абсолютного централизма.

Подавление инициативы и самостоятельности в коммунистических условиях настолько тотально, что возникает парадоксальное сходство поведения китайцев и немцев, россиян и камбоджийцев и т. д. И в этих обстоятельствах говорить о национально-психологических **по преимуществу** истоках народного и личного поведения — значит отворачиваться от фактов жизни, фактов истории. Не слишком ли дорогая цена за сохранность и симметричность **схемы?***

В чем прав Александр Янов? Говоря о “новой русской правой” А. Янов (почти неизбежно) возвращается мыслью к А. Солженицыну. Он пишет:

“Я думаю, почти у каждого человека там, в этой стране, где-то на доньшке души живет **свой** Солженицын, как в XIX веке жил свой Герцен, сколько бы ужасных ошибок он ни совершил. Солженицын для нас есть символ того, на что мы сами оказались неспособны. И дело здесь не только в художественном гении или легендарном мужестве, дело еще и в той роли, которую сыграл он в духовном раскрепощении страны, а значит и меня самого... Но почему человек, который так много для меня сделал, потом предал меня? И не только предал, но и проклинал, как часть проклятой им русской интеллигенции?”

А. Янову кажется, что “артиллерия бьет по своим”. Боюсь, что дело обстоит еще хуже: “артиллерия” уверена, что бьет по чужим. А. Солженицын говорит об А. Янове с брезгливой неприязнью:

“Вот Янов: был он коммунистический журналист, 17 лет подряд, никому не известный — в “Молодом коммунисте”, еще мельче... А тут — сразу университетский профессор. Напечатал уже две

* А. Янов неоднократно характеризует свои схемы как неизбежно упрощенные и дискуссионные. Иногда он прямо говорит о их гипотетичности. Я хочу предупредить читателя о неисчерпывающем и приблизительном характере и моей схемы. Но, полагаю, она дает представление о том, что русская историческая действительность много сложнее безнадёжно трёхступенчатого кружения, усмотренного в ней А. Яновым.

книги с разбором СССР и с самым враждебным отношением ко всему русскому. В "Вашингтон пост" — на целую полосу статью, что Брежнев — миролюбец. Смысл его книг — держитесь, мол, за Брежнева всеми силами — это вам, американцам, выгодно. А всякая другая власть в России будет вам хуже. Он даже не ставит коммунистическому режиму в упрек уничтожение 60 миллионов. Словечко "ГУЛаг" подхватил, но применяет его к старой России — мол, там был ГУЛаг. В его книгах не найдешь, что вот народ русский, например, может иметь какую-то религию, что это может что-то значить в его истории, в его стремлениях. И вот такие уста истолковывают здесь Россию! Вот такие цветки выращены коммунизмом на нашем забвении и растоптании. А интеллектуальная Америка их всех подхватывает, потому что их здесь очень ждут и хотят, чтоб было так: чтоб с коммунизмом дружить, а Россия — плохая".

Должности профессорской у Янова, кажется, и по сей день нет, но в этом ли дело? У Янова иная биография, чем у Солженицына, поэтому и был он "коммунистический журналист", печатавшийся (если и это важно) далеко не в одном "Молодом коммунисте". В СССР легальных некоммунистических журналистов нет. И членство в Союзе Советских Писателей в смысле коммунистичности — такая же характеристика, как и членство в партии. Много ли среди самых заслуженных борцов с режимом последнего тридцатилетия людей, абсолютно чистых в этом отношении? Я бы спросила, не запрещенный ли это прием — осуждение бывшего соотечественника уже на этом одном основании? Но мне в ряде статей объяснили недавно, что есть уровни одаренности, заслуг и своеобразия, освобождающие человека от измерения его поступков и слов в общепринятых этических категориях (и потому одно дело, когда А. Янов советует быть осторожным с режимом Брежнева, чтобы не попасть в положение лягушек, сменивших чурбан на аиста, и совсем другое — когда попытку повлиять на то же собрание чурбанов и аистов делает А. Солженицын в своем "Письме к вождям"). Спору с воззрениями А. Янова, не для него одного характерными, стоит посвятить немало усилий, но спор ли это, если ведущая мысль А. Солженицына — отнесение А. Янова к стоящей вне всякой полемики категории эмигрантов,

"которая уехала с острой ненавистью не к советскому строю, а к самой России, к самому народу, ... которая, может быть, и выполняет историческое задание. Они приезжают сюда не просто эми-

грантами, но как полномочные истолкователи, объяснители нашей страны, истории, народа, культуры — чего угодно. И характерная черта: они ловко попадают тут во вкус, в заказ — чего от них ждут, и вместе с тем их выводы всегда наилучшим образом полезны для коммунистического режима в СССР”.

И за фигурой А. Янова, за брезгливым “они” возникает кремлевский “социальный заказ”, длительная командировка, платежная ведомость. Не слишком ли просто и не чересчур ли утешительно? Существует, конечно, во всех странах несоветского мира мощная коммунистическая агентура, в том числе и в советологии и других гуманитарных науках. Однако для современного мирового исторического мышления типична и вполне искренняя увлеченность социалистическими фантомами и миражами, и это страшнее, чем “порученчество”. А. Солженицын говорит: “Я верю в наш народ на всех уровнях — кто куда попал”. Беда в том, что А. Янов причисляет себя к народу, в который А. Солженицын верит, в то время, как А. Солженицын его к этому народу не причисляет. Янов говорит о себе в своей книге как о “проклятом” русском интеллигенте, а А. Солженицын его между таковыми не числит.

Советский опыт свидетельствует, что почти любую позицию можно при желании истолковать как идеологическую диверсию. А. Солженицыну представляется, что А. Янов вооружен против православия, против права русских быть религиозными. Между тем Янов возражает лишь против тезиса, четко сформулированного в одной из публикаций либерального, по его же мнению, журнала “Вече”: “Русский человек может быть **только** православным”. Не менее четко этот тезис выражен и некоторыми авторами сборника “Из-под глыб”. С какого века он справедлив?. Почему не “только атеистом”, которых на Руси сегодня не меньше, чем православных? Или не “только коммунистом”? Кем и на основании чего это ограничение установлено? И куда девать (как куда-то девать?) неверующих и инаковерующих? А. Янов детально обосновывает неприемлемость такого определения национальности по религии (русскости по принадлежности к православию). Дело тут не в том, что по этому определению меня не пускают в русские — я в русские и не рвусь. Дело в том, что этим определением нынешнего многоплеменного (и даже чисто русского) **россиянина**, отдавшего уже треть населения гигантской страны противодействию и противостоянию (пассивному и активному) одному виду **моноидеологического** насилия (и еще от не-

го не освободившегося), отдают (пусть пока еще лишь теоретически) во власть другого вида столь же **моноидеологического насилия** (и на сей раз прикрытого не социалистической, а квази-христианской фразеологией). Между тем **духовное и практическое** (политическое, экономическое и т. п.) **единообразие в современном мире не может быть, да и никогда в истории не было насильственным**. Об этом А. Янов говорит многократно. Но этого стараются в его работах не замечать.

У А. Янова речь идет не о стремлении лишить русский народ **права** придерживаться традиционной для него религии. Речь идет о, казалось бы, уже бесспорном (после всех боев за него) **праве для граждан любой страны и представителей любого народа толковать понятие нации шире, чем понятие мировоззрения, в том числе и религиозного**. К несчастью, после того как расширительное толкование гражданства и национальной принадлежности **само по себе** человечества не осчастливило, **ре-акция** на нечудодейственность вчерашнего **абсолюта** веротерпимости обернулась (и все более оборачивается) оживлением позавчерашнего **абсолюта нетерпимости**, хотя он был скомпрометирован куда раньше.

На мой взгляд, А. Янов безусловно прав, когда говорит о программе ВСХСОН:

“Все гражданские свободы, как мы видим, декларированы. Беда лишь в том, что декларированы они и в Советской конституции. И взглянув на программу ВСХСОН под этим углом зрения, мы вдруг убеждаемся, что так же, как Советская конституция, не содержит она одной маленькой детали — а именно рабочего механизма, **гарантирующего реальное функционирование** всех этих свобод механизма, без которого их осуществление может превратиться в фикцию, пустое обещание. Иначе говоря, не может быть “свободы личности” без “европейского” демократического механизма власти”.

Во всех тех программах, групповых и индивидуальных, которые вызывают его возражения, А. Янов останавливается на **отсутствии** “упоминания и о политической оппозиции как о необходимом элементе рациональной структуры общества, обеспечивающем его развитие без катаклизмов, дворцовых переворотов, военных путчей и революций — “сверху” или “снизу”.

Он справедливо задает логичный и очень важный вопрос:

“Почему же многопартийная система, которая — при всех ее очевидных недостатках — все-таки является пока что единственной

известной человечеству гарантией свободы личности, почему она “безусловное зло”?” (слова в кавычках взяты из программы ВСХСОН, где сказано:

“Социал-христианская государственная доктрина рассматривает как **безусловное зло** такую организацию власти, при которой она является призом для соперничающих партий или монополизирует-ся одной партией”.)

Христианский социализм (или социал-христианская доктрина) ВСХСОН является вариантом социализма с человеческим лицом. Он надеется создать власть, одновременно и не конкурентно-демократическую, и не партократическую. Критика таких недемократических, авторитарных моделей грядущей России — центральная и наиболее важная часть размышлений А. Янова о вероятном будущем России. И именно эта критика обычно игнорируется его оппонентами. В лучшем случае ими утрируется его страх перед **теократическим православным** авторитаризмом, а не перед **авторитаризмом как таковым**, составляющий подлинную суть его опасений. Мне скажут, что его страхи безосновательны? Дай-то Бог... Но считать их преступными, по крайней мере, странно.

Чем начинает пугать человечество демократия. Религиозно-националистические писатели либерального склада хотели бы изобрести такой тип государственной организации, который не выродился бы в тоталитаризм и в то же время был бы свободен от узаконенной на Западе конкуренции различных партий. В этом смысле характерна прелестная оговорка В. Турчина (“Инерция страха”, “Хроника”, Нью-Йорк, 1978) о желательности **запрещения** партий, рвущихся к власти “**посредством голосования**”. Ведь и на самом деле: то Гитлера выберут, то Альенде — как тут быть?

А — не выбирать их! Ведь именно **при свободе выбора** и ставится перед нами во всей ее полноте проблема сознательности, **цивизованности**, проницательности нашего общего или хотя бы преобладающего **спроса**! В магазинах полно спиртных напитков, но матери же их вместо молока младенцам не покупают! Только в условиях свободы выбора может быть постоянно, каждый раз наново, осуществлено самое трудное, но и единственно спасительное — **самосовершенствование личности**, а значит **и общества**. Выбрать же раз и навсегда в нашем бесконечно и во всех направлениях изменяющемся существовании — невозможно.

И все-таки конкурентная демократия западного образца начи-

нает внушать человечеству все больше опасений и неприязни. И стремление свободно заговоривших русских мыслителей наново пересмотреть этот способ организации, прежде чем перенимать его для себя, вполне естественно и законно. Вряд ли следует этого пересмотра пугаться и принимать его за симптом любви к деспотизму.

Но почему демократия обретает в глазах и сторонних, и внутренних наблюдателей все больше сомнительных и даже отталкивающих черт?

Прежде всего потому, что она не принесла Западу разрешения от всех печалей. Этот повод для недовольства наиболее действенен и наименее, как мне представляется, убедителен.

А. Солженицын пишет:

“Уж Запад-то захлебнулся от всех видов свобод, в том числе и интеллектуальной. И что же, спасло это его?” (цитирую по книге А. Янова).

Свобода, “в том числе и интеллектуальная”, — это спасение только от рабства и ни от чего более. Но для спасения еще от многих неприятных вещей первое условие — свобода, в том числе и интеллектуальная. Солженицын же, в поисках “спасения” для России, противопоставляет внешнюю свободу — внутренней: “... свою внутреннюю свободу мы можем осуществить даже в среде внешне несвободной”.

До какого предела несвободной? И чего требует наша внутренняя свобода? Если только безмолвной и одинокой молитвы, то так оно и есть. Тут нам и советская власть не помеха. А если внутренняя жизнь требует свободы самовыражения, свободы духовного питания, свободы общения, свободы влияния на свое окружение? Борьбы со злом? Янов прав — тут Солженицын говорит то же самое, что Шиманов:

“Пора отказаться от нелепого предрассудка, будто тепличная атмосфера “свободы мнений” и “свободы творчества” является наилучшей для вызревания истины и большого искусства”.

В обоих случаях речь идет, в конечном счете, о том, что духовная свобода не нуждается в общественно-политической свободе и ею не предопределяется. Да, конечно, и в условиях общественно-политической свободы возможно отсутствие духовной свободы и даже духовной жизни. Но ведь в условиях тотального рабства они невозможны вообще; в условиях же не-рабства они, хотя и не предопределены, но, по крайней мере, возможны...

Суть шимановской доктрины А. Янов определяет абсолютно точно:

“...инакомыслящий, открыто проповедующий тоталитарное подавление инакомыслия”.

Для мирового и российского политического мышления это не ново: таковы все грядущие деспоты в пору их движения к власти.

Солженицын, однако, видит зло не в свободе самой по себе. Продолжая традицию русской критики западной демократии, он удручен **подменой свободы своеволием**. Демократия перестает защищать себя и нравственную, законопослушную (в демократических рамках) личность от агрессивности (своеволия) как собственных аморальных и асоциальных лиц и групп, так и внешних, враждебных свободе сил. При юридически равных правах, которые она предоставляет **всем**, возникает естественный перевес цепких, наглых и аморальных. Эту тенденцию демократии уже нельзя игнорировать.

Пугающей является и еще одна черта западной демократии — ее несомненное для многих скатывание в монополистскую ситуацию, все более близкую к советской. Как не опасаться и этой особенности демократии? Как не гадать, неизбежно ли такое скатывание?

А. Солженицын и близкая к нему часть критиков демократии напряженно ищут приемлемой для России альтернативы советскому строю. Как же не быть им напряженно чуткими то ли к болезненным отклонениям, то ли тупикам демократии? Иными словами, критическое или настороженное отношение ряда русских мыслителей к западной демократии объясняется серьезными затруднениями и парадоксами самой демократии, а не только (как представляется А. Янову) национальной психологией этих мыслителей.

А. Янов ничьей свободе и самобытности не угрожает, ибо ни на какой моноидеологизм не претендует. Из всего, что им написано и что расценивается им самим как ряд гипотез, мне представляется действительно опасным лишь выделение им советского строя в область загадочных национально-психологических феноменов, в то время как мы имеем здесь дело с угрожающей **общемировой тенденцией** (принявшей, естественно, в различных регионах различные национально-конкретные формы). Но это заблуждение характерно

не только для А. Янова: оно высказывается очень часто в самых разных кругах, и с ним надо спорить.

Остается надеяться, что участники такого спора (и упомянутые, и не упомянутые в этой статье) все-таки встретятся когда-нибудь на единственно плодотворной почве — желания понять и убедить, а не только разоблачить друг друга.

В ЗАЩИТУ СЕМЕНА ГЛУЗМАНА!

Киевский психиатр Семен Глузман был арестован в мае 1972 года по обвинению в антисоветской деятельности. Действительной причиной его ареста была заочная психиатрическая экспертиза, проведенная им по "Делу генерала Григоренко", в которой Глузман неопровержимо доказал лживость диагноза советской официальной психиатрии. Глузман был одним из первых, кто поднял голос против начинавшейся тогда практики психиатрической расправы с инакомыслящими. Поэтому по приказу из Москвы ему был вынесен особо жестокий приговор: 7 лет лагерей и 3 года ссылки.

Семь лет Глузман провел в пермском лагере № 35 вместе со многими активистами еврейского и других национальных движений. Здесь он осознал свое еврейство и связь с Израилем и здесь же, в тесном сотрудничестве с политзаключенными других национальностей, принимал активнейшее участие в почти непрерывных демонстрациях, забастовках и голодовках протеста, прославивших пермские лагеря.

В 1979 г. Глузман вышел на поселение. Он весил тогда 47 кг, и его ссылка началась с длительного лечения в больнице.

Сейчас жизни Семена Глузмана снова угрожает опасность. Его здоровье подорвано длительными сухими голодовками в лагере; он изолирован от друзей; ему не доставляют посылок, книг и писем.

Борьба психиатров всего мира за досрочное освобождение Семена Глузмана продолжается. Присоединяйте свой голос к этой борьбе. Пишите ему: СССР, 626020 Тюменская обл., пос. Нижняя Тавда, почта, до востребования, Глузману С. Ф.

...В купе экспресса "Киев-Москва" я коротаю последние минуты перед отходом, с тоской отводя глаза от пока единственного моего спутника. Он уже аккуратно расстелил постель, переобулся в шлепанцы больничного цвета, и теперь, оживленно потирая сухонькие ладони, терпеливо ждет обещанного чая.

В предыдущие десять минут я узнала, что он — счетовод с приличной зарплатой и семьей — пролежал месяц в одной из киевских клиник, а в столицу едет, чтобы обжаловать (он так и сказал: "обжаловать") диагноз киевских врачей.

Но при взгляде на обтянутое серой кожей лицо, на ворот рубашки, слишком свободно болтающийся вокруг шеи, на волны уже привычной боли, то и дело корежившей бесплотное тело, — было ясно, что киевский диагноз — окончательный и обжалованию не подлежит.

Я с надеждой поглядывала на два пустующих места, ожидая избавления от второго круга повествования с эпическими подробностями анализов, осмотров и недосмотров.

Избавление пришло, но, как это часто бывает, оказалось не многим лучше.

...Они вошли с мороза, покрасневшиеся, наполнили купе запахом начищенных сапог, кофьяка и одеколona "шипр".

Майя Каганская

ЗАГОВОР РАВНЫХ

Я не очень-то разбиралась в звездах и звездочках, но по густому начальственному матерку, по тому как сразу вспыхнул свет в коридоре и празднично застучали каблучки проводниц, по двум стаканам дочерна заваренного чаю, который уже вносили в купе, — я мысленно присвоила обоим чин не ниже майорского. Были они молоды, щекасты, коренасты. И, судя по отрывочным репликам, направлялись в какую-то содружественную колонию.

...В своих многочисленных разъездах я выработала тактику обороны от разудалого интима, к которому так склонна колесная Россия, от неписаного закона, по которому физическая смежность в тесном пространстве предполагает душевную близость, обмен исповедями и адресами, признаниями и поучениями.

Глядя на переполненные вокзалы больших и малых городов, я думала подчас, что железные дороги нужны людям, чтобы поскорее дорваться до вагонного уюта и первому встречному (не тем хорош, что первым встречен, а тем, что встречен в последний раз) сочинить свою жизнь, какой ее хотелось, да так и не удалось прожить.

Тактика моя не всегда себя оправдывала, но другой не было, и, забившись в угол, я вытащила из сумки что-то книжно-журнальное и изобразила предельную умственную сосредоточенность, которая должна была оградить меня наподобие ситцевой занавески, отделяющей угол молодоженов в комнате на три семьи.

Не успела я сама толком разобрать, что за книжный улов мне достался, как стена отчуждения, столь ловко мною возведенная, была пробита с такой же легкостью, с какой срывают ситцевую занавеску.

— Интеллигентная на вид девушка, а такую, извините за выражение, пошлость читаете...

Тупой короткий палец с прокуренным ногтем тыкал в журнальную страницу, по которой рассыпались редкие строчки. На одной из них палец замер: "Постель была расстелена, а ты была растеряна..."

...Евтушенко я не любила. Если бы не восторженное поклонение моих сверстников, его стихи слились бы для меня с грудой поэтических имен и книг, равнодушие к которым приравнивает их несуществующим. Но небывалый его успех у тех даже, с кем еще недавно вместе читали Блока и Баратынского, превратил равнодушие в замешанное на ненависти любопытство, заставлял вчитываться в каждое новое стихотворение, каждый раз вызы-

вавшее недоуменный вопль: как, за что, почему можно эти, такие стихи — любить?

Но не было, наверно, у Евтушенко поклонника более страстного и восторженного, чем я в тот вечер, в купе экспресса “Киев-Москва”, один на один с искусствоведами в погонах, ценителями и ревнителями отечественной словесности, верными защитниками ее девственных границ от позеров и фразеров, гаеров и фраеров, стилиг и “Чайльд-Гарольдов с Тверского бульвара”* (“Чайльд-Гарольд” он так и не сумел произнести, получилось смешно: “Чай-Гарольд”).

Не Евтушенко я защищала — себя. И плевать мне было, что позиция моя — неискренняя (боевые позиции искренностью ли удерживают?), что собственные аргументы я могла бы разбить с легкостью (но не по своим же артиллерии бить!): истина была не в моем отношении к Евтушенко, а в их к нему и в моей к ним — ненависти. И пока с “таким” (с Евтушенко то есть) “в разведку ходить нельзя”, пока даже до (и без) испытания боем можно его сразу “шлепнуть”, пока строку нужно пробовать не “на зуб” — вкуса, а на огонь и железо, — правда на его стороне, на стороне “расстеленной постели”, “рыжей челочки” и “каблукчов-иголочек” (После “Прекрасной-то Дамы?!” — “Да хотя бы и вместо!”). Только бы не эти бычьи затылки, не рыкающие голоса имперской черни, не опрокинутая поллитровка, из которой так нудно выцеживается на пол остаток водки!.. Только не эта пьяная злоба ко всему, что не они, не их бронетанковый мир и матерный мор!..

...Охрипнув уже, спрашиваю: а кто ж — поэт? Первым, конечно, называется “певец империи и свободы”**. Потом, неуверенно — Маяковский. Единогласно: Щипачев.

Оглядываюсь на третьего, во все время схватки молчавшего спутника: не по вкусам, не по взглядам, так по неприязни своей плоти, уже меченной, уже умудренной смертью, к этим пудам мяса и мускулов, может, будет он на моей стороне, хоть Есенина вспомнит? Какое там!.. Глаза его светятся отцовской гордостью, он их — в гроб сходя — благословляет, и, случайно переведа на

* “Чайльд-Гарольды с Тверского бульвара” — так называлась статья, направленная против совсем еще юных тогда Евтушенко, Ахмадуллиной, кажется — Юнны Мориц и других, которых не помню, опубликованная не то в 1957-м, не то в 58-м году не то в “Комсомольской правде”, не то в “Литературной газете”.

** Название статьи Г. П. Федотова о Пушкине.

меня взгляд, замороженно прикованный к их распаренным торжествующим лицам, он, качнувшись в мою сторону, завещает: "Любовью дорожить умеете!.."*

...Я наткнулась на это воспоминание, отдающее коньяком и шипром, вороша память в поисках образов или аналогий, чтобы осмыслить странно знакомое чувство, которое вызвала у меня статья Бориса Парамонова "Парадоксы и комплексы Александра Янова" (журнал "Континент" № 20). Автора я знала по публикациям, по ним и полюбила, почитая одним из самых независимых и блестящих умов нынешней эмиграции.

Напротив, к Александру Янову, с которым, как и с Борисом Парамоновым, я тоже знакома только по публикациям, накопилось у меня немало читательских претензий. Я отдаю должное его журналистской хватке и беллетристической легкости — качествам, не столь уж расхожим в свободной русской публицистике, которая чаще греет обличительным жаром, чем светит литературным даром (а по мне — где светит, там и греет). Но ни разу не была я ни убеждена, ни побеждена яновскими историософскими построениями. И не потому, что обладаю собственной концепцией русской истории. (О, разумеется, она у меня есть, но не в этом дело: кто нынче не носит такую концепцию в кармане, вытягивая ее оттуда по мере надобности вместе с концепцией мирового исторического процесса в целом?)

Изобилие глобальных концепций привело (по крайней мере, для меня) к инфляции их ценности, которой немало способствует перепутанность цеховых вывесок: математики и физики, презрев завет Ньютона, во-всю ударились в метафизический разгул; литераторы поучают политиков и генералов; политики торопливо листают Священное Писание в поисках руководства к действию; социологи составляют логарифмические таблицы и периодические системы... Все смешалось так, что счастливую семью уже не отличить от несчастливой.

Из своего читательского угла наблюдая за этой неразберихой, я твердо решила придерживаться читательского же опыта: до-

* Воспоминание мое из разряда лично-случайных внезапно перешло в ранг исторически и социально значимых: в № 6 журнала "Синтаксис" опубликована статья А. Янова, где он доказывает и показывает, что та сила, на которую рассчитывает и намерен опереться А. Солженицын в проектах будущих преобразований возрожденной России, — это ее нынешнее советское офицерство.

верить вкусу (своему) и оценивать любой текст как текст, а не воплощение или искажение абсолютной истины.

В концепциях А. Янова меня прежде всего не устраивает гладкость его текстов, подозрительная готовность, с которой историческая ткань принимает в них форму заранее заготовленной модели. Трещит кроющаяся материя, видны швы... История притихла, уступив место искусству кройки и шитья.

Но ведь это не одного Янова достижение: его оппоненты начинают с того, что критикуют яновскую модель, и заканчивают предложением собственной, такой же сшитой, но на другой "размер", другую потребность.

Увидев имя Бориса Парамонова в роли очередного (а для меня — давно ожидаемого) критика А. Янова, я заочно, до чтения, была с ним согласна. Не потому, что именно от него ждала окончательной разгадки русской загадки (в такую "окончательную разгадку", как и во все "окончательные решения", — не верю и боюсь их), но в надежде, что и мой "индивидуальный заказ", наконец-то, выполнен.

"Заказ" действительно выполнен, но это не мой заказ. Такой вот парадокс. Начался он с "восстания чувств": прочитав о комплексах и парадоксах А. Янова, захотела я тут же его — защитить.

"Солженицын, — пишет Б. Парамонов, — как говорится, в моей защите не нуждается. Не собираюсь я также, в противовес Янову, излагать подлинную позицию Солженицына своими словами — она изложена им самим".

Я тоже не собираюсь, в противовес Парамонову, излагать подлинную позицию Янова — потому, хотя бы, что Парамонов, на мой взгляд, изложил ее верно (тон изложения пока опустим).

Нет, не яновская позиция, а сам Янов, в резкое отличие от Солженицына, нуждается в защите. И для начала я хотела бы ограждать его от брутальных окриков, разыгранных, как благородное негодование в защиту "угнетенной невинности":

"Понимает ли Янов, что он говорит? Или, привыкнув однажды плевать в лицо русской церкви, он никак не может от этого освободиться?"

К сведению читателей: у А. Янова, в пересказе самого же Б. Парамонова, речь идет вовсе не о русской церкви, но о журнале "Молодая гвардия", про который Янов выразился, что он (журнал) "продолжает искушать терпение Брежнева колокольным звоном".

Не могу поверить, чтобы такой искушенный читатель (не говоря даже — автор), как Б. Парамонов, не увидел в яновской фразе то, что на самом деле в ней есть, а именно: несложную игру

слов, где “колокольный звон” — одновременно метафора церковно-православной темы на страницах молодежно-комсомольского журнала и — намек на герценовский “Колокол” как обобщенный образ журнала оппозиционного. Или, навязав однажды Янову ампулу “мальчика для битья”, Парамонов нигде “не может от этого освободиться”?

Янов, похоже, действительно не поклонник русской церкви; возможно, он “плюнул ей в лицо” (что нехорошо), — но тогда нужна прямая подтверждающая цитата; не исключено также, что неправославный (“плюс”, то есть “минус”, — не русский) вообще в русскую историю соваться не должен и понимать ее не может. Но тогда — почему не сказать об этом прямо, не утруждая себя и читателя привычно-приличной видимостью научной полемики с применением анализа логического (“парадоксы”) и — новинка! — фрейдистского (“комплексы”) ?!

Мне хотелось бы защитить А. Янова от обвинений в лицемерии, неискренности, профнепригодности и еще в чем-то похуже, для чего слово найти можно, но не хочется, и что явственно носится в раскаленном праведным гневом воздухе парамоновской статьи:

“Нет, не похож Янов на печальника русского народа” ... “Я сильно сомневаюсь в симпатиях Янова по отношению к незванным Иванам Денисовичам”... “Теперь окончательно понятно, зачем понадобилось Янову обоглять и очернить Россию”... “Русским националистам Огурцову и Осипову “мягкий” режим Брежнева дал тюрьму, Солженицына изгнал из родной страны. Янову он дал возможность перебраться из Москвы в университет Беркли и пропагандировать его благоденствия”.

Сказано: не стоит швырять камни человеку, живущему в доме со стеклянной крышей.

Не могу, не хочу и не думаю упрекать Б. Парамонова в том, что и он ведь отвечает А. Янову не “из глубины сибирских руд”... Но “сильно сомневаюсь” в том, что он, Б. Парамонов, профессиональный философ (имею в виду не полученное образование, а истинную склонность и призванность ума), в объяснении парадоксов яновской историософии искренне нуждается в “найме и прокате” идей Солженицына-Шафаревича и не имеет собственных.

Не намекаю я и на то, что догадываюсь или знаю причины внезапной интеллектуальной несамостоятельности автора, к ней до сих пор абсолютно не склонного. Не знаю и не догадываюсь.

Но на одной, только одной брезгливой ужимке Парамонова я все же хочу задержаться:

“Янов, наверно, как всякий уважающий себя “образованец”, читал Томаса Манна, а частности, его роман “Доктор Фаустус”...”

Дальше выясняется, что и Б. Парамонов, конечно, читал Томаса Манна (еще бы нет!), в частности, его роман “Доктор Фаустус”, и внимательно читал. При этом само собой разумеется, что Б. Парамонова чтение Томаса Манна уличить в “образованщине” никак не может.

Почему?

Потому ли, что автору “Парадоксов и комплексов...” хорошо в большой тени автора бранного термина?

Или потому, что перечень имен (Соловьев, Бердяев, Федотов, Леонтьев), с помощью которых (точнее: которыми) Парамонов устраивает Янову разнос и чистку, принадлежность к “образованщине” — исключает?

Вряд ли: Парамонов знает, не может не знать, что и В. Соловьев, и Бердяев с Федотовым, и Леонтьев с Солженицыным сегодня так же входят в “круг чтения” “образованца”, как позавчера — Томас Манн. “Образованский ценз” — он тоже меняется.

Логика Б. Парамонова, очевидно, иная: не потому А. Янов “образованец”, что читал Томаса Манна, а потому он не понял Манна, что — “образованец”. Иначе он, Янов, — пишет Парамонов — вспомнил бы об одном из персонажей “Доктора Фаустуса”:

“умном, хотя и неприятном Хаиме Брейзахаре, выводившем эти самые (фашистские — М. К.) тенденции эпохи из поворота ее ... к самой что ни на есть седой древности: ветхозаветной древнеиудейской идее нации как кровного союза. Вообще вопрос о корнях и почве сложный вопрос, он не под силу Янову” (выделено мной — М. К.).

Подтекст этого туманного пассажа и зловещего намека я лично могу перевести на Язык Предельной Ясности* только таким образом: Янов постоянно предупреждает Запад об опасности русского фашизма. Сознательно — утверждает Парамонов — искажая факты и русской истории, и текущей русской действительности, Янов выводит эту опасность из традиционной националистически ориентированной “русской идеи”. Между тем Янов забывает, или не знает, или, что всего вернее, не хочет знать о двух важнейших, даже решающих обстоятельствах: во-первых, фашизм — не просто ярлык, наклейка, используя которую “наклейщик” (Янов) за-

* Выражение из романа А. Солженицына “В круге первом” с сохранением авторской орфографии.

ставляет травмированное фашизмом западное общество в ужасе отшатываться от русского национализма, якобы фашизмом чреватого.

“Надо помнить, — пишет Парамонов, — что он (фашизм — М. К.) был движением эпохи, знаком времени и имеет очень много разнообразных корней”.

Во-вторых (я все еще перевожу парамоновский подтекст в свой текст), если даже фашизм действительно так мерзок, как принято думать, именно Янову, как **еврею**, полагалось бы проявить большую деликатность: ведь в числе “разнообразных корней” фашизма — идея “избранного народа”, “ветхозаветная древнеиудейская идея нации как кровного союза”, на что, в частности, указывал еще любимый “образованцами” писатель Томас Манн (но Янов, по “образованству” своему, не обратил на это указание должного внимания). Короче, “мораль сей басни так ясна”: дескать, чем в других фашизмом тыкать, “не лучше ль на себя...” и т. д.

С тем же простодушным вопросом обращаюсь к Б. Парамонову: отчего, гневно осуждая яновское нежелание нравственно оценивать прошлую и настоящую историческую реальность, Парамонов по отношению к фашизму ограничивается указанием на “движение эпохи” и “знак времени”? Я не требую нравственного суждения (о, конечно, предполагается, что среди порядочных людей, к коим все принадлежим, суждение по данному вопросу тождественно осуждению), но все же недоумеваю: а что — не “знак времени”? что — не “движение эпохи”? Если не про всякую действительность скажешь, что она разумна, то, по крайней мере, свойство действительности за ней остается. Все действительное — действительно, и в этом своем качестве, конечно, “знак” (чего?) и, конечно, “движение” (какое? куда?). И социализм — “знак времени”, и коммунизм — “движение эпохи”. От философской публицистики читатель вправе ждать определений более внятных: жанр обязывает.

Факт неоспоримый: XX век столкнулся с двумя реализованными тоталитарными идеологиями: фашизмом и коммунизмом. А тоталитаризм, по справедливому определению Парамонова, “потому и называется тоталитаризмом, что характеризуется тотальным подавлением на базе идеологического мифа всех сторон общественной и личной жизни”.

Согласится ли Парамонов с тем, что некоторые социалистические и коммунистические идеи сами по себе приемлемы и мифо-

логической тени не отбрасывают? Уверена — не согласится. Тогда почему же “мысль о необходимости корпоративного устройства общества”, содержащаяся в программе ВСХСОН и давшая Янову повод назвать эту программу фашистской, таким поводом — как утверждает Парамонов — не является?

Оставим ссылки Парамонова на Бердяева, у которого — если верить Парамонову, — ВСХСОНовцы корпоративную идею позаимствовали.

Оставим и парамоновскую критику Бердяева, который, по мнению Парамонова, совершил ошибку, для философа недопустимую: правильно подметив и описав фашизм, как “тенденцию”, “знак” и “движение эпохи”, он зачем-то еще его и оценил (положительно).

Но ведь независимо от Бердяева и его оценки “мысль о корпоративном устройстве общества” — не академическая греза одинокого мыслителя, но реальность, связанная с теорией итальянского фашизма! Вывод Парамонова:

“Все это (то есть итальянский фашизм и ошибка Бердяева — М. К.) еще не бросает тень на идею корпоративного устройства общества”.

А по-моему — бросает, и весьма черную. И даже не из-за “опасных связей” с итальянским фашизмом в неверной оценке Бердяева, а по сути: “мысль о необходимости ... устройства общества” на основе одной идеи есть мысль тоталитарная, безразлично, “корпоративная” это идея, коммунистическая или религиозная. Общество, устроенное “по идее”, — это идеологическое общество, оно же — по опыту и размышлению — никогда не бывает “одной идеей живо”, но только цельным идеологическим мифом, тотальным по замыслу и тоталитарным по исполнению.

Я только художественные мифы люблю, идеологические — ненавижу; я люблю мифологию как индивидуальный образ мыслей (художественных) и ненавижу как коллективный образ жизни. Между эгалитарным мифом коммунизма (на практике эгалитарность, как известно, не помешала созданию элиты хамья и черни) и элитарным мифом “корней и почвы” (элитарность которого не воспрепятствует эгалитарности, поскольку миф все равно рассчитан на коллективистское — “соборное” — устройство общества), между этими двумя “идеологическими мифами” я выбирать — отказываюсь.

А, похоже, только такую альтернативу — как реальную — и склонен рассматривать Парамонов.

То, что до сих пор не удавалось Янову: теоретически доказать связь русского национализма с возможностью русского фашизма — удалось Парамонову. Своей статьей он мне эту связь не доказал, а — **показал**. Это — его парадокс. И его заслуга.

А теперь — о “разнообразных корнях”, “источниках” и “составных частях” фашизма, к которому и евреи “руку приложили” (как игумен Пафнутий — неведомо к чему в каллиграфической пробе князя Мышкина) ... С, как бы мне хотелось, подобно героине романа, высокомерно бросить: “Я в торги не вступаю!” Ни в торги из-за еврейской роли в трагедии русской революции, ни в торги из-за еврейской роли в мистерии немецкого национал-социализма (а, кстати, как там с фарс-гиньолем итальянского фашизма? Неужто без нас обошлось?!)

Роль *femme fatale* мировой истории навязла в зубах. Пора становиться добродетельной матерью собственного семейства, ну, хоть для разнообразия, чтобы свой актерский дар испытать. И, уходя, “под занавес”, напомнить, что “жар соблазна” в такой же (а то и большей) мере исходит от соблазненных, как и от соблазнительей.

Некоторые слова, хотела бы я сказать, по логике языка требуют после себя творительного падежа. Например, словосочетание “избранный народ” предполагает вопрос: “кем?” и ответ — “Богом”. А фраза о “ветхозаветной древнеиудейской идее нации как кровного союза”, которая орфографически завершается у Парамонова энергичной точкой, интонационно повисает расслабленным многоточием: не указано, с кем именно заключен этот “кровный союз”, не отвечено: “с Богом”.

В тех же случаях, — продолжила бы я, — когда народ не избирается Тем, чье имя все не произносится, а сам (в лице “лучших своих представителей”) провозглашает себя избранным, — получается самозванство: русский “народ-богоносец” или немецкая “раса господ”. Так и Моцарта можно посмертно обвинить: зачем своим избранничеством искушал? И Сальери реабилитировать: тоже композитор, член Союза, а после убийства Моцарта — даже и кровного.

Все это я могла бы сказать — но не говорю. Я не чувствую себя героиней романа, персонажем, живущим в рамках устойчивого сюжета с его заранее известными поворотами, распределением ролей и отзывом критики. Сюжет мой не литературен, к тому еще неустойчив, намерения Автора неочевидны и, положив руку на

сердце, я не могу сказать, чтоб так уж любила Его “замысел упрямый”, а соглашусь я или не соглашусь играть роль, — у меня не спрашивают. И потому *избранничество* из сферы понятий и аргументов в навязанных спорах я перевожу в область только личных переживаний, догадок и предчувствий.

Подмена переживания избранничества доказательством его — это, на мой взгляд, и есть подмена личностного (художественного) мифа мифом коллективным, идеологическим.

Хорошо, удобно быть персонажем: мышление предопределено автором, поведение — образом. Почему, скажем, человек, столь изысканного (в других статьях) стиля, как Борис Парамонов, так нарочито, “нараспашку” груб с Александром Яновым? Да потому, что Парамонов “в образе”, он — под надежной защитой того классического русского сюжета, где либералу Янову традиционно отведена роль лакея, “мальчика для битья”, где от Достоевского до Ленина нет к либералу иного отношения, кроме грубо презрительного, иного обращения, кроме грубо издевательского, иного способа полемики, кроме “выведения на чистую воду” и “срывания всех и всяческих масок”.

Решительно и без оглядки ступив на твердую “континентальную” почву, Парамонов так “выгрался” в роль персонажа, что только на персонажей ссылается: Хаим Брейзахер из Томаса Манна (об иудейских корнях фашизма), фон Корен из Чехова (об ужасах просветительского рационализма).

Ссылка на персонаж как источник некоей объективной, вне текста расположенной идеи, без соотнесения с авторским замыслом, — сегодня такой же анахронизм для философа, как и для литературоведа.

Рассуждениям **манновского персонажа** я могла бы противопоставить самого Томаса Манна: выступление 1945 года “Германия и немцы”, где дух немецкого национал-социализма выводится только и прямо из духа немецкой романтической культуры, интерпретированной массовым сознанием, им же и превращенной в идеологию черни и политику подонков. В отличие от Парамонова, утверждающего, что “насильничество” советской власти “идет как раз от ее чуждости “почве” — нет у нее иных способов удержаться в чуждой геополитической среде” (и это утверждение Парамонова — расковыренная цитата, общее место из Солженицына-Шафаревича, подлинных авторов идеологической фабулы парамоновской статьи) — в отличие от этой детективной и авантюрно-

приключенческой концепции отечественной истории (“заговор”, “нашествие”, “захват”, “героическое сопротивление”), Томас Манн объясняет террористический характер гитлеровского режима укорененностью его в столь глубоких подпочвенных слоях, что именно выход их на поверхность и привел к катастрофе: “корни и почва” столь же основание культуры, сколь и возможные причины ее гибели.

С Томасом Манном можно и не соглашаться — прежде всего, из-за метафизичности, чистой культурологичности его анализа: Третий рейх, конечно, был не только культурологическим, но и социальным и психологическим феноменом.

Между издержками и пороками “демона музыки”, владевшего по Томасу Манну немецкой культурой, и лагерной музыкой, сопровождавшей очереди в газовую камеру, такая же пропасть, как между тяжелым экономическим положением послеверсальской Германии и аккуратными пирамидами из детских башмаков и колясок на лагерных складах. Пропасть, которую не перепрыгнуть воображению, которую не осилить сознанием. Именно поэтому метафизическому анализу я доверяю больше, чем любому научному: неразгаданная загадка предпочтительней ложно-успокоительной разгадки.

Стало быть, не парамоновскую метафизику я отвергаю, но ее качество, не метод (в идеале — бердяевский и манновский), но исполнение: отказ от авторской ответственности, “персонажность” концепции, при которой собственный народ и собственная история ставятся только в старательном залоге, рассматриваются только как объект чужого замысла: “марксизм, поработивший страну и десятилетиями ее убивающий...” Ироническая параллель к парамоновской историософии — “персонажность”, тотальная цитатность его собственного стиля и мышления, без попыток создать свою концепцию, хотя бы и метафизическую.

Провалы в метафизике заполняются мифологией: марксизм — чересчур общее понятие, не вызывающее конкретных зримых ассоциаций. К тому же у марксизма, как и у фашизма, слишком много “разнообразных корней”, из которых один и отнюдь не самый слабый — все тот же немецкий романтизм, что блестяще доказал сам Парамонов в статье “Культ личности” как тайна марксистской антропологии”. Немецкий романтизм, овеванный “демоном музыки”, в качестве поработившей Россию идеи, “десятилетиями Россию... убивающей”? Нет, слишком далеко, слиш-

ком холодно... Есть другой и уже бесспорный, признанный "корень зла": "Ленин в Цюрихе", — иронически пересказывает А. Янова Парамонов, — не художественное произведение, а политический манифест" с единственной мыслью о "жидо-масонском заговоре". Контрдовод Парамонова: "... а о действительной, документально подтвержденной роли Парвуса и германского генштаба в русской революции Янов — ни слова".

Стало быть, "документально подтвержденная роль Парвуса и германского генштаба в русской революции", от которой Янов так же отвернулся, как в другом месте от рассуждений "умного, хоть и неприятного Хаима Брейзахера", должна — что? доказать существование жидо-масонского заговора? или какого-нибудь другого, но с неизменным участием первой половины (Парвус-то еврей!)? А как быть с германским генштабом? Пустяки. Если "ветхозаветная древнеиудейская идея нации как кровного союза" сумела пустить корни в германской почве, то почему другой ветхозаветной иудейской идее — "беспочвенно" мессианской — не попытаться пустить корни в почве русской, прихватив по дороге лопухий германский генштаб, который, разрушая Россию, "объективно" работал на иудейский мессианский универсализм, не подзревая о том, что через несколько лет окажется во власти иудейского почвенничества?

Возразят, что ничего такого у Парамонова не написано, что я "читаю между строк", одним словом — приписываю, а, стало быть, искажаю. Я не приписываю, я — прописываю и думаю, что не искажаю: в том круге идей, внутри которого, ни разу не прочерчивая собственной орбиты, вращается мысль Парамонова, понимание марксизма как "секуляризованного юдаизма" со всем сопутствующим такому пониманию аккомпанементом настолько разработано, что Парамонову нет нужды специально ссылаться на имена и концепции, а мне — делать вид, что я не вижу логической связи в его периодах. Цитаты (я имею в виду не только заемную фразу, но и заемную мысль) цементируют не слишком пригнанный текст парамоновской статьи, прочерчивают логику, намеченную пунктиром.

Автор не отвечает за все чувства, ассоциации и аналогии, которые его текст вызывает у читателя, но он отвечает за их направление (в прямом, "компасном", а не в переносном смысле). Если, скажем, автор описывает переход Суворова через Рубикон, а читатель при этом видит женскую грудь, — помочь может только Лига сексуальных реформ. Но если мне, хотя бы вскользь и по кос-

венному поводу, намекают на то, что “ветхозаветная иудейская идея” спровоцировала фашизм, — я вправе и даже обязана продумать эту мысль до конца.

Меня не утешает некоторая симпатия или, по крайней мере, готовность “понять”, которую Парамонов проявляет к европейскому фашизму (а заодно, стало быть, и к “ветхозаветной идее”): мое собственное понимание этого “знака времени” ничего, кроме абсолютного неприятия, не содержит.

Я также не могу и не хочу отделяться указанием на сходство парамоновского намека с темой, излюбленной советским официальным (и неофициальным) антисемитизмом: “Фашизм под голубой звездой” — темой, которая тонкую метафизику “корней и почвы” довела до дубовой “диалектики” тезиса: “евреи сами себя загнали в газовые камеры”.

Указание на такое сходство само по себе ничего не объясняет, хотя в нашей “свободной” (точнее — русскоязычной эмигрантской) прессе к очередному советизму полемисты бегут с архимедовым возгласом “Эврика!”; слишком часто, застучав кого-нибудь на “советском”, тем и удовлетворяются: “Мы победили, и враг побежит!” А, по-моему, в этом месте нужно ставить не пулю точки, а честный вопросительный знак. Поэтому и сходство изящного (в сравнении) парамоновского намека с сапожно-прямолинейными статьями “Правды” заставляет меня не перечеркнуть Парамонова, а внимательней отнестись к “Правде” (и к Парамонову тоже).

Я загипнотизирована сведением в одном словесном пространстве двух персонажей из двух ничего общего между собой не имеющих книг: Хаима Брейзахера и Александра Парвуса. Я не могу избавиться от ощущения, что позитивная часть парамоновской статьи, то есть та, где концепции Янова противостоит парамоновская, написана под знаком сопоставления этих двух персонажей.

В рамках парамоновской (условно говоря) метафизики исторический урок германского фашизма должен выглядеть примерно так: бесплотным Агасфером скитается по миру иудейская идея в поисках мощного национального тела, в которое она могла бы внедриться и заставить выполнять свою волю и предназначение. Охваченный (зараженный) чуждой идеей, национальный организм гибнет, увлекая за собой (возмездие!) и материальных носителей чуждой идеи (то, что евреи в газовых камерах погибли раньше, чем Германия под гусеницами советских танков, несущественно:

хронология в метафизике не так уж и важна, с высшей точки зрения следствия предвосхищают причины).

Впрочем, намекает Парамонов, этот итог еще не компрометирует саму идею “корней и почвы”; сама по себе эта идея хороша, но — только в том случае, если “кровь и почва” (то есть национальная идея, национализм) слиты с идеей религиозной. Но германский национализм (фашизм) отказался от религии (христианства) и тем самым обрек себя на гибель. “Дело Хаима Брейзахера” закрыто.

Урок этого дела таков: на угрозу космополитического, скитающегося по свету (“куда бы вторгнуться”) иудейского мессианства, набросившегося теперь на русское национальное тело (“революция”), растлившего и погубляющего его (“советская власть”), возможен только один спасительный ответ: возрождение **русского** почвенничества, которое, в отличие от германского, воскресит также и национальную религию — православие (см. “Народ-богосец”). А как быть с материальными носителями “чуждой идеи” на сей раз? — Открыть “Дело Парвуса” по обвинению вышеупомянутого (вышеупомянутых) в заговоре с целью... Вторым обвиняемым в этом деле, естественно, должен быть западный либерализм, западный рационализм (“масонство”) — ведь именно с Запада вторгся в Россию марксизм... Но, поскольку Запад потому и называется Западом, что всегда находится за границей и потребовать его выдачи не у кого да к тому же еще этому историческому баловню отведена на предстоящем процессе роль арбитра (“Западу, — говорит Парамонов, — остается только выбирать, кому верить: Яновым или Шафаревичу с Солженицыным?”), то основное внимание сосредоточивается на первом обвиняемом, у которого еще и то бесспорное преимущество, что он всегда под рукой. Пухнет досье, накапливаются обвинительные материалы, подшиваются разоблачительные документы. Честь отыскания и публикации одного из них принадлежит самому Б. Парамонову. Этой публикацией он и завершает свою статью о “Парадоксах и комплексах” Янова: “Следование разбираемому автору, которое я обещал в начале статьи, требует в конце ее поместить какое-нибудь “приложение”. Охотно делаю это”.

Эта мотивировка, конечно, — композиционный камуфляж, который снимается тремя строками ниже:

“Выбранный мною документ... показывает, какие резоны имеются у русского национально-религиозного возрождения, помимо мечты об “автокра-

тии", и какой счет нация и религия могут со временем представить сильно передовой интеллигенции".

Документ, извлеченный Б. Парамоновым из полного собрания сочинений В. Маяковского, представляет собой обращение в Московский совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов от 25 марта 1924 года. В обращении "группа товарищей" просит вышеозначенный Совет дать ей, "группе", возможность похоронить Любовь Сергеевну Попову по гражданскому, а не церковному обряду, как того хочет семья покойной, поскольку им, товарищам, проработавшим и продружившим с покойной долгие годы, доподлинно известно, что "она была убежденной, последовательной и выдержанной атеисткой и материалисткой".

Подписи (в том порядке, в каком они проставлены в обращении): Брик, Маяковский, Асеев, Радченко, Степанова, Жемчужный, Сенькин, Клуцис, Быков, Кушнер, Лавинский.

Я утверждаю, что выражение "сильно передовая интеллигенция" — эвфемизм, за которым — стремление еще раз "документально подтвердить" роль "парвусов" в русской революции и разрушении основ (в данном случае — религиозных) русской национальной жизни.

Густота еврейских имен впечатляет: ведь кроме явных, наверняка есть еще и неявные. Жаль, что Борис Парамонов поделкатничал и не поставил рядом с фамилиями разоблачительные скобки: погром — так погром, цитата — так цитата, приложение — так приложение! (Я имею в виду парамоновское следование не стилистике Янова, а стилистике солженицынского "Ленина в Цюрихе" со списком еврейских имен в конце в качестве детективной разгадки).

Но более всех, обозначенных в документе, занимает меня сама покойница — Любовь Сергеевна Попова. По перечню ее прижизненных занятий и по друзьям-"подписантам" я как-то очень и очень склонна поверить, что покойная действительно была "убежденной, последовательной и выдержанной атеисткой и материалисткой". Но, видимо, не преданность ее атеизму и "делу строительства новой пролетарской культуры" образует напряжение этого макабричного сюжета (с атеизмом и "строительством" что делаешь? — "знак времени", "движение эпохи" ...).

Некролог превращается в "мистерию-буфф" не с появлением Маяковского, а с появлением Московского совета рабочих и прочих депутатов, каковой Совет приглашается к тяжбе харак-

тера запредельного: кто больше прав имеет на дорогого покойника — близкие по крови или близкие по духу? Приглашается, понятное дело, с “заранее оплаченным ответом”: “... письмо это было напечатано в газете “Вечерняя Москва”, 1924, № 119, 26 мая... и “возымело действие” (Б. Парамонов).

Можно вообразить похороны Любви Сергеевны Поповой с подробностями, соответствующими стилю той “героической эпохи”, с участием “группы конструктивистов” (Родченко, Степанова) и таинственного “коммунистического коллектива организаторов мастерской” (Сенькин, Клуцис): гроб из стекла с контрфорсами из стали; хоругви с изображениями вождей мирового пролетариата; при опускании гроба в могилу хор запекает “Вставай, проклятьем заклеянный...”

Жуть, смягчить которую не в силах и параллельный воображаемый сюжет: умри покойная не в 1924 году, а лет, скажем, на 10 раньше, ее семья могла бы обратиться в епархию, синод или жандармское управление с просьбой лишить “ближайших друзей и товарищей по работе” возможности совершить гражданские похороны г-жи Поповой, крещенной при рождении в православие. И такое обращение, надо полагать, тоже “возымело бы действие”.

Читатель, не пугайся и не злорадствуй: я не собираюсь, вслед Янову, проводить либеральную аналогию между насилием религиозным и насилием атеистическим. Напротив, я для того вспомнила про жандармское управление, чтобы со всей ответственностью заявить: я, в силу присущего мне крайнего индивидуализма, предпочитаю принуждение, исходящее от семейной традиции — “групповому насилию” со стороны “товарищей”. Я также заранее оповещаю, что хочу быть похороненной только по обычаю моих отцов (по счастливому совпадению никаким другим образом я в Израиле похоронена быть не могу).

С другой стороны, хорошо бы, конечно, во всех случаях выполнять предсмертную волю покойного — любую. О предсмертной же воле Л. С. Поповой ни в документе, ни в комментариях к нему ничего не сказано. Увы! — остается предположить, что ее воля совпала с требованием “коллектива журнала “Леф”, “Ассоциации инструкторов действенных ячеек”, “Исполкома профсекции Вхутемаса и Рабфака”, а также Маяковского и Кушнера, Асеева и Клуциса.

И тут мне хочется еще раз присмотреться к счету, который русское национальное возрождение в лице Бориса Парамонова наме-

рено "со временем" (надо полагать — недалеким) предъявить "сильно передовой интеллигенции". Счет — личный: от имени нации. Но разве покойная Попова не принадлежала к той же нации, что и ее семья, от имени которой "вчинен иск" с полувековым опозданием и с которой "потерпевшая" "идеологически связана не была"? И разве не к той же нации принадлежали Маяковский с Асеевым и Родченко со Степановой, с которыми она была "идеологически связана"? И какая роль отведена Брику, Клуцису и Кушнеру в этом "старинном споре славян между собой"? Расплителей несовершеннолетних?

Стало быть, русское национально-религиозное возрождение собирается определять нацию по "ветхозаветному древнеиудейскому" принципу, то есть принципу религиозному? Счет от имени религии? Но ведь при неизбежной в каждой нации раскладке на кровно близких, но идеологически чуждых и наоборот такой счет может предъявить именно и только автократия. Но автократия, начинающая с предъявления счетов и требования оплаты (что переводится словом "реваншизм") и есть диктатура фашистского толка. И ничем другим быть не может.

Поистине: хотите убедиться в правоте мрачных прогнозов Александра Янова — читайте Бориса Парамонова.

... Выяснив, кто предъявляет счет, попробуем выяснить — кому его предъявляют?

Я так думаю — Янову. Причем счет двойной: как "сильно передовому интеллигенту", то есть либералу, — и как еврею.

Мне не под силу защитить еврейство от обвинений в ритуальных исторических убийствах.

Не могу я и защитить А. Янова от обвинений в либерализме, поскольку его собственное добровольное признание уже "подшито к делу".

Но я хотела бы защитить А. Янова от обвинений в еврействе. И главный, а в сущности единственный, аргумент моей защиты — это как раз его либерализм.

Нет, я не собираюсь, переписав формулу Достоевского ("русский либерал есть уже тем самым не русский либерал"), утверждать, что если кто либерал, то он уже тем самым не еврей. Боже упаси! Есть множество спорных вопросов государственной и общественной жизни (израильского государства и израильского общества), в которых и я либералка, и притом "несгибаемая". Разумеется, еврей так же может быть либералом, как француз,

русский или саудовский король. Но то — еврей-либерал. В случае же с Александром Яновым мы имеем дело с либералом-евреем, то есть русским либералом "еврейской национальности". А это, как говорится, "совсем другой коленкор".

И тут наступает момент откровенности, которого я долго пыгалась, но уже не могу избежать. Я, как и Борис Парамонов, не люблю либералов. Как и Борис Парамонов, я из трех измерений оставляю им только одно — широту. Я не люблю либералов, потому что они мне не нравятся. Не взгляды (либеральные взгляды встречаются у не-либералов тоже), а либеральный склад души и ума. Что либералы не убеждают — полбеда: они не увлекают. С ними скучно. В либералах поражает эстетический и культурный дальтонизм, из-за которого их полемика друг с другом напоминает подчас анекдот про уши и бананы: "Послушай, почему у тебя в ушах бананы? — Не слышу: у меня в ушах бананы". Если один либерал сравнивает Николая 1 со Сталиным, а другой — Ленина со Шпенглером, — спорить им, по-моему, не о чем. В своем просветительском усердии либерал путает уроки истории с уроком истории.

Не только неприязнь к либералам сближает меня с критиком А. Янова, но и любовь к некоторым их прославленным противникам, на чей творчески-вдохновенный и, в сущности, глубоко художественный антилиберализм Парамонов ссылается как на факты самой действительности или научные истины. Федотов, Бердяев... Это у меня любовь спокойная, "поздняя": главное было прочитано уже вне России. А "первая любовь", которая, хоть и не на всю жизнь, но всю жизнь определяет — Достоевский с Тютчевым, и славянофилы, и (по чувству надо бы: "О!") — Леонтьев...

"Плодами просвещения" этой тяжелой ветви русской культуры я кормилась еще в те далекие-далекие годы, когда слова "сионизм", "Израиль", "эмиграция", услышь я их (а я их и не слышала), прозвучали бы для меня марсиански. И, разумеется, не только для меня, но и для подавляющего большинства моих сограждан обеих национальностей. А и при том всеобщем блаженном неведении антисемитизм был таким же повседневным и "постоянно действующим фактором" моей реальной, внешней жизни, как вышеупомянутые авторы — душевной.

Это я к тому, что Парамонов решительно неправ, утверждая:

"Уже сегодня можно сказать, что еврейская эмиграция усилила в СССР

антисемитизм — и не только государственный, но народный. Десять лет назад Слепака не стали бы обливать кипятком соседи с верхнего этажа”.

Смею заверить — стали бы. Не того Слепака — так этого: лишь бы еврей. И без всякого сослагательного наклонения, а просто — обливали. И кипятком, и ругательствами. И соседи с верхнего, и соседи с нижнего, и по коммунальной квартире — тоже. И сослуживцы. И прохожие. И пассажиры в городском транспорте. И десять, и пятнадцать, и двадцать лет тому назад...

Заимствуя обвинительную риторику Парамонова, “я с полной ответственностью и с готовностью перенести дело хоть в суд заявляю”, что, сколько я себя помню (а это, к сожалению, немало), антисемитизм **всегда мог быть поводом** еврейской эмиграции из России, а не ее следствием.

Чего антисемитизм не мог, не может и не сможет по самой своей природе — это определить, куда эмигрировать.

Когда пришло время и оказалось, что “эмиграция” — просто двухэтажный особнячок в переулке с привычной советской очередью у ворот, а Израиль — просто слово, которое можно проставить в графе “пункт прибытия”, — я и очередь заняла, и “пункт прибытия” указала...

И не антисемитизму, не “основоположникам сионизма” (их я тоже узнала уже на свободе, почти одновременно с Федотовым и Бердяевым) я обязана Израилем, а “русской идее”, Достоевскому с Леонтьевым, славянофилам и почвенникам... Мой сионизм — отсюда, от них. Это они подсказали и показали мне, что либеральное решение “еврейского вопроса” в России невозможно ни на основе “прав человека”, ни на основе “всеобщей, равной и тайной ассимиляции”.

Парамонов до такой степени отождествляет себя с “русской идеей”, что по нуждам ее нового воплощения выправляет и выпрямляет даже славянофилов:

“Там, где нужно было сказать “культура”, Аксаков сказал “государство”, где нужно было сказать “небо” — он сказал “земля”.

Но у меня не было таких резонансов к соавторству, как у Парамонова, и там, где было написано “культура”, я читала “культура”, а, встретив слово “земля”, не поднимала глаза к небу. Именно четкая топография славянофилов и почвенников, вопреки рецептам моих друзей-либералов, убедила меня в том, что невозможно превратить культуру в твердую почву под ногами и что не всякая кровь притягивает к себе ответную классическую рифму.

Но ни в чем кровном и коренном не совпадая с либералами, одного я не могу у них отнять: бескорыстной искренности. Не буду говорить о русских либералах: это не моя тема, да и не так уж много я их встречала. Не буду говорить и о русских либералах-евреях: они достаточно говорят о себе сами.

Но вот русские еврей-либералы, те, кто, поставив еврейство на первое место и выбрав Израиль из чувства чести, долга или по другим, тоже моральным, соображениям, остались убежденными русскими либералами... Поверьте, г-н Парамонов, они не только "искренне симпатизируют невинным Иванам Денисовичам", не только вполне согласны с Вами же, приписывая все ужасы современной России системе власти или порочности заложенной в эту систему "западной утопии" — они еще, пожалуй, и Вас упреknут в том, что Вы слишком тенденциозно, однобоко видите русскую историю, не замечая в ней традиций поистине либеральных и элементов безусловно демократических...

И если Янов называет себя "сыном России", значит и он, как и Солженицын, чувствует себя изгнанником из родной страны, потому что...

Но тут рука моя опускается, я понимаю, что ни фразы, ни мысли я не закончу, защита моя проиграна — я забыла, упустила из виду, что Б. Парамонов озабочен не только "парадоксами", но и "комплексами" Александра Янова, то есть чем-то подпольным, вытесненным из сознания, но более решающим, чем оно.

Нет, не на пользу нам, бывшим советским, знакомство с Фрейдом: игра "сознательного" и "бессознательного" так удобно и спокойно улеглась на место, еще не остывшее от привычной игры "объективного" и "субъективного": "субъективно любит — объективно ненавидит", "субъективно друг — объективно сволочь", "субъективно русский — объективно еврей", "субъективно еврей — объективно жид"...

Ревнуя к "корням и почве", Б. Парамонов "вытеснил" из своего текста слово, которым текст его больше, чем логикой, держится: **кровь**. По крови он судит Янова, по крови и осуждает.

Р. С. Борис Парамонов обещает, что, придя к власти, русское национально-религиозное возрождение выкажет большую лояльность к Израилю и сионизму, чем нынешнее советское "марксистское" руководство. Я выношу обсуждение этого заманчивого обещания в пост-скрипtum не из мелкой стилистической мести (у Парамонова обещание дано в примечании), а потому, что не верю ему.

Из врожденного пессимизма я всегда допускаю самое лучшее, в данном случае — полную искренность русского возрождения и его устами говорящего Б. Парамонова. В самом деле, почему бы русскому национализму не испытывать влечения к национализму еврейскому, ну хотя бы на основе лозунга: "Почвенники всех стран, соединяйтесь!""?

И разве — как, очевидно, полагает русское возрождение — сионизм не осуществил уже на практике то, к чему русский ренессанс стремится в идеале, — разве не создал он государство национальное "по форме" и религиозное "по содержанию"?

...Русский коммунизм был идеалом китайских коммунистов, пока они не пришли к власти. А когда пришли, — с горечью убедились, что русские, правда, скуласты, но все же недостаточно косоглазы.

Когда русское возрождение сформирует правительство новой России, оно вспомнит, что наше национальное ("по форме") — все то же опостылевшее еврейское, а религиозное ("по содержанию") — все та же зловещая "ветхозаветная древнеиудейская идея"... И не разминуться двум "богоизбранным" в тесном пространстве мировой истории, и невыносимо оставлять гроб Господень в руках распявших Его... Сюжет прописан, цели определены, задачи ясны. "За работу, товарищи!"

ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ

ЗОНА ОТДЫХА или ПЯТНАДЦАТЬ СУТОК НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

*"Было у тещи
Семеро зятьев.
Хомка сел,
И Пахомка сел,
И Гришка сел,
И Гаврюшка сел,
И Макарка сел,
И Захарка сел.
"Зятюшка Ванюшка,
Поди и ты сядь!"*

Трагикомическая повесть из российской жизни.

Иерусалим — 1979 год

"Зону отдыха" можно приобрести в магазинах русской книги Израиля и других стран. Можно также приобрести у автора, прислав чек на 130 израильских лир (из-за границы — 6 долларов) по адресу:

Felix Kandel Merkaz Klita Mevasseret Zion 61a Jerusalem, Israel.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Издательство "Москва—Иерусалим" предполагает выпустить в свет одну из наиболее необычных книг ивритской литературы — повесть лауреата Нобелевской премии Шмуэля-Иосефа Агнона "В сердцеvine морей". Наряду с повестью, в готовящийся сборник Агнона предполагается включить и некоторые его рассказы, а также главы из романа "Сретение невесты". Перевод и комментарий текста выполнены Исраэлем Шамиром, который затратил на этот труд несколько лет, утверждая, что "эзотерический мир героев Агнона так же не понятен нам, как Япония эпохи Хэйан". Предлагая читателю два рассказа из готовящегося сборника, мы сопровождаем их вступительной статьей и комментариями переводчика, которые, на наш взгляд, представляют собой увлекательное приглашение к путешествию в неведомые культурные миры.

АГНОН, ИЛИ КОПИЯ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ОРИГИНАЛА

*(предисловие, перевод
и комментарий И. Шамира)*

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ЕЛИНА

Как хотелось бы начать статью словами: "Самые замечательные произведения Агнона (например, рассказ "Тхила") никогда не переводились на русский язык". Увы, переводились. Читатель уже знаком с косноязыким, говорящим на волапюке, сентиментально-слащавым Агноном — посмертным членом общества еврейской религиозной интеллигенции из СССР в Израиле — "Шамир". В переводах, опубликованных этим обществом, архаичная, строгая, как чеканка по стали, эстетика Агнона подменена слюнявой мещанской эстетикой вышиванья крестиком и слоников на роэле.

Трудно сказать, удастся ли другим переводчикам Агнона исправить его писательский образ и воскресить его к жизни после того литературного убийства, которое совершила г-жа Г. Липш (да, с улицы Елина, где редакция журнала "Возрождение"). Ибо г-жа Липш погубила Агнона всеми способами, находящимися в распоряжении переводчика.

Во-первых, непониманием текста. Например, у Агнона есть рассказ "С приходом дня" (или "С наступлением

дня"). Г-жа Липш переводит это заглавие так: "На рассвете". Ах, как просто, как хорошо, как по-русски, хочется воскликнуть, ах нет — на самом деле речь идет о з а к а т е: ведь у евреев день наступает вечером, с закатом солнца, а не с рассветом, как у народов Европы. В этом рассказе Агнона речь идет о наступлении Судного Дня, о вечере Иом-Кипур. Наш ведущий эксперт по иудаизму г-жа Липш этого не поняла и превратила вечер в утро, и читатель может только подивиться, прочтя ее перевод; почему чудак Агنون назвал рассказ "На рассвете", если все происходит перед закатом?

Во-вторых, **подменной эстетики** Агнона эстетикой Лидии Чарской. Обратимся к началу гениального рассказа Агнона "Тхила", где содержится описание героини. Вот как это описание переводит Г. Липш: "Умная, справедливая, скромная удивительно, симпатичная необыкновенно". Какое милое описание скромной гувернантки, наверно, выходящей замуж за барина в конце романа, — воскликнула, прочтя эту фразу, одна интеллигентная читательница... Надо ли говорить, что ничего этого у Агнона нет. В подлиннике:

"Праведница была, мудра была, миловидна была и смиренна была". Но г-же Липш строгий внутренний ритм прозы Агнона пришелся не по вкусу, слишком уж он монотонен и однообразен. Поэтому она украсила его этими директивными бантиками "удивительно" и "необыкновенно" и сняла все повторы (нет, на иврите, как и на любом языке, можно обойтись без повторов). Но Агنون — не мешанский писатель, это не еврейская Чарская и даже не еврейский Короленко или Куприн, и его подлинник не соответствует чувству прекрасного г-жи Липш. Поэтому у нее в тексте появляется чудовищное слово "симпатичная", уместное в разговоре в рижском пригородном поезде, но режущее слух в переводе Агнона.

Зачем ей нужно так резвиться? — спросит читатель. Ну, хочет человек написать рассказ в стиле Чарской — пусть напишет, но при чем здесь Агنون? Часть искажений можно отнести к украшательству, к невинному стремлению, "чтобы было красивше". Но другие основаны на железной **концепции перевода**, превратившейся в **третью** казнь Агнонову. По этой концепции нельзя ис-

пользовать слова, встречающиеся в русском переводе Библии. Женщина набожна и к тому же антихристианка, г-жа Липш скорее изуродует текст, чем даст ему прозвучать на знакомый для ушей необрезанных лад. Поэтому она пишет, например, явную бессмыслицу: “справедливая” (к кому? в чем?) вместо “праведница”, что для ее тонкого нюха попахивало бы церковным ладаном. Поэтому же ей не подходит “смирение” — подлинное качество, о котором идет речь в рассказе; она предпочитает гувернантскую “скромность”. И вот так разжижен, превращен в рассказик для чтения в поезде для путешествующих дам весь рассказ “Тхила”.

Ее четвертый удар по Агнону — это метод “не-перевода”. Есть какое-то количество реалей, которое можно (и нужно) не переводить, а объяснять, например: тфилин (филактерии), или бармен (не “кабатчик” же), или татами (японская соломенная циновка). Но по той же вере в абсолютную еврейскую исключительность г-жа Липш считает вообще в с е еврейское принципиально непереводимым на русский. Вот ее текст: “Они дадут мне большой махзор... Я закутаюсь

в талит, возьму махзор и буду молиться Б-гу... Тебе они принесут маленький сидур... Под алефом стоит маленький камац... Ответила девочка: “Ав... реб Алтер был мой мозл” и так далее — это удой с одной страницы ее перевода рассказа “На рассвете” (!). Читать такой “перевод” так же легко и приятно, как ехать по булыжной мостовой на велосипеде. Этой чересполосицей переводы Г. Липш напоминают речь героев рассказа Гиршовича “Мальчики и девочки”, которые также изъясняются на макароническом наречии: “Пожите на программу схум ад арбат алафим и уже через год... вам дадут алваа”. Неужели г-жа Липш не могла написать в тексте “молитвенник”, вместо “сидур” и “праздничный молитвенник” вместо “махзор”? Не могла, потому что это, по ее логике, прозвучало бы “по-христиански”, ибо не схожа наша тфила с ихней молитвой. Мне кажется, что человек, настолько уверенный в еврейской исключительности, как г-жа Липш, не должен идти на жалкий компромисс — пусть не переводит ни единого слова с нашего святого языка на их языческое наречие! И прямь, как можно перевести слово

“анава” как “смирение”, если “анав” говорится в Пятикнижии о Моисее? Как можно перевести “шулхан” как “стол”, если “Шулхан арух” (накрытый стол) — это свод Законов нашей святой религии? Даже слово “ло” нельзя перевести их языческим “нет”, ибо “ло” было записано перстом Господним на скрижалях Завета. Поэтому идеальный перевод г-жи Липш не должен содержать ни одного русского слова, — что будет и впрямь приятно для всех сторон.

Переводы Г. Липш можно цитировать бесконечно, и каждый раз будешь изумляться их, мягко говоря, несоответствию подлиннику. И, к сожалению, это литературное убийство прошло безнаказанно и даже обернулось выгодным дельцем. Религиозные круги, связанные с русским языком, по-прежнему держат г-жу Липш на ставке оракула по вопросам перевода. Ни один материал, связанный с нашей святой верой, не выйдет по-русски без разрешающего штампа Г. Липш: “Главлит Липш”, “Главлипш”. Для получения этого разрешения нужно идти на многое — на не-перевод всех “особенных” слов, на коверкание русского языка во имя вымышленного птичьего

(зато кошерного) “еврейско-русского наречия”, на ужасное написание слова “Бог”, как будто оно, упаси Господи, заборное, и на цензуру, грубую и наивную. Духовные братья и сестры Г. Липш, прочие комиссары по вопросам религии, сидят во многих инстанциях, решая, какие слова — христианские, а какие — нет, и не дай Бог, если кому взбредет в голову использовать крамольные слова “лампада” (хоть и есть она у Пушкина в “Еврейских напевах”) или “сретенье” (хоть так Майков переводит еврейское субботнее богослужение) или “Дух Божий” (хоть и есть в кн. Бытия 1:2). В этой борьбе с “христианским” языком потерпело поражение дело перевода с иврита на русский, и с ним погибла надежда на распространение духа еврейской культуры среди русских евреев. И вся эта борьба — совершенно по-пустому. Если у нелюбимого сына — отцовский нос, резон ли отцу отрезать себе нос? Христиане взяли себе еврейскую Библию, еврейские обычаи, включая обычай крещения (твила), — неужели поэтому мы должны от них отказаться и изобретать что-нибудь иное? К каноническому переводу следу-

ет относиться, как к любому переводу — критически, и если в нем ошибка — что случается нередко — конечно, нужно переводить заново, но выбрасывать всю лексику канонического перевода — это путь к отказу от русского языка, а тогда уж лучше не переводить. В ходе работы над переводами Агнона мне удалось найти много ошибок и искажений в каноническом переводе — одни, сделанные по невинности, другие — концептуальные. Например, в Песне Песней есть три слова: “Мошхени ахареха наруца”, буквально: “Влеку меня за тобою вместе побегим”. Я нарочно не поставил запятой в этом тексте. Еврейская традиция ставит запятую за словом “тобою”, и получается — девушка говорит юноше: Влеку, мол, меня за тобою, вместе мы (юноша и девушка) побегим. Христианская же традиция канонического перевода ставит запятую за словом “меня”, и получается — Церковь говорит Христу: влеку меня, за тобою (Христом) вместе мы (то есть все христиане) побегим. Это — ошибка концептуальная, примером же ошибки по неведению может послужить перевод слова “эц хадар”, как “красивое дерево” вместо

“цитрусовое”. И все же, несмотря на это, канонический перевод — прекрасный и очень точный перевод. Господи, это же перевод нашей святой Библии, почему же от него отказываться? Если слово “лампада” или “сретение” непонятно и незнакомо провинциальному еврейскому читателю из России, пусть подучится. Нет оснований создавать новое “Зерцало для невежд” и писать на пиджин рашн, русит кала, русском для самых маленьких и недоумков; тем более, что русский читатель привык к очень высокому уровню перевода, достигнутому в Советской России, уровню, который, пожалуй, выше, чем в большинстве западных стран.

Переводы Ицхака Орена отличаются от переводов Голды Липш, как небо от земли. Его самое сильное место — это перевод нормального уровня прозы Агнона, как, например, в романе “Совсем недавно”. Этот роман, написанный с использованием стандартной лексики иврита, наиболее близок, видимо, духу Орена — недаром он взялся его переводить. Орен также прекрасно переводит и слова библейской лексики: “Гевария сын Геуэля был мужественнейшим из мужей. Лик его, словно лик

льва, сила его — словно сила вола, а бег его легок, как полет орла”. Орен не боится и краткости и лапидарности Агнона и прекрасно передает краткую фразу Агнона краткой фразой: “Ваша жена, — спросил я Гамзу, — из этих? Моя жена, — ответил Гамзу, — не из этих”. Это и буквально, и верно, и хорошо. Есть, однако, еще один слой иврита, не так дающийся Орену. С ивритом произошла очень хитрая история: если в нормально развивавшихся языках современная лексика ближе к средневековой, чем к древней, с ивритом все наоборот — возрожденный иврит чем-то ближе к самому древнему языковому слою — ивриту Торы, а более поздний “иврит мудрецов” остался никуда не ведущим тупиком, слепой кишкой языка. Агнон во многих своих произведениях использует этот язык слепой кишки, язык архаический, шершавый и мертвый, напоминающий “Житие протоппа Аввакума” или тыняновскую “Восковую персону”. Этого архаического языка Орен избегает, переводит его на стандартный литературный язык. На его перевод романа “Вчера, третьего дня” (“Совсем недавно”) это не смогло особо повлиять,

но уже в “Идо и Эйнам”, который он в целом хорошо перевел и хорошо объяснил, это нежелание воспринять речь Агнона как речь архаическую несколько снижает язык перевода по сравнению с языком подлинника. Например, в начале рассказа у Агнона “благословить их в путь” (“левархам биркат хадерех”), у Оrena — “пожелать счастливого пути” (“ляхель дерех цлеха”), у Агнона “охвачены тревогой” (“шруим бедаага”), у Оrena “озабочены” (“мудъагим”) и так повсюду, архаические обороты переводятся на стандартный язык, при чем исчезает своеобразие агноновского стиля. Обычный довод в защиту такого метода перевода, приводившийся, например, при спорах советских переводчиков Мольера или Шекспира, таков: ведь своим современникам и Мольер, и Шекспир не казались архаичными. Этот довод неприменим в случае Агнона. Ибо главная особенность Агнона состоит как раз в том, что он архаичен для своих современников — для нас (ведь Агнон умер лишь несколько лет назад).

АГНОН – ВЫДУМКА БОРХЕСА

Но почему Агнон решил писать архаичную прозу? Осторожный читатель заподозрит в этом стилизацию, и напрасно — за стилизацию не дают нобелевских лавров. Не умел писать по-иному? Тоже неверно, Агнон был человеком образованным и просвещенным, знатоком современной литературы, он разбирался и во французской поэзии, и в немецкой филологии. Почему этот писатель решил писать языком старинных легенд? Дело в том, что Агнон был собратом Пьера Менара — вымышленного Борхесом автора “Дон-Кихота”.

Пьер Менар — герой рассказа Хорхе-Луиса Борхеса, символист, поклонник Валери и Малларме — поставил перед собой задачу: написать заново “Дон-Кихота”, подобно тому, как Шмуэль-Иосеф Агнон решил воссоздать средневековую литературу на иврите. Как поступил Менар? “Он не собирался написать нового Дон-Кихота — что было бы нетрудно, — но того самого Дон-Кихота. Нет нужды говорить, что Менар не собирался механически переписать оригинал; его достойным восхищения намерением было — создать несколько страниц,

совпадающих слово в слово с текстом Сервантеса”, — пишет Борхес. И брат Менара, Агнон, не собирался стилизовать свои истории под отжившие средневековые легенды или переписать сохранившиеся, хоть он и посвятил немало времени сбору, обработке и публикации легенд из Талмуда, мидрашей и хасидских сборников. Он хотел написать несколько страниц, **абсолютно идентичных** со средневековой легендой и **абсолютно оригинальных** в то же время.

Чтобы добиться этого, Менар мог пойти по “простому” пути, — пишет Борхес, — овладеть старинным испанским, стать ревностным католиком, забыть историю Европы с 1602 года по наши дни, стать Мигелем Сервантесом и затем естественно написать Дон-Кихота. Агнон мог бы забыть о Просвещении, Кафке и Ленине, писать на языке средневековья, проводить дни и ночи среди книжных червей того или иного еврейского гетто, короче — **стать** средневековым летописцем, преисполненным Духа Божия и чуждым новомодным ухищрениям. Тогда легенды и сказки сами потекли бы с его пера.

Но Менару и Агнону этот

путь показался менее трудным и менее интересным, а отказ от знаний и широкого кругозора — унижительным. Оба взяли на себя “почти невозможный труд воссоздания средневекового произведения, которое было так легко написать в средние века и так трудно — триста лет спустя”, на основе жизненного опыта человека XX века.

Вот что пишет Борхес об успехе своего героя (прошу прощения за длинную цитату): “Дон-Кихот Менара, несмотря на свою фрагментарность, гораздо тоньше Сервантесовского. Хотя их тексты совпадают до последней буквы, текст Менара куда глубже и сложнее — ибо культура 20-го века сложнее культуры века 17-го. Например, Дон-Кихот в известном рассуждении о словесности и оружии решает в пользу последнего; для Сервантеса — бывшего солдата — это очевидно, но почему на эту же удочку ловится и Менар? По мнению критиков, в этом сказывается влияние Ницше. Откровению подобно сравнение Дон-Кихота Менара и Сервантеса. Так, Сервантес пишет: “История, мать истины”. В устах человека его времени — это пустая риторическая похвала истории. “История — мать исти-

ны”, — пишет Менар. Казалось бы, те же слова, но какая ошеломительная идея: Менар — современник Уильяма Джемса — рассматривает историю не как исследование реальности, а как ее источник. По словам Менара, историческая правда — не то, что случилось, а то, что нами решено, что случилось”.

Аггон тоже неизмеримо глубже средневекового сказителя. Если его герои избирают следовать по пути веры, они близки в этом героям Камю и Сартра. Подобно поступкам героев экзистенциалистской литературы, их важнейшие поступки совершаются вне рамок каких-то обязательных идеалов, они готовы на гибель не за “что-то”, но во имя своей собственной целостности. Герой “Сретенья невесты” не боится камней мальчишек, потому что он уже прочел дорожную молитву — и это написано человеком, знавшим, что тысячи праведников вышли дымом сквозь трубы крематориев Освенцима и Майданека, и вера не защитила их, и чудес не произошло. Поэтому он может себе позволить — и это не смешит современного читателя — описывать чудо над водами в “Сердцевине мо-

рей” и еще большее чудо в “Деяниях посланца”.

Статика Агнона — не средневековая застылость, но точно рассчитанная неподвижность современника Беккета. Беккет разработал стратегию долгого затянувшегося ожидания, неподвижности, после которой любое движение приходит, как гром. Агнон тоже понимает этот прием и пользуется им. Для этого — и неполюбившиеся Орону повторы и длинноты у Агнона. Эти повторы используются для гипнотизации читателя, они становятся бесконечной молитвой “Наму Амида Бутсу” буддизма Чистой Страны, чтобы

потом одним словом добиться озарения, “сатори”.

Но в одном Агнон “переморхесил” борхесовского героя: он воссоздал — слово в слово — несуществовавшего Дон-Кихота. У нас не было средневековой литературы, частью которой могли бы стать его “Сретенье невесты”, “В сердцевине морей” или предлагаемые здесь рассказы. Агнон реконструирует никогда не существовавший храм никогда не исповеданной религии — ни литературы такой не было, ни евреев таких не было, а был — огромный пробел от классической до новой ивритской словесности,



который Агнон заполнил — и заполнил массой жанров. Вот его огромный роман “Сретенье невесты”, этот “Возвращенный рай” еврейской литературы, где праведникам хорошо и при жизни, роман, который Шведская Академия сравнила, присуждая автору Нобелевскую премию, с “Дон-Кихотом” (конечно, Менара)*. Вот повесть: “В Сердцевине морей”, одно из наиболее совершенных произведений — средневековая легенда, в которой, как в вогнутом зеркале, отражается весь мир еврейства. Вот его рассказы (два из которых приведены здесь) — они могли бы быть написаны гениальным средневековым писателем, которого у нас почему-то не было, но насколько они глубже и тоньше!

Возникает вопрос — почему же не был написан средневековый оригинал? Это можно понять, сравнив развитие духовной жизни еврейства с другой историко-литературной аномалией — с Японией периода Хэйан. Тогда вся японская литература создава-

лась женщинами — от “Повести о принце Гэндзи” до “Записок у изголовья”, — в то время как мужчины занимались более достойным и важным делом: они заучивали стихи китайских поэтов и версифицировали на их темы. Писать по-японски для мужчины считалось делом недостойным — надо было заучивать и подражать образцам поэзии Танского Китая. Евреи в средние века — от разрушения Второго Храма и до новых времен — не писали — упаси Боже! — светских книг, они заучивали классические образцы — Библию и Талмуд — и обсуждали их с превеликим почтением. Их рассуждения и образ жизни духовной были бы вполне понятны принцу Гэндзи**. Среди еврейских женщин — может, из-за незротичности еврейской культуры — не нашлось Мурасаки Шикибу. Из-за этого евреи не писали великих книг, а оставались в мире цитат из Библии. Поэтому в средние века и не был написан оригинал повести “В сердцеине морей”

* Ах, как мне хочется перевести его весь! Не знаете ли, случайно, филантропа, который... (И. Ш.)

** Та же интеллигентная читательница подсказывает мне и различие — у японцев это было из-за ощущения неполноценности по сравнению с китайцами, а у евреев — от чувства самодовлеющей полноценности. Другой коллега объясняет это затянувшейся (со времен Маккавеев) борьбой с эллинизмом.

или рассказа "Деяния посланца". Человек агноновского таланта в средние века написал бы еще один комментарий на книгу Зогар, но не такой рассказ. Писатель светских книг — занятие недостойное в глазах традиции, а писатель религиозных светских книг — этого бы и Борхес не выдумал.

УСТРОЙСТВО НАШИХ ГЛАЗ

Но почему Агнону, не вымышленному, а взаправдашнему писателю, удалось выполнить такую искусственную задачу, как воссоздание ненаписанной повести? В этом ему помогло особое свойство еврейского видения мира. В еврейских глазах мир плосок и начисто лишен перспективы. Когда и где происходят описываемые в его "средневековых" рассказах события? Можно ответить на этот вопрос, как можно установить географию и хронологию у Фолкнера или Толкина*; Агноновская Йокнапатофа**, еврейское Средиземье — местечко Бочач в Галиции, время — где

то конец 18-го—начало 19-го века. Но отвечать на этот вопрос не следует. Одного учителя дзен-буддизма спросили, если во всем есть Будда, то есть ли Будда у собаки? Он ответил "му" ("ничто, пустое место"), то есть на такой вопрос нельзя дать ответа, сам вопрос неверен. Так же и с вопросом о месте и времени у Агнона.

Агнон интересен именно своей абсолютной вневременностью. У Агнона нет описаний былого, несхож он с Исааком Башевисом-Зингером, глядящим в прошлое. Для Агнона нет различия между прошлым и настоящим, нет перспективы, как нет ее на картинах Брейгеля или на египетских барельефах. Еврейский народ живет так долго, что любой угол перспективы, как бы широк он ни был, привел бы к потере целой эпохи. Чтобы избежать этого, еврейская традиция отказывается от всякой перспективы, и все события — от разрушения Храма до вчерашнего погрома — существуют для нее "одновременно". Этому помогает технический при-

* Толкин — автор широко известной на Западе сказочно-фантастической трилогии "Повелитель колец", действие которой происходит в вымышленном Средиземье.

** Йокнапатофа — вымышленный американский южный городок, место действия фолкнеровской трилогии ("Деревушка", "Город", "Особняк").

ем "совпадения дат". Сколько горестных событий у евреев — на каждое не нагрустишься, поэтому традиция объединяет их, заставляет выпадать на то же число. В девятый день месяца ава по традиции был разрушен Первый Храм, разрушен Второй Храм, залито кровью восстание Бар-Кохбы, изгнаны евреи из Испании и произошла "Хрустальная ночь" в 1938 году в Германии — начало "Окончательного решения" еврейской проблемы. Еще больше этому эффекту "единовременности" помогает особое свойство иврита — очень древнего семитского языка. Даже по очень подробному описанию события на иврите трудно догадаться, идет ли речь о библейской древности или о наших днях. Враги Израиля — все те же "сыны Эдома", "сыны Исава", "агаряне" — как в древности, так и в наши дни. Король Франции и правитель Трансиордании называются одинаково — "царь эдомский". Погибший от копья бедуина в 12-м веке Иуда Галеви и убитый вчера арабским террористом еврей "пали от злобы агарян". "Да сотрется имя его" — добавляется и после имени Тита, разрушившего Храм, и после имен Гитлера или

Петлюры. В уже упомянутом гениальном рассказе "С приходом дня" невозможно понять, ни по началу ("Когда разрушили враги мой дом, взял я маленькую дочь на руки и бежал с ней в город"), ни по последующим страницам, когда и где происходит действие: на Украине при Богдане Хмельницком, да сотрется имя его, или в Палестине при муфтии Хусейни, да сотрется имя его, или в еще более глубокой древности.

Этой неизвестностью выражается абсолютная универсальность еврейской судьбы, то, что она не зависит и не меняется со сменой места и времени. Место и время **случайны** для еврейской истории и литературы. Можно сказать, что действие всех рассказов Агнона происходит в одной стране — в Еврейской стране, которая, из-за злодея Тита, разрушившего Храм, простиралась пятнами и полосами от России до Америки, в стране, где не только никогда не заходило солнце, но никогда не уходила и ночь, солнце Торы и ночь Изгнания, как сказали бы герои Агнона. И где именно в этой стране происходит действие — в Польше, Алжире или в самой стране Израиля до при-

хода Мессии — совершенно не важно, после разрушения Храма мы носим Изгнание на подошвах (это сказано не для того, чтобы умалить достоинства Земли Израиля, а для того, чтобы не умалить тяжести нашего Изгнания). И время также не важно, ибо наши часы остановились с разрушением Храма. На вопрос о времени действия можно ответить просто: Храм уже был разрушен, а Мессия еще не пришел.

ЕВРЕИ И ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Хотя на протяжении последних двух тысячелетий евреи жили в среде народов мира, а последние несколько сот лет даже активно участвовали в их жизни, все же духовный мир евреев этой поры остался совершенно не известным иноплеменным народам. Можно сказать, что все, чем мы занимались с момента завершения Библии, известно европейцам меньше культурных поисков Японии эпохи Токугавы. Древняя культура Израиля — в первую очередь Библия, ее этика, поэтика и принципы — стала одновременно основой и последующей, никому не ведо-

мой еврейской культуры и всем известной западной христианской цивилизации. Эти две дочерние культуры практически не влияли друг на друга в течение многих веков и шли разным ходом. Одна из них стала универсальной и всемирной, другая замкнулась в себе, пошла в глубь, а не вширь.

Христианская культура восприняла наследие Греции и Рима, способствовала созданию произведений искусства — литературы, живописи, музыки. Еврейская культура осталась на чисто религиозной почве, полностью отказалась от всех нерелигиозных форм выражения человеческого духа. Евреи, как уже сказано, не писали светских книг — лишь толкования к Библии.

Создание Библии было самым фундаментальным событием в истории евреев — не менее важным, нежели открытие единого Бога. Это и послужило одной из причин раскола между еврейством и христианством. Со времени возвращения пленников из Вавилона, со дней Эзры, дух религиозного бунтарства и культурного творчества был ограничен абсолютным приматом Библии. "Бог не имеет права изменять Закон". "После разрушения Храма дар

пророчества дан лишь пьянчугам и дуракам”, — говорится в Талмуде. Иными словами, в еврействе Второго Храма и позднее не было места даже для прямого вмешательства Господа, не то что для вмешательства опосредованного — через пророка. В устной Торе говорится о двух ученых мужах, споривших о Законе. Один из них призвал себе в свидетели стены дома — и они послушно наклонились, но другой сказал: когда беседуют люди, стенам вмешиваться нечего, то есть и чудо меня не убедит. Тогда раздался глас Божий: прав первый. Второй возразил: Закон не на небе, с тех пор, как Ты дал его нам, Ты ему не хозяин. В конце этой легенды Господь соглашается со вторым богословом.

Этот максимализм, по которому “нам не нужно Бога — он уже все сказал и не вправе дополнить или убавить”, хотя и не был единственным направлением религиозной мысли, был, возможно, одной из причин появления христианства — поначалу бывшего бунтом за Бога и против недвижимого Писания. Однако вскоре выяснилось, что за пределами этого максимализма, этой полной верности Писанию, трудно соблюсти и

принципы единобожия. Так, христианство быстро отошло от всех основных норм материнской религии и завело себе иконы, которых не одобрил бы праотец Авраам; бунт “за Бога” стал бунтом “против Бога”. Возникновение христианства оказалось травмой для еврейства, и оно еще глубже ушло в себя — недаром нашу собственную Библию перевели на другие языки и использовали против нас, для оправдания идеи других богов. “В день, когда старцы перевели Писание на греческий язык для царя Талмая (Птолемея), мгла на землю легла и лежала три дня, ибо не все в Писании перевелось достаточно” — говорит легенда. “Время рвать и время шивать”, — говорится в Экклесиасте. Легенда объясняет: перевод Писания на греческий разорвал, привел к разрыву между евреями и крестившимися, а перевод обратившегося в иудаизм Онкелоса сшил еврейство с пришедшими к нему.

Именно после разрыва с христианством, после того как евреи выбрали чистоту вместо универсальности, еврейская культура стала совершенно эзотерической, герметической, в чем-то схожей с другими эзотерическими

культурами Азии, хотя народ — ее носитель — и жил в центре западной цивилизации.

Культура развивается либо революционно, либо эволюционно. Революционное развитие культуры породило Ренессанс, а у евреев дало Пророков и другие книги Писания. При революции создаются новые жанры и совершенно новые произведения. При эволюционном развитии увеличивается до бесконечности изощренность и точность работы мастера, та же вещь делается все лучше и лучше, стремясь к недостижимому идеалу, однако никто не отбрасывает идеал, чтобы сделать нечто

совершенно новое. По такому эволюционному пути развивалась культура Японии во времена Токугавы; среди ее достижений — чайная церемония, где новшества немыслимы, театр Но, где все позы актера заранее записаны и где существует — в кантовском смысле — идеально сыгранная пьеса.

Еврейская культура после ликвидации последствий христианского бунта стала на путь Токугавы, на путь эволюционного развития и стремления к совершенству. Ее целью стало — абсолютное знание и понимание Писания и исполнение его Заветов. В течение



веков евреи составляли комментарии к Писанию, комментарии к комментариям, а в свободное время — молились. Такая концентрация позволила достичь невероятных результатов, в частности — всеобщего знания текста Писания с десятками комментариев и объяснений. Поэтому Агнон может назвать сборник своих рассказов “На ручки замка”, и образованному еврею будет ясно, что речь идет о цитате из Песни Песней 5:5: “И с перстов моих капала мирра на ручки замка”. Поэтому герои его рассказов перебрасываются замечаниями, для понимания которых требуется просидеть немало времени в бет-мидраше — этих медресе, библиотеке, университете и клубе, слитых воедино.

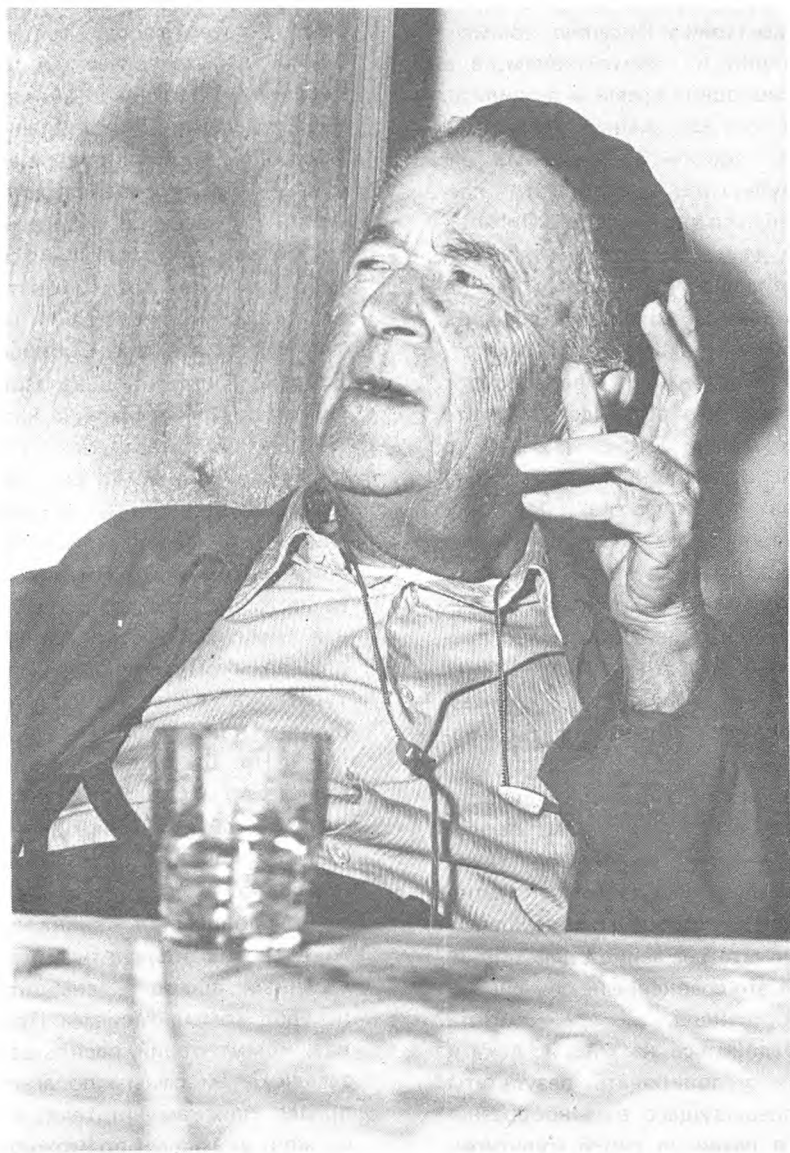
Таким образом, ценности еврейской культуры, ее достижения непонятны непосвященному, как непонятно для постороннего совершенство мастера чайной церемонии. И это сравнение не случайно — и японцы, и евреи смогли уединиться на многие века и тихо полировать результаты предыдущего взрывообразного развития своей культуры.

Из-за такой плотности ассоциаций и Агнона, и Мураками Шикибу читать трудно —

в переводе ли, в подлиннике ли. Но зачем вообще тратить время на эзотерическую литературу? Западная цивилизация далека от стремления к идеалу. Поиски совершенства — это скорее восточная идея. Но все же интересно посмотреть, что получится, если сотни лет практиковаться в церемонии подачи чая или объяснять все Библией. Вторая причина — эзотерическая литература может быть прекрасной литературой, как в случае Агнона. До сих пор в смысле влияния на окружающий мир евреи могли бы жить не то что в Японии — на острове Пасхи, и созданная ими абсолютно совершенная герметическая культура пока так же неэкспортируема, как сады Киото и пьесы Но. До последнего времени мир и не мог узнать о еврейской культуре, однако оказать влияние — никогда не поздно.

Для понимания Агнона нужно многое объяснять. Единственный выход — снабдить перевод комментариями. Правда, комментарий, раскрывая загадку, тем самым полагает предел поискам читателя, но он же и указывает возможное направление поиска.

На этом пора остановиться и дать слово самому Агнону.



Шмуэль Иосеф Агнон (1888–1970)

КЛИНОК ДУБИЧА

Дубич атаманом разбойников был, и в горах Карпатских его логово, и сети его раскинуты над большими дорогами. Много друзей у Дубича, а Дубич — глава друзьям. Встретится им путник, исповедается, да и не встанет с покаянных колен — не от клинка, прежде от страха умрет, затем что удалы молодцы Дубича, а до Дубича им далеко. И был им Дубич Атаманом. И в руке у Дубича клинок, что дал ангел смерти Дубичу. Но с соседями мир у него, окрест Кольмей, и Кольмей, и села вокруг носят дань Дубичу. И так жил Дубич с соседями, и соседям вреда не чинилось во всех тех местах, где гулял Дубич со своими молодцами. И Кольмей, и села вокруг приносят Дубичу и его молодцам — и муку, и мясо, и горох, и бобы, и мед, и масло, и сыр. И коли заколет мужик борова или состряпает баба вареников, посылают с сыном или с дочкой и мяса, и крови, и вареников Дубичу и его козакам, от любого блюда чтоб отведал. И по праздникам их спускались молодцы Дубича в села, крутить в танце сельских молодок, убранных в наряды, что сняли люди Дубича с погубленных и отдали тем.

И настала зима, и не принесли дани Дубичу и заголодали Дубич и его молодцы. Ничего не несут в горы, и путников нет, потому что замело пути снегом. И сидят так удалцы Дубича, слюна стынет во рту, и борода, как сосулька, и в мать, и в душу ругаются, и говорят, что если не вытащат материнских костей из могил разгрызть, то, как сор, падалью лягут в поле в горах Карпатских, а те и не скажут: вот молодцы Дубича. И сказали друг другу: что нам здесь сидеть и смерти ждать, нападём лучше на одно из сел, и оживим душу, и не помрем. И велел Дубич налететь в ночи на Кольмей, и собрались они налететь на Кольмей, и дошли

до околицы, и видят — свет в каждом доме. И сказали: пошли, скорее нападём и найдём мяса и вина, ибо сегодня — суббота у Израиля. И ворвались в Кольмей.

А Кольмей — как чаша полная, и евреев там много, купцы торговые, и в каждом доме свет, едят, и пьют, и веселятся. И увидел Дубич Кольмей и воскликнул: нет на земле человека без стола да печи, лишь у нас ничего нет. И сказали молодцы Дубича: не кручинься, Дубич, сейчас налетим на город, и тогда отведаешь еврейских калачей и выпьешь много вина. Тогда набьешь себе брюхо, и рот не остановится от изобилия снеди. И сказал Дубич: на добычу, братья. И занес Дубич клинок свой над городом, а в городе был тогда реб Арье.

И сначала налетел Дубич на дом р. Арье, потому что его дом на околице. И все домочадцы р. Арье, что были в доме у р. Арье, разбежались, спасая души свои, ибо напал на них страх Дубича, и бежали, а р. Арье стоит себе у стола и освящает субботнее вино. И сказал Дубич р. Арье: что стоишь? И не ответил реб Арье Дубичу ни слова, потому что освящал вино р. Арье, а нельзя евреям слова молвить во время освящения субботы. И опустил Дубич руку на клинок, и выхватил клинок из ножен, и ударил Дубич р. Арье по руке. И плеснуло вином из бокала на меч Дубича. И не смог Дубич пошевелить клинком. И вновь, и вновь пробовал Дубич, не зная, что в этот день ушла сила клинка.

И покоился клинок весь вечер субботы и весь день субботы, пока не вышли звезды и ушла суббота. А р. Арье сидел в кресле, и руки омыл, и отпил, и над хлебом благословил Дающего хлеб, и дал Дубичу, и ел сам. И Дубич благословил р. Арье и ушел.

И встал Дубич после едова и после пития, и вернулся он со своими молодцами в горы, и по дороге грабили они всех встречных, затем, что удалцы люди Добича, и в руке у Дубича — клинок, что дал ангел смерти Дубичу, ни днем, ни ночью не опочит клинок. Лишь из субботы в субботу, в день седьмый, когда почил Господь, как освятится субботний вечер, покоится клинок в руке Дубича, потому что пролилось на него освященное вино, когда пришел Дубич в субботний вечер к реб Арье, и не шелохнется клинок до исхода субботы.

ДЕЯНИЯ ПОСЛАНЦА ИЗ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ, ДА ВОЗВЕДЕТСЯ ОНА И ОТСТРОИТСЯ

Однажды занесло меня в один из городов земли Польской. Пришел я в город, но ни души не встретил. Шел я от улицы к улице и от торга к торгу и вижу — все лавки закрыты. Стою я, и дивлюсь, и недоумеваю, и прикидываю: ведь день еще велик, почему же все лавки заперты и затворены, почему ни ноги на торгу? Не дай Бог, наслали власти лютую кару на **народ Израиля** (1) и те собрались в **домах молитвы и учения** (2) — в синагогах и мидрашах — и душу отстаивают в молитве, а может — со счету дней сбились и будний день за праздник сочли? Пока я так стоял, услышал я рыдания. Пошел в ту сторону, и пришел в молитвенный дом, и вижу: там полно из Израиля, окутаны в молитвенные **покрывала с кистями** и украшены **филактериями** (3), и лица их, как факелы; сами стоят в слезах на коленях, и бьют себя в грудь, и приговаривают: горе нам. И лишь слышат они, как слово “Иерусалим” выходит из уст проповедника, с превеликим рыданием падают они ниц, пока филактерии на голове не заблестят от слез. А вокруг ходит служка с большой кружкой для пожертвований в руке, а на ней написано: “На страну Израиля”, и все бросают в нее — кто гривну серебра, а кто и золотой. И так **потрясло меня это зрелище** (4), что волосы стали дыбом, и не нашел я в себе сил спросить, что это и почему это. Подумал я, если это — смертные люди, так сказано ведь: “**Удержи свой голос от рыданий**” (5) (Иеремия 31:16), а если ангелы они, то и ангелы, и серафимы гимны поют, а не плачут. Подождал я, пока не окончат молитву. А как завершили молитву, встрепенулись они, как орлы в гнездах, и вынули книги из ковчега. И кто сидит и учит Талмуд, а кто сидит и учит Мишну, и читают они законы о святости и чистоте Храма голосом, промытым слезами, и очень я этому удивился, что все занимаются **законами о святости и чистоте Храма** (6), а не **главами о вреде и ущербе**, как принято у польских евреев. И даже люди, что по лицу непохоже, чтоб постигали до конца мысли учителей наших, — и те учат Закон восхищенно и радостно, так что слова выходят у них изо рта, как гимны и песнопения.

И очень полюбился мне их голос, как путнику в пустыне, что слышит птичье пение, хоть и не видит селения, но уже радуется его сердце, потому что понимает — близки дома, сады, апельсиновые рощи. И как увидел я такое рвение, так и не мог собраться

с духом спросить, в чем дело. Если чеканят **корону царскую** (7) и прервет кто работу чеканщиков, не на его ли голову падет вина? Тем временем спустилась ночь. Сели все в прах и вознесли горестные молитвы о Сионе, пожранном огнем, и так сидели они, объятые ужасом, и страхом, и дрожью великой, так что чуть с душой от горя не расставались, пока старик один не принес вина и калачей, и выпили они за то, чтобы в будущем году быть в Иерусалиме. И так шел этот старик от одного к другому, пока не дошел до меня. Налил он мне вина, и дал медовый пряник, и протянул руку, чтоб принять здравицу. Тут схватил я его за руку и воскликнул: клянусь, что не отпущу тебя, пока не ответишь на мой вопрос. Сказал он мне: спрашивай, сыне, спрашивай. Спросил я: почему это собрались вы в доме молитв с таким превеликим плачем? Ответил он мне: а где же собираться Израилю, если не в домах молитв? Сказал я: это ты хорошо сказал, что, где, мол, Израилю и собираться, если не в доме молитв, но я-то что спрашивал? Про рыдания ваши спрашивал. Возвел старец веки и спросил: не из этих мест будешь? Не из этих мест — ответил я. Откуда же ты, спросил он. Сказал я ему, что из Иерусалима я. Как услышал он, что я из Иерусалима, схватил он меня в объятия, и закрутил по всей синагоге, восклицая — иерусалимец с нами, иерусалимец с нами — и усадил меня на почетное место. И все разом воскликнули: в добрый час, в добрый час. И все кинулись ко мне, и ну жать мне руку, и ну обнимать. Тут воздал я хвалу Господу, что дал **голос Иакову, а руки — Исаву** (8), потому что, если бы он дал и руки Иакову, то ничего бы от меня не осталось, кроме, может, мизинца.

Сказал я им: диво дивное, это место — просто диво какое-то, пришел я в город — а там ни души, пришел в синагогу — а в ней полно. Сказали мне: погоди, и про не такие чудеса услышишь. Сказали друг дружке: сейчас кинем жребий, кому выпадет честь принимать иерусалимца за своим столом. Сказал им тот старец: зачем бросать жребий, кто даст больше всех на бедняков страны Израиля, тот и примет его у себя. И тут же стали продавать меня с публичного торга, как какую диковину. И один кричал: даю 18 золотых, ибо 18 — это "жизнь", если азбуку на цифири переложить, а другой кричит: даю 26 — это имя Божье по цифири, а третий добавляет до 32 — супротив 32 путей постижения истины, а еще один увеличивает до числа "Сион" по **цифирной азбуке** (9). Вскочил тут один и говорит: ставлю, как число всех букв имени "Ерусалим". И развязал мошну, и вытащил полный вес слова "Еруса-

лим” по цифири. Но тут вскочил другой против его и воскликнул: как же можно забыть букву “И” в слове “Иерусалим”? Ведь эта буква “И” — как в имени ГосподИ, мИлостивый, СпасИтель, как в словах Израиль и мИр. Пропадет буква “И” — и не будет ни мира, ни милосердия, ни спасения, — не нам, не нам, а врагам Израиля такое! Вот даю я полный вес слова “Иерусалим” по цифири, и гость — мой. Тут же отсчитал он золотые и потянул меня за руку — купил, значит, как по обычаю: пока не сдвинет человек покупку с места — не завершена сделка. Сказал я: братец, убери руку, слава Богу, не к пиратам я попал, чтоб продавали меня с торгов, и не такой я праведник, чтоб ко мне относилось сказанное: **“Продают праведника за серебро”** (10) (Амос 2:6). Если б не видал я раньше ваших слез, решил бы, что потешаетесь надо мной. Почему? Сказал я им: сколько бедолаг есть в Иерусалиме, что им и есть нечего, потому что гроша за душой нет, сколько человек от голода вспухло в Стране Живых в Сионе, сколько умерло в Иерусалиме от голода, потому что гроша нет, а евреи рассеяния не помнят о них. И если посылают посланца по городам рассеяния собирать на бедняков Страны Израиля, то сколько он порогов обобьет и сколько поклонов каждому отобьет, чтоб преисполнились жалости, но не преисполнятся, потому что благотворители эти, как камень, далеки от подаяния. А тут я пришел к вам, а вы спорите из-за меня, как опять же **каменья** (11), из-за праотца нашего Иакова, мир праху его. Как услышали это, горестно вздохнули о покойном праотце Иакове, мир праху его. Как услышали это, горестно вздохнули и сказали: нет ума пуще опыта, если бы понимали евреи рассеяния, то посадили бы вас в карету и золотыми червонцами осыпали б. Сказал я им: не только не уняли вы моего удивления, но лишь прибавили к нему, и клянусь я Тем, Кто воцарил имя Свое в Иерусалиме, что не тронусь с места, пока не ответите на все мои вопросы. И ответили они мне: раз ты заклил нас Тем, Кто воцарил имя Свое в Иерусалиме, разве можем мы не поступить по-твоему?

И повел речь тот старец и сказал: да будет тебе ведомо, сыне, — и вытащил табакерку из-за пазухи, постучал по крышке и открыл ее, и засунул туда двуперстие, и захватил полную щепоть табаку, и понюхал, и разгладил усы и засунул себе всю пятерню в бороду, и стал разглаживать ее сверху донизу, пока не легла ровными прядками, а затем схватил себя за бороду левой рукой и воскликнул: чего мне тебе рассказывать, можешь и сам прочесть по книге!

Окликнул он служку и сказал ему: беги ко мне домой, там под часами увидишь эдакую подставку, а на ней — стеклянный колпак, а под колпаком — ключик. Возьми ключик, отдай его моей жене и скажи ей от моего имени: иди, мол, в мою спальню и подыми верхнюю перину на моей кровати, а затем нижнюю перину, что под верхней периной, открой ключиком ларец, что покоится там у меня в изголовье, и вынь оттуда толстенную книгу — это и есть тот список. Только, не дай Бог, не касайся узелка, в котором увязан прах земли Израиля, а то рассыплется, а я уже старик, одной ногой в могиле, и придется мне ложиться в прах чужбины, не прикрытый прахом земли Израиля. Итак, вынь этот список и принеси его сюда, в дом молитвы, чтоб прочел путник все, что записано в списке, ибо не сравнится слуху со зрением.

И сказал я: о поспешники, сыны торопливцев, кажется, что раньше, чем доведется мне услышать этот рассказ, услышу трубный звук пришествия Мессии. Вдохнул старец и сказал: дай-то Бог. Сказал я ему, “Надежда сердце томит” (притчи 13:12), от нетерпения у меня уже чуть дух не вышел — расскажите, а нет, так я побежал. Все перепугались, перепугался и он и повел рассказ.

Знай, что испокон веков был сей град велик во Израиле, и славился учением Божьего Завета и мудростью, и исполнялось в нем сказанное: “И все сыны твои ведают Господа”. Даже младенец, что курицы в глаза не видал и слова “Пасха” выговорить не умел, уже знал, какое яйцо можно подавать к пасхальному столу. И если спросишь лотошника на базаре, сколько, мол, ходу до такого-то места, то тот ответит: успеешь по пути перечесть раздел о первосвященниках в трактате “Праздники” или хватит на раздел о рабби Ханине, — в соответствии с расстоянием. И даже голодранцы, у которых и рубашки на плечах не было, и те умели разбирать по косточкам, то бишь по досточкам, “Бочку” рабби Иоханана, ибо говорит р. Иоханан в трактате “Срединные врата”: “Кто докажет мне, что раздел о бочке в Мишне написан одним мудрецом, а не двумя спорщиками — понесу за ним его одеяния в баню”, только из почтения к р. Иоханану **упрятали их доказательства** (12). И от такого непрерывного учения все дни были у них, как праздник. Сегодня один завершит главу из Талмуда, завтра другой — все шесть книг Мишны, и затевают они **пир во славу заверченного учения** (13). И даже в девять дней покаяния перед Девятым ава — днем разрушения Храма и падения Иерусалима, когда следует

поститься, — не скрадывали они мясницкого резака (14), и дух мясной шел от конца и до края города, так что кручины по Иерусалиму неприметно было. А о чем кручинились в самый день Девятого ава — в день, когда дважды разрушался Святой Город? Кручинились о том, что из-за печали отвлеклись от учения. И большой мидраш — Дом толкований — был у них, и ученые мужи сидят там с Талмудами в руках. И в городе и голоса человеческого не услышишь из-за гласа Торы. Отмолились вечернюю — собираются все мужи города и учат Писание — каждый со свечой в руке (чтоб, не дай Бог, не задремать), так что свет их свечей затмевает свет месяца. А затем гордились они своим городом и говорили: сей град — совершенство красоты, нет ему равного на свете. Случай был с одним из наших горожан, что судился с евреем из другого местечка. Возвел он очи горе и сказал: Господи Боже, ведомо Тебе, что я из города Н.*, так что реши в мою пользу. И еще был случай с одним из наших горожан, что приключилось ему быть в другом городе в ночь **освящения молодого месяца (15)**, отвел он взор в сторону, скривил нос и сказал: тоже мне луна, хотите увидеть луну — поезжайте в наш город. И так шло несколько лет. Деньга водилась, и дома полны Торы, но копилка рабби Меира-Чудотворца с подаваниями на бедняков Земли Израиля пуста и паутиной заросла с червонец толщиной. И **Дух Божий (16)** машет одним крылом, и волочит другое крыло, и рыдает, и слезы падают на щелки копилки, и те покрываются ржой. И был случай со сборщиком пожертвований для Земли Израиля, послали собирать деньги из копилки, и без топора открыть их не могли, а когда открыли, то ни гроша там не нашли. И не то чтобы, не дай Бог, чуждались эти сердобольные богоугодных дел, но говорили: наша страна — Земля Израиля, и наш город и есть Иерусалим, и чем разбазаривать добро на скудоумцев Святой Земли, откуда до нас ни одной важной книги еще не пришло, отстроим-ка мы лучше себе большой Бет-мидраш — Дом учения, молитвы и толкований — и украсим его чудными книгами. Сразу выбрали чудное место, и приволокли больших камней с горы, и замесили известку на желтке, чтоб навеки стоял дом, и рабочие утренничают и вечеряют на работе, соберутся передохнуть — пихают их старцы града чубуками трубок и приговаривают: ах вы, мужичье, **Тора мыкается (17)** без крыши над головой, а вы тут себе в разгул бражный пускаетесь.

* Укрыл посланец название города, затем что покаялись, и не обнародовал названия.

И принесли столы железной прочности, чтоб выдержали все те томы, что кладут на них во время учения, и не подломились. И освятили новый мидраш, и прочли проповедь в честь пристанища Торы. А что проповедовали? Не сказали бы мудрецы наши блаженной памяти: "Кто не видал высившегося Храма, тот не видал сроду подлинного великолепия" — сказали бы мы: наш великолепен; не славился бы Храм мрамором, и лазурью, и алебастром "лепее вся" — сказали бы мы, что книги в чудных переплетах оленьей кожи... и молчали.

А как вознесся Дом учения во всей своей красе, закатился в город один посланец из Земли Израиля, что ездит из города в город, проповедует и на нужды бедняков в Святой Земле деньги собирает. Затащил он свои пожитки в мидраш, покрутился туда-сюда, но так как все утруждены наукой были, то никто ему руки не подал, и "добро пожаловать" не сказал, и не спросили его, откуда он и куда, и есть ли у него где остановиться, и у какого богача он на постое, и стол пред ним не накрыли, и стакан чаю не поднесли. Вынул вестник из котомки две-три маслинки и ломтик хлеба с маслинку, мало ел, много вздыхал, отпил воды из ведра, взял посох и пошел к раввину за разрешением сказать проповедь в мидраше в субботний вечер. Ответил ему раввин: град сей до краев полон Торы, и все сыны его ведают Господа, зайдет проповедник в город — мигом задавят его своим знанием Священного Писания и рта открыть не дадут, пока не сойдет он с амвона с обидой в сердце и со стыдом на лице. Но не обратил вестник внимания на слова раввина и ответил ему словами Писания: "Ради Сиона не умолкну и ради Иерусалима не успокоюсь" (Исайя 62:1), вернулся в мидраш, написал там афишки такие: "Мудрый муж пришел к вам из Святого Града Иерусалима, сахарно проповедует, и сладко послушать его и т. д.", а затем пошел на рынок и завернул к пекарю, купил у него полную миску забродившего теста, покрутился по городу и расклеил тестом афишки. Пришла суббота, пришел весь город его послушать. Взошел он на амвон, закутался в молитвенное покрывало и стал у ковчега со святыми свитками, и повел проповедь во славу Земли Израиля, и о чудных свойствах ее, и о прелести Иерусалима, да отстроится он и возведется. Так плел он кружева изящных рассуждений о благе жизни в Святой Земле, и не громыхая, а кротко и покойно, и всеми пряностями Торы речь свою сдобрил, как учит нас Писание: когда послал Иаков Иегуду и его братьев в Египет пред лик грозного министра

фараонова, сказал он им: “Возьмите с собой плодов земли сей, и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду,стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов” (Бытие 43:11). Напоминает этим Тора, что козь соберется человек говорить о Земле Израиля, не начинал чтоб сразу высокими словесами, а чтоб шел постепенно, со ступеньки на ступеньку, пока не доберется до главного, как и праотец Иаков, мир праху его, что сказал потом: “Возьмите вдвойне серебра в руки ваши” (Бытие 43:12).

Проповедует он и слышит голос из толпы. Повернул посланец лицо на голос и слышит, подавливают его суетливым вопросом: так, мол, и так. Ответил: так, мол, и так. Поднялся суетлив и возразил: не так, мол, а этак. Привел ему посланец доказательство из Талмуда: так и так. Ответили ему: ты и на игольное ушко не углубился в смысл этого, а по сути — так, мол, и этак. И противоречили его доводам, и опровергли его выводы, пока не потемнело его лицо, как дно сковороды. И так задавили его в споре знанием Закона и словесными уловками, и какое бы он объяснение ни дал — десятью подковырками подловят, ответил на десять подковырок — сразу найдут новые зацепки. Запутали его мысль, и доводы его иссякли. Но сам воздух Земли Израиля прибавляет человеку ума. Что же он сделал? — Оставил Писание, перешел к Сказаниям. Но и здесь не оставили ему места укрыться. Увидел он, что одолели его суетливы, смолк, приложился устами к завесе ковчега, уткнулся в щит Давидов, вышитый на завесе, пока не заблестело на ней золотое шитье от слез, снял с себя покрывало и сошел с амвона в стыде лица. И даже положенной после проповеди молитвы тут не сказали, а прямо вознесли пополуденную молитву. Ушел посланец в дальний угол и стал за печкой, заливаясь слезами. А куда стоял он так, собрались мальцы, которым лет мало, а ума и того меньше, и стали приставать к нему, как мальцы к пророку Елисею. И не только они, но и всякая шушера, дрань перекатная, что с самого начала завидовала посланцу, принялась его допекать, мол, поглядите на этого, обнаглел и взялся нашим великанам духа проповеди читать. Не то место и не тот город ты выбрал, друг любезный. А сейчас валяй, поведай сластенам Земли Израильской, что и в рассеянии — де мед с молоком течет. Слушал посланец хулу и не отвечал — только слезы глотал. Потрепал его служка по плечу и сказал: по обычаю Земли Израиля, говорят, учением Торы от обязанности **есть три раза в субботу** (18) не отделаешься, иди, покушай со мной. Побрел посланец за служкой и поел хлеба со

слезой. Чудо великое приключилось там — свечерел день и не увидел обиды людской.

Миновала суббота, а на дорогу ни гроша нет, потому что все деньги, что собрал посланец, отдал он старейшине Святой Земли на нужды бедняков ее и положился на Израиль, что они — милостивцы, сыны милостивцев, — не сожмут, не дай Бог, руки и не завяжут кошель.

И как окончилась утренняя молитва, подошел он к тому и другому и завел с ними разговор о силе и пользе подаяния на Землю Израила. И каждый находит изъян в речи посланца и лезть в свой карман не спешит. А какой ответ дал ему общинный казначей, этому посланцу, когда попросил у него подаяния на Землю Израила? Указал он ему на здание мидраша и молвил: сказал пророк: “Будем платить устами нашими вместо тельцов” (Осия 14:3); а еще — храм отстроенный паче Храма низвергнутого, а также сказано в Торе: “Любит Господь врата Сиона превыше всех чертогов Иакова”, а понимать надо, по слову мудрецов наших блаженной памяти: “Любит Господь врата, осиянные Торой”, ибо со дня разрушения Храма не осталось у Господа на этом свете ничего, кроме сияния Торы.

Увидел вестник, что не обращают на него внимания, взял посох и котомку, подошел к ковчегу со святыми свитками Торы, сунул голову меж ними и закричал со всей горечью сердца: Всевышний Владыка, ведомо Тебе, что не почестей ради старался я, и не чтобы род свой прославить, но во имя бедняков народа Твоего, народа Израила, что сидят перед Тобой в Земле Твоей святой и хиреют с голоду; как крутило меня и мотало — и вал морской грозил потопить, и разбойники погубить норовили, но ни разу я Тебе не сказал, зачем, мол, Ты меня допекаешь, а сейчас пришел я к сынам Твоим, знатокам Твоей святой Торы, и гляди, что со мной приключилось. И тотчас закрыл он ковчег, и приложился устами к завесе ковчега, и пошел к двери, и поцеловал мезузу на косяке, и запел чудным голосом стих из речений мудрецов наших блаженной памяти: “Любит Господь врата, осиянные Торой, суждено всем домам молитвы и учения, что на чужбине, утвердиться в Земле Израила”. И в этот миг все почувствовали, как дрогнула земля под ногами, и бросились бежать, спасая души свои, и остановились вдали, и увидели, как стены мидраша клонятся к востоку, как человек, что пускается в путь. И посланец идет перед мидрашом и распевает на грустный лад: “Любит Гос-

подъ врата, осиянные Торой, суждено всем домам учения и молитвы, что на чужбине, утвердиться в стране Израиля". И так он распевает и идет, и пошел за ним следом и сам дом мидраша, со всеми книгами, и столами, и скамьями, и идет себе вестник неспешно, а за ним следует мидраш. И так они шли, пока не дошли до речки, а как дошли до речки, исчез посланец, и мидраш сгинул, а место, где стоял раньше мидраш, осталось пусто и голо в лучах полуденного солнца. И как увидели это горожане, так возрыдали они страшным плачем, и в пробуждении душевном раскаялись, и прияли обет на себя, и на семя свое, и на семя семени своего до пришествия Избавителя — да придет Он вскорости в дни жизни нашей — соблюдать тяжкий пост в этот день из года в год, и в этот день поста возносят одни покающиеся и горестные песнопения, и читают, и учат порядок приношения жертв во Храме, и главу об обрядной чистоте, ибо пробуждают они душу, чтоб сильнее прикипала к городам страны нашей и к граду Господа Бога нашего.

И еще дают побольше на бедняков Святой Земли и идут к речке просить у того посланца прощения, что не воздали ему должного почета, и продолжают пост до особой полуночной молитвы. А после полуночной молитвы едят малую трапезу, чтоб, не дай Бог, не вышла встрепенувшаяся душа из тела от горя и покаяния, и так есть у них и молитва, и раскаяние, и подаяние, то есть голос, пост и казна.

Выслушав этот рассказ, утешил я их речами и сказал им: о наставники мои и повелители, клянусь я небесами и землей, что видел я дом вашего мидраша в Иерусалиме; он свят и стоит в святом месте, и святые сыны Израиля свято изучают там нашу святую Тору. И сказал я им: блажен ты, о Израиль, что и дома, в которых ты изучаешь Тору, и те Господь возводит в Землю Израиля. И если уж Господь утруждает Себя из-за простых досок и камней и утверждает их в Земле Израиля, то что уж говорить о святом народе Израиля, что занимается Торой, добрыми деяниями и исполнением Заветов. И это же сказано в Писании: "И приведу их на гору Моей святости и возликуют в доме Моих молитв". Да сбудется по слову сему, аминь.

КОММЕНТАРИИ

И зачем это переводить Агнона на языки народов мира? Извлекут еще что-нибудь не то. Переводить на иврит — другое дело. Апокриф рассказывает о встрече Агнона и Сола Беллоу. “Переводили ли тебя на иврит?” — спросил нобелевский лауреат будущего нобелевского лауреата. — “Не знаю, — ответил тот, — вообще-то переводили на двадцать языков, а на иврит — не упомяну”. — “А ты позаботься, чтоб перевели, а то другие языки уж больно быстро уходят с лица земли, лишь иврит остается навеки”.

Действительно, других живых языков, современников иврита, на земле нет, отбыли в царство мертвых и латынь, и аккадский, и древнеегипетский, и все прочие молодцы, с которыми вместе мы начинали путешествие в историю, а Библию — ничего, еще читают.

Так что, зачем переводить на иностранные языки — неясно. Да и последствия... “Написали старцы царю Талмаю (Птоломею) Тору по-гречки, и день этот был тяжек Израилю, как день, когда согрешили с золотым тельцом, ибо не переводится в Торе все требуемое... Окончили они перевод 8-го числа месяца тевета, и на три дня померк свет, и мгла застила солнце” — говорят легенды. А то и почище: пост есть у евреев 9-го тевета, а почему — в книгах не сказано. Но указали мудрецы, что был это день смерти Эзры-книжника. А почему в книгах не сказано? Из почтения к Эзре, ибо в те же дни (века спустя) вышел перевод Торы на греческий язык, и заслуги Эзры не уберегли от этого. Сказано ведь: не опередил бы его Моисей, достоин был Эзра получить Тору с Синая. Но Моисей и по смерти защитил народ Израиля: так, собрался злодей Аман (см. кн. Эсфири) погубить евреев в месяц, когда умер Моисей, и вышло наоборот — как раз тот день нам в помощь. А день смерти Эзры нас не уберег от напасти перевода, и потому, хоть и есть пост, скрыли мудрецы, что в честь Эзры, чтоб не срамить его.

Ну ладно, перевел — перевел, но зачем еще и комментарии? Говорится в книге “Праздные беседы мудрецов”: “Сочинитель один сочинил толкования на притчи Соломоновы и на книгу Иова. Пришел к великому мужу просить одобрения на толкования свои. Одобрил тот толкования Иова, а толкования Притч не одобрил. Спросил его сочинитель: какой изъян нашел, мол, в моих толкованиях Притч? Сказал ему: Иов многострадальный — много напастей выпало ему, и напасть твоих толкований ему нипочем. Но царь Соломон — мир праху его! — всех благ удостоился, и зачем ему эта напасть?”

Да простит толкователя многострадальный Агнон...

1. ИЗРАИЛЬ. Иаков, праотец наш, вышел из чресел матери вторым, держа за пятаку своего брата-близнеца Исава, и назвали его Иаков, именем, в котором слышится слово “пятка”. Но у того же корня АКВ есть и другой смысл — “обогнул”, “пошел не прямо”, “обогнал”, “скривил”. И все это

сделал наш праотец Иаков — скривил душой, и обманул своего брата Исава, и обогнал его — вышел вторым из чресел матери, а получил благословение, как первенец. И немало других кривых вещей сделал, и путь его был непрямым, и пострадал он за все это немало — и с Рахилью его обманул отец ее Лаван-сребролюбец, и приходилось ему бегать ночью и из отчего дома, и из чужой страны. Но вот у речки Иавок он встретил ангела, и сражался с ним всю ночь, и не уступил ему, и поутру ангел дал ему имя "Израиль", в чем слышится "боровшийся с Богом", "бившийся с ангелом". Но есть у имени Израиль и другой смысл — по корню ИШР — "прямой". Господь через посредство ангела "выпрямил" Иакова, сказав — раньше ты ходил криво, впредь будешь ходить прямо. И сыны Иакова, народ еврейский, стали звать себя: сыны Израиля, или просто Израиль. Итак, "Израиль" — это народ Израиля, государство — не государство Израиль, а государство Израиля, народа Израиля, во Израиле — по Израилю. В "иврите мудрецов" и у Агнона часто встречается: Израиль молится; понадеялся на Израиль, что они — милостивцы; и т. д., то есть пишется "Израиль" вместо "Сыны Израиля".

2. ДОМ МОЛИТВЫ И УЧЕНИЯ. У евреев, кроме синагоги (греческое наименование Дома собраний — места, где евреи только молятся) есть еще бет-мидраш, Дом толкования и учения, где жители агноновской страны проводят все свое время в учении Торы. Этот бет-мидраш — слово однокоренное и близкое по смыслу к мусульманскому "медресе" — выполняет роль одновременно и клуба, и молельни, и библиотеки, и университета.

3. ПОКРЫВАЛА С КИСТЯМИ И ФИЛАКТЕРИИ. Филактерии (тфилин на иврите и по-арамейски) — остаток древнего обычая, ведомого и другим народам: привязывать амулеты к голове и руке. Такой обычай пристал и воинам Иисуса Навина, прошедшим пустыни по пути в Землю Обетованную. Как и положено древней религии мифа, в тфилин реализуется символ не разумным рассуждением, а кожаным ремнем и деревом. Миф прав — так лучше напомнить себе о том, что слова Божьи у нас в сердце и рука выполняет Его указ. Тфилин — связь все и вся — дел и помыслов, чувств и мыслей и т. д. Сам Израиль — тфилин на руке Бога. Праведники носят тфилин весь день. В наши дни эти коробочки со вложенным в них куском пергамента — текстом из Пятикнижия — привязываются евреями лишь на время молитвы, раз в день, ежедневно, кроме субботы — так как это своего рода работа.

Что же это за текст? Исход 13:1–16 о первенцах, посвященных Господу, о законах Пасхи, о выходе из Египта; Второзаконие 6:4–9 с главным символом веры евреев: "Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один"; Второзаконие 11:13–21 о добре, которое выпадает на долю евреев, если будут исполнять заповеди, и о напастях, если не будут исполнять. И в каждом из этих отрывков говорится о "словах этих — знаком на руке и повязкой меж глаз". Говорят, что слово "тфилин" не от "тфила" — молитва на иврите, а от греческого "теофил" — боголюбов. "И напиши слова эти на косяках домов", говорится там же, и евреи привязывают, приколачивают коробочки с этими словами к косякам, и тогда они называют

ся “мезуза”. На мезузе снаружи пишется имя Всемогущего — “Шаддай”, ибо можно расшифровать это имя, как Страж Дверей Израиля. Среди еврейских законов есть и закон о подлежащем уничтожению “городе порока”, взбунтовавшемся против Господа — нечто аналогичное закону о непокорном и бунтующем сыне, которого надлежит побить камнями. Но практика у евреев пошла по пути смягчения наказаний, и мудрецы постоянно пытались найти уловки, которые практически привели бы к отмене этих наказаний и вовсе. Одни из них — не провозглашают город “городом порока” и не истребляют его, пока есть на его косяках хоть одна мезуза. В результате, сказал один из мудрецов наших, не было города порока и быть не может.

Появление одеяния с кистями легенда объясняет так: во время исхода из Египта один еврей нарушил субботу. Господь тогда сказал Моисею: “В будние дни филактерии напоминали ему о законе, но что напомнит ему о Законе в субботу, когда не надевают филактерий? Пусть отныне евреи всегда носят одеяние с кистями по краям, и пусть эти кисти всегда будут перед вашими глазами”. И теперь одеяний с кистями по краям бывает два вида — одно носят на теле под верхней одеждой, и оно именуется *циц ит*, или “малый талит”, а другим покрывают плечи во время молитвы, и оно называется “большой талит”, или просто *талит*. Именно о таком талите идет речь в рассказе.

4. ...ПОТЯСАЛО МЕНЯ ЭТО ЗРЕЛИЩЕ. “Земля Израиля от всякой суеты очищена и денег взять там неоткуда, кроме того, что привозят из-за границы” (“В сердцевине морей”). До XX века евреи в Земле Израиля почти не занимались продуктивным трудом, да и никто не занимался тут продуктивным трудом, и феллахи, и бедуины были бедны и с трудом кормились, евреи же сидели и молились и тоже с трудом кормились — от щедрот евреев из-за границы. Щедрот сыпалось мало, у каждого еврея за границей и у каждой общины за границей были более срочные нужды, чем тратиться на бедняков Земли Израиля, приходилось слать то и дело посланцев — выпрашивать денег, а тут — так и сыплются червонцы и серебро! Неудивительно, что рассказчика потрясло это зрелище и волосы стали у него дыбом.

5. “УДЕРЖИ ГОЛОС ТВОЙ ОТ РЫДАНИЯ”. Вся еврейская культура после разрушения Первого Храма и до наших дней была основана на толкованиях и интерпретациях Библии. Хоть это — книга немалых размеров, вывести из нее все нормы поведения и массу предсказаний нелегко, если не воспользоваться хитрым приемом толкования вне контекста. То, что говорилось отдельному лицу по какому-то конкретному поводу, обобщается и принимает космическую значимость. Например, пророк Иеремия, описывая возврат изгнанников Израиля в Святую Землю, говорит: “Рахиль плачет о детях своих... так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза от слез... ибо возвратятся они из земли неприятельской”. Из этого выводится общее правило: вообще — удержи голос твой от рыдания. Верующий еврей заметит, что такое толкование, заключающееся в произвольном, на взгляд постороннего, выхватывании куска текста, основано на традиции не менее древней, чем сама Тора — на “устной Торе”.

полученной, по традиции, Моисеем на горе Синай вместе с “писаной Торой”. Талмудист расскажет о 13 способах вывода толкований из слов Торы, один из которых применен и здесь. А еще можно предположить, что тут — цитата, не вырванная, а согласованная с контекстом; тогда ее надо понимать так: евреи плачут, о чем же им плакать, если не об изгнании и разрушении Храма, а об этом плакать не след, ибо обещал Господь Рахили: “Удержи голос твой от рыдания... ибо возвратятся они из земли неприятельской”.

6. *“...ЗАКОНАМИ О ЧИСТОТЕ И СВЯТОСТИ...”* На самом деле нет такого трактата и раздела, который не напоминал бы нам о разрушении Храма. Например, легенда о разрушении Храма помещена в трактате “Разводы” в главе “Ущерб и вред”. Почему в трактате “Разводы”? Ибо намекает это на брак между Всевышним и Собранием Израиля, брак, заключенный с помощью кольца — страны Израиля и Храма; и тогда разрушение Храма сходно с разводом. Но почему в главе “Ущерб и вред”, а не, скажем, в главе “Изгоняющий жену” или “Разводное письмо”? По сказанному в Исх. 22:6: “Плату уплатит разжегший пожар”, а кто разжег пожар, в котором сгорел Храм, если не Господь Бог, а значит, Он же и уплатит за это — воздвигнув нам новый Храм, краше прежнего, в скорости, в дни жизни нашей, аминь; и поэтому включили мудрецы нашу легенду о разрушении Храма в раздел об исках главы “Ущерб и вред”.

7. *КОРОНА ЦАРСКАЯ*. “Если умер мудрец, горюют о нем, а умер царь — неважно, ибо любой из Израиля достоин быть царем”, — сказано у мудрецов. И евреи часто сравнивают себя с царями, а еще чаще — с любимым царским сыном, царем именуя Царя царей. И любое объяснение, любая притча начинается словами — “К примеру, царь”. Множество таких притч содержится в книге “В сердцевине морей”. Может, поэтому у евреев нет и монархии — если каждый достоин быть царем, кто ж такую честь уступит другому, по крайней мере, до прихода Мессии, сына Давидова, в скорости, в дни жизни нашей, аминь.

8. *ГОЛОС — ИАКОВУ, РУКИ — ИСАВУ*. Вот еще один красивый пример толкования Библии вне контекста. Праотец Иаков собрался обманом получить благословение своего отца Исаака, выдав себя за своего брата Исава. Для этого он обмотал себе руки шкурами, чтоб стали, как у волосатого Исава. Потрогал слепой Исаак руки сына и удивился: “Вот ведь, руки — руки Исава, а голос — голос Иакова”, но благословил все же. Затем, уже знакомым нам приемом, эти слова извлекаются из контекста и толкуются как указание Божье: голос — для влословий Богу и молитв — дан Иакову, евреям, а руки — то есть власть и сила — даны иноверцам. Это понимание фразы обыгрывается и здесь — дал бы, мол, Господь Иакову — евреям — не только страх Божий, но еще и силу — тут бы и разорвали бы рассказчика на радостях.

9. *“...ПО ЦИФИРНОЙ АЗБУКЕ”*. Евреи любят подобные игры — у каждой буквы есть числовое значение, и любое слово можно представить соот-

ответственно числом и сравнить с другим числом (ср. попытки Пьера Безухова в "Войне и мире" вычислить свое место в мире таким путем). Например — "Кончились молитвы Давида, сына Иссея" (Пс., 72- или 71 по канонич. переводу) — выражается по цифире тем же числом, что и "Благословенно имя Его ныне и присно и во веки веков". А с буквой И евреи играют тоже бесконечно. Праматерь Сарру сначала — до завета с Богом — звали Сарай, при завете эта буква И у нее отнялась, и куда же делась? А вот Бог уважил эту букву, и вместо конца женского имени поставил ее в начало мужской — и Моисей изменил имя своего помощника Ешуа бин-Нуна (Исуса Навина) на Иешуа бин-Нун (Иисус Навин) .

10. *"ПРОДАДУТ ПРАВЕДНИКА ЗА СЕРЕБРО"*. У Амоса идет речь о грехах и преступлениях Израиля: "Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают праведника за серебро, и бедного — за пару сандалий", но рассказчик цитирует, как обычно, без связи с текстом.

11. *КАМЕНЬЯ*. Очень красивая легенда в Талмуде, относящаяся к кн. Бытия, гл. 28, ст. 11–22. Праотец Иаков бежал от гнева брата Исава в Харран, к Лавану. По пути, к северу от Иерусалима, он остановился на ночлег, положил камень под голову и уснул. И во сне явился ему Господь и пообещал дать ему и его потомству Землю Ханаанскую. Легенда гласит, что, все камни в окрестности спорили, кому из них выпадет честь лежать под головой Иакова — ведь поутру Иаков возлил елей на этот камень, умастил его, так сказать. После долгого спора все камни слились воедино и стали одним камнем, наподобие Собрания Израиля, что едино, несмотря на споры.

Мало того, что все камни слились воедино — вся Земля Израиля сжалась до размера четырех амот, то есть до квадратной сажени, участка, на котором спал Иаков, а это известно нам по сказанному там: "Землю, на которой ты лежишь, тебе дам и твоему семени" (ст. 13). А сжалась она до четырех амот, чтобы напомнить — много ли человеку земли нужно. Место это было — Бет-Эль, Вефиль, к северу от Иерусалима.

12. *"...УПРЯТАЛИ ИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"*. Почтение к рабби Иоханану — не единственная причина прятать книги. Сам Господь спрятал Книгу Создания, которую написал во время Сотворения мира, а другие говорят, что осталась у мудрецов, и с ее помощью оживляли они прах и глиняных болванов людьми делали. Царь Хезекия спрятал Книгу Исцеления, что получил праведник Ной из рук ангела. Книга Зогар была спрятана многие годы и века, пока не вернулась чудом, пока не настало ей время появиться. Чуть было не спрятали люди Великого Собрания и книгу Экклесиаста, и Песнь Песней, и книгу Иезекииля. Спрятали на многие годы комментарий Рамбама на книгу Бытия, ибо писал он, что в семь дней творения ночь вслед за днем приходила, а все знают, что день наступает вслед за ночью, как сказано в Левит 23:32: "От вечера до вечера празднуйте субботу", а не от утра до утра. Р. Исаак, племянник р. Тама, узнал все дополнения к Талмуду и воскликнул: "От суетумудрия сего забудется Закон", — и повелел все дополнения спрятать, кроме самых необходимых. И вообще толковали муд-

рецы наши стих в Экклесиасте 1:18: "Кто умножает познания, умножает скорбь" — так: если б не согрешил Израиль и не поклонился бы золотому тельцу, то получил бы только Пятикнижие и книгу Иисуса Навина, ибо в них все есть — и Завет с Богом и Земля Израиля, но согрешил — и дались ему и другие книги в наказание, чтобы умножить его скорбь.

13. ПИР ВО СЛАВУ ЗАВЕРШЕННОГО УЧЕНИЯ. Важный обычай, ибо мир дольний и мир горний связаны друг с другом при помощи Учения. Видит ученый муж, что не все в мире хорошо, изучит трактат в Талмуде, отпразднует его завершение и начнет с новой страницы; так и на небесах — отпразднуют его завершение и начнут жизнь всего мира с новой страницы, может быть, лучше прежней.

14. "...НЕ СКРАДЫВАЛИ МЯСНИЦКОГО РЕЗАКА..." А вот почему не скрадывали — всерьез понимали шутку, по которой запрет есть мясо в девять постных дней, предшествующих 9-му аба (дню траура и разрушения Храмов), и наложен только на невежд, по сказанному в Талмуде, в трактате "Псахим": "А невежде и мяса есть не положено". Гордцами были и считали себя учеными мужами.

15. ОСВЯЩЕНИЕ МОЛОДОГО МЕСЯЦА. Этот очень красивый и, видимо, очень старинный обряд проводят во время второй недели после новолуния, то есть второй фазы месяца, когда он висит широким серпом в небесах. Выходят во двор Дома молитвы, благословляют Господа, обновляющего месяца, который обновит в милости Своей и нас, а затем подпрыгивают, приговаривая: "Как я до Тебя не могу дотянуться, пусть так и враги мои не смогут дотянуться до меня". Когда луна красивее — когда она полна или когда серпом лишь поблескивает? Японцы и китайцы склонялись с полнолунием, и еврейские праздники тоже часто выпадают на полнолуние, как, например, Пасха. "Песнь Песней была сотворена в момент полного совершенства, когда луна была полна и Храм высылся" — сказал р. Иоси.

16. ДУХ БОЖИЙ. Так переводится здесь мистическое понятие Ш'ХИНА, которое обычно переводится, как Божье Присутствие и напоминает библейское слово "скиния". С позиций чистого единобожия можно сказать, что под этим подразумевается связь Господа с народом Израиля, в среде которого Он обитает (шохен), как сказано в кн. Исхода 25:8: "Я буду обитать меж вами". Это, так сказать, еврейская сторона единого Бога. Однако со временем это слово наполнилось иным смыслом. Под Ш'хиной стали понимать иногда нечто вторичное от Господа, что первичнее всего остального. Каббалисты, делившие Бога на различные духовные сферы, считали Ш'хину самым младшим и самым женским элементом Бога. Так как в Библии много антропоморфических замечаний по отношению к Богу, технически оказалось удобным приписывать их Ш'хине, вторичному духовному явлению. Господь вездесущ, как же выразить уверенность в том, что Он — с нами? Тут и появляется надобность в Ш'хине — вторичном проявлении Духа. По легендам, Ш'хина последовала за евреями в Изгнание, и томится там, ожидая возврата с приходом Мессии. По некоторым легендам,

она никогда не оставляла Храмовой горы и Стены Плача, но в Талмуде ("Иома Эв") говорится, что и во Втором Храме Ш'хина не покоилась, не то что в развалинах Второго Храма. Ш'хину часто представляют в виде птицы — она стонет в Иерусалиме, восклицая: "О дети мои, за грехи ваши Я разрушил дом Свой" ("В сердцевине морей"). А почему именно птицы? На это намекает, по легенде, число псалмов в Псалтири — 150, на иврите: куф-нун (если выразить числа буквами). А куф-кун вместе читается как "кен", гнездо, иными словами, Псалтирь — это гнездо птицы-Ш'хины. Видимо, отсюда взяли христиане свой образ голубя — Божьего духа.

17. **"ТОРА МЫКАЕТСЯ..."** В устах старцев града — замаскированная цитата из "Эстер раба": "Храм Божий в развалинах, а злодей этот (царь Артаксеркс, Ахашверш на иврите) пускается себе в брачный разгул".

18. **ТРИ ТРАПЕЗЫ В СУББОТУ.** Принято у евреев есть три трапезы в субботу — одну вечером по сретению субботы, одну днем субботы после молитвы, и одну — перед исходом субботы, и говорит легенда, что три трапезы эти — супротив Авраама, Исаака и Иакова, а трапеза, что вкушают по исходе субботы — против царя Давида, мир праху его. Но, как можно прочесть на первой странице "Сретения невесты", считалось, что чтение Торы и учение освобождает человека от обязанности есть третью трапезу, но не в Земле Израила — по словам служки.

Израэль Шамир

ДАВИД ДАР

"ИСПОВЕДЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ"

*О бесплодности старости, о борьбе идей, о похоти,
о победителях, о божественном одиночестве,
о литературных оценках.*

Цена при покупке в издательстве: в Израиле — 70 лир, за рубежом — 3 доллара, включая пересылку морем. Пересылка авиапочтой: в Европу — 2 доллара, в Америку и Австралию — 2,50 доллара.

Заказы и чеки направлять по адресу: "Tarbut", P.O.B. 27166 JERUSALEM, ISRAEL.

ТРИ ГЛАСА ВОПИЮЩИХ

Стальные борцы, могучие кадры нужны нам!

Поэт же — вроде — моллюск: пока лежит тихо в своей коробочке-ракушке — копит. Откроешь — тьфу! Смотреть неприятно: слизь. Пальцем ее потычешь, плоть отверстую, незащищенную, там: жемчужина.

Не нужны нам поэты. Стальные кадры нужны нам.

Твердо: сомнения — прочь. Нет сомнений. Так нас учили. Так учат.

10 лет назад, в 1969 году, был написан роман, покоривший Россию. Издан он и на Западе. На французский переведен. На английский сейчас переводят. Мало слышно о нем. Вообще что, почти и не слышно. Пару раз помянули, но как? "Исповедь алкоголика...", "роман об алкоголизме в России..." Этом биче и т. д.

Знал я Веничку Ерофеева. 37-летний, седой, с мрачными голубыми глазами, молча сидел он и пил. Суток двое мы с ним говорили. Он — молчал. Уезжая, сказал (но не мне), что понравился я ему. А тогда я не пил. Я здесь запил.

Кто он — Веничка? Мало кто знает. Из Владимира, вроде.

Жил в Москве и живет. Без прописки, я так полагаю. Кончил (или не кончил) Владимирский пединститут. Пьет. Похоже, что пьет. Только — что?

Что еще можно сказать после поэмы "Москва — Петушки"? Он — сказал. И — раскрылся...

В 74-м году, на конференции в музее Достоевского, в разгар спора о Розанове, встал бывший зек, а ныне профессор Григорий Померанц. Он сказал: "А напрасно — отбрасывать Розанова! Ведь характерен он — особо — для нынешнего поколения. Есть вот, например, гениальное эссе прозаика Венедикта Ерофеева "Василий Розанов глазами эксцентрика"!"" Так сказал, будто оно — это эссе — уже давно, скажем, в записках Мордовского университета опубликовано. А ведь оно — только сейчас — в западном издании пойдет, в немецком альманахе "Серебряный век". Но не в публикации дело, а в факте. Написано-то оно уже давно, году в 72-м.

Розанов, первый из русских писателей — посмевавший "само-разоблачиться", не за счет подставного героя, а так — нагишом. Переиздали здесь Розанова, уважили. В России же даже могилку сровняли с землей, вместе с Леонтьевым. Нету могилки. Но Розанов — жив.

Розанов — следующий этап по линии "Пушкин, Гоголь и Достоевский". Кто же за ним? Разве Вагинов? Юрий Олеша? Нету, не народилось в России Беккетов, Джойсов и Миллеров. Народились — борцы, торцы и дворцы попирая. Народилось племя могучих соцреалистов навыворот, племя пророков, "ти-

танов". Прут носорогами и Максимум, и Сол — напралом: "мы-то знаем, куда!" Не в укор говорю это я однолинейному Александру Исаичу, ибо: сделал свое. Голосом — за 60 миллионов.

Говорю о другом. За свое, за больное.

Промолчали о Веничке. Проморгали поэта. А ведь он — не один.

И идут — монологи. Говори за себя. "Это я — Эдичка". Это я, пьяница, вор и поэт, и солдат — Милославский.

Это — мы.

Это — проза Венедикта Ерофеева.

Проза Эдуарда Лимонова.

Проза Юрия Милославского.

Говорить за себя.

Конечно, приятней читать исповедь Жан-Жака Руссо. Не пил, не курил, незаконных деяний не делал. 18-й век.

А тут читателю — изволь — показывают души, пьяные, изодранные и нагие, три каких-то "мерзавца" — по меткому определению глубоко безгрешного редактора Андрея Седыха. Говорит он, впрочем, об одном, и даже имени не называет (два имени — Лимонов и Бахчанян — исчезли у него со страниц и даже в рецензиях. Нет их — и все!).

Но — какая разница? О Ерофееве дали такую рекламу ("алкоголик!" — кажется, Виктор Некрасов — а уж кто там безгрешен?), что его и читать-то не хочется, Юрия Милославского вдребезги разнес, когда-то писатель, Гладилин (надо же доказать, что он сам — католический

пыпы римского, диссидент новообращенный!), о Лимонове — вообще решили молчать.

Не удастся, господа.

Об этих трех голосах говорить надобно. И не потому, что это кому-либо приятно или неприятно, а потому, что литература (напечатанная и не) — свершившийся факт. Факт же — подлежит анализу, а не ругани.

Много общего в этих трех прозах. Монолог, социальный статус героев и авторов, героини, язык. Можно говорить о новой тенденции в прозе вообще. Почему появилась? Да потому, что надоело читать условную прозу соц и не реализма, уж тем более, тошно писать. Говорить за свое, не прячась за спины двухмерных героев. Говорить языком поэтов Галича и Высоцкого, а не сельских учителей математики и журналистов из "Нового мира". Говорить языком улицы, "подлым языком", в коем упрекаем был еще Пушкин, говорить от себя.

Кто все трое? И что их роднит? Возраст, в первую голову. Всем под 40 или чуть за. Ну, о Веничке я говорил. Да и знаю не много. Жил в Москве за прописку, вкалывал на кабельных работах. Люмпен, словом. Лимонов — с окраины Харькова. Шил штаны. Переехал в Москву — по углам, без прописки, как десятки поэтов из провинции, да и свои, москвичи — в том же теле. Милославский — харьковчанин, в детстве — вор, поэт и актер, по приезде в Израиль — солдат.

О чем они пишут — “на-родней” уж некуда! Знают са-ми, на собственной шкуре. И язык взят оттуда. Галич — это уже стилизация. Гениаль-ная, правда.

И главная тема всех трех, пропущенная, неслышанная этими кретинами-критиками, это — Любовь. Нет, не Блок, и не хамство Есенина, бившего мор-ду Дункан, а — любовь Досто-евских героев. Макара Девуш-кина, скажем. Любовь со-страда-ние — дефис здесь важен! Ведь все трое называют дам своих — словом на “б”. Ибо — знают. И боль, и любовь, не дешевый каприз героя 19-го столетия, взявшего “девушку с улицы” (титованным пред-кам, полагаю, чтоб насолить), а сознание — боль, СО — СТРАДА-НИЕ.

Не надо петь, что идеалы — поруганы, попораны. Они — здесь. Ибо лирика наша — существенно отличается от лирики поколения Блока, где творилось — почище, но — скрывалось — *his donc!* — разве можно, так — вслух — говорить? Что же, можно и долж-но. Ибо это — любовь вопреки. Не в каких-то искусственно (автором) созданных условиях, а любовь нагая и голая, как и души наши, неприкрашенные, ненапудренные, души, а не — туши борцов!

Но — ведь в чем упрекают их, главное? В нежелании “бороться”. В осуждении “профессио-нального диссидентства”. Бо-роться? Но есть разные формы борьбы! У поэтов — своя. Что ж им, трусить со стадом политиче-ских носорогов, роняя лепешки

и грозно мыча? Нет, уж пусть автор “Саги” — один.

Поэты борются в одиночку. Не за пункты программ. За любовь.

За любовь к человеку ли, негру, корове, осине — за по-нятие любви, за принятие ее. Но зато уж и бьют их! По но-сорожьему хрюку — сразу, ско-пом, ногами — ТОЛПОЙ.

Как приятно мне было чи-тать, когда, года четыре назад, главный редактор Седых выдал все того же многогрешного Эди-ка на потеху толпе! Эти письма, клеймящие, покрывающие по-зором изменника (не Родины уж, а — Америки), эти письма навыворот бывших советских! Бейте! Знаю его! О, как били!

Посмел ведь — похаять Аме-рику. И те же, кто хаял Амери-ку (там, на собраниях, в Сою-зе) — сразу кинулись бить. Эти новоприбывшие оказались (автоматом) патриотичнее Фор-да. Вот — ментальность совет-ская. Вот — с чем борется Эдик.

Ведь это же они (или не они? их наставники?) били кос-мополитов Мейерхольда, Пастер-нака и прочих. Но тогда они были — ТАМ. А теперь они — тут. В чем же разница? Методы — грустно — но те же.

Может, хватит? Может, тут-то — не будем играть по совет-ски? Будем, будем. В менталь-ности дело. Толпа и поэт. А поэт — он не “лучше”. Он — честнее. То, что прячете вы — напоказ выставляет.

Не поэта стыдитесь. Себя.

Константин К. Кузьминский

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ: СОЛ БЕЛЛОУ.

К тому времени, как я начала переводить на русский язык "Планету мистера Сэмлера", Сол Беллоу уже несколько раз получал различные национальные премии и был известен в писательских кругах как "король интеллектуалов". К моменту выхода перевода в свет Беллоу успел уже стать Нобелевским лауреатом и оказалось, что я перевела Нобелевскую премию в рубли. Не знаю, насколько выгодной была эта операция в финансовом смысле, но уверена, что русского читателя несомненно обогатит возможность впервые познакомиться с одним из лучших писателей Запада.

С первого взгляда не сразу понятно, почему, собственно, Беллоу была заказана дорога в русскую культуру: ведь его трудно назвать писателем политическим. Видимо, дело в том, что, будучи универсальным мыслителем, он нисколько не ослеплен модным сейчас на Западе "левым" критиканством, обычно открывающим широкий путь в официальную Россию. Острый взгляд Беллоу видит многие скрытые пружины мировых событий, он не ограничен рамками Америки и, хоть пишет он обычно о ней, в поле его зрения всегда присутствует мощная империя, закрасненная на карте мира в цвет крови с победно горящими по алому лите-рами: СССР.

Но не политические цели ставит перед собой писатель. Он

всегда занят одной, важнейшей для него задачей: поиском намерений Создателя в сложном узоре сегодняшних, сиюминутных событий. Точку отсчета для такого поиска Беллоу выбрал, кажется, раз и навсегда. Это позиция интеллектуала, по какой-то причине исторгнутого из потока повседневной людской суеты. В "Праздношатающемся" его герой — юноша, ожидающий призыва в армию; в "Герцоге" — полупомешанный отставной профессор литературы, из своего загородного дома адресуемый всему человечеству; в "Планете мистера Сэмлера" — воскресший из мертвых полуслепой старик, прихотью судьбы выброшенный в вавилонское столпотворение нью-йоркских улиц.

Рожденный в Кракове, в начале века, воспитанный на любви ко всему английскому, мистер Сэмлер был лондонским корреспондентом варшавских газет и другом Герберта Уэллса. Мир его возвышенных духовных радостей рухнул под мерный топот гитлеровских армий по дорогам Европы. Вместе с женой и десятилетней дочерью он был выведен, раздетый догола, в толпе таких же, как он, евреев, к вырытому ими самими рву и расстрелян из пулемета. Случай спас его — искалеченный и полуслепой, он выбрался из рва, чтобы выжить и увидеть, что осталось с миром после его смерти.

Мир этот он созерцает из окна квартиры, в которой живет по милости своей овдовевшей нью-йоркской племянницы Марго. В этом мире он оказывается одним из немногих, кто

не потерял здравого смысла, снисходительного понимания чужих страстей, сочувствия и мудрой насмешливой улыбки. Это влечет к нему сердца самых разных обитателей города-клоаки, и они кружат вокруг него в пестром хороводе своих страстей и судеб. Но и страсти их, и дерзания, рассматриваемые Сэммлером уже “с того берега”, вдруг оказываются призрачными и безосновательными, рассыпаются в прах. Все они, точно яблоко червем, тронуты безумием, словно время поставило на них свою дьявольскую печать. Не находя себе применения, не зная разделенной любви, неприкаянная, одинокая, выискивает сокровища на мусорных свалках дочь Сэммлера Шула; красивая и порочная, но такая же одинокая и несчастная, бродит по премьерам, вернисажам и богемным оргиям его племянница Андже-ла, из-за плеча которой то и дело возникает прекрасное и ничтожное лицо ее брата-авантюриста, играющего свою жизнь, как веселую игру с собственной тенью; где-то на заднем фоне маячит их отец, гинеколог Эли Гранер, добрый и великодушный человек, при всей своей доброте наживший состояние подпольными абортами и скрывающий его от своих детей; кружит вокруг них отчаянно “левый” интеллеktуал, “продавец воздуха”, вечный студент Феффер, ничем не гнушающийся для устройства своих делишек. Их машина возня ярко оттеняет краткое во времени — всего три дня, — но полное внутренней значимости действие романа; болель и смерть Эли Гранера. По

этой канве Беллоу с изысканной виртуозностью вышивает узор других событий этих наполненных дыханием смерти дней: по-иски рукописи, украденной и потерянной Шулой, свару детей Гранера из-за его наследия, визиты Анджелы, исповедующейся Сэммлеру в эротических переживаниях, встречи Сэммлера со студентами и загадочным в непонятности своих действий негромкарманником. Все эти люди и события становятся для одноглазого Сэммлера объектом наблюдений и раздумий. Кажется, будто эта его одноглазость символична, — он словно представляет мир мертвых среди живых: в то время, как один его глаз созерцает реальность, перед другим, незрячим, открываются мировые глубины, недоступные живущим. Перейдя “черту”, он понял смысл и ценность жизни, перед которыми кажутся смешными и незначительными мелкие горести и заботы живых, обреченных умереть, но копошащихся в тенетах быта, без всякой мысли о приближающемся конце. Что ж, это их счастье. И Сэммлер находит в своем сердце место для жалости и сострадания — несмотря на ясное понимание гибельности происходящего: “Приходила к концу пуританская эпоха труда. На смену Черным мельницам Сатаны приходили Светлые мельницы Сатаны... Привилегии аристократии без ее обязанностей стали общедоступными, демократическими, особенно сексуальные, эротические привилегии...” Но, понимая всех, его окружающих, Сэммлер вовсе не торопится отпустить им грехи

с травоядным великодушным святоши; он, выбравшийся из рва мертвецов, прятавшийся на польском кладбище, знает ведь и сам восторг убийства — когда-то он убил безоружного немца, чтобы видом чужой, ненавистной крови оживить свою застывшую от близости могильного рва кровь. Признавая святость жизни, он совершил это убийство как ритуал, — словно скрепляя им свой контракт с Богом. И он убежден, что любая человеческая жизнь должна быть выполнением такого контракта — мучительно-го и трудного для живущих. Над телом умершего Гранера он говорит: "Несмотря на всю неразбериху и унизительное шутство этой жизни, через которые каждому приходится пройти, он выполнил условия своего контракта. Условия, которые каждый знает в глубине души..."

Мистер Сэмлер говорит почти теми же словами, что полупомешанный Герцог в последнем из своих посланий, адресованном самому Богу: "Я так хотел выполнить Твою непостижимую волю, принимая ее и Тебя, как есть, без символов".

Вот она, по Беллоу, главная задача каждого человека — реализовать предназначение, осуществить волю Создателя, выполнить условия своего "контракта". И несмотря на терпкую печаль всего им написанного, эта вера в высшее предназначение каждой жизни наполняет творчество Беллоу истинным, хоть и скрытым между строк оптимизмом.

Нина Воронель

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

"Континент", № 22 (главный редактор — В. Максимов. Париж).

Литература — не самая сильная сторона "Континента", но этот номер — одно из немногих исключений: аллегорическая "сказка" Ф. Искандера о рассудительных удавах и глубокомысленных кроликах, стихи Е. Игнатовой и Ю. Кублановского, иронически — условная "пьеса для чтения" В. Аксенова — все это определенные вехи для каждого из авторов и для русской литературы в целом. Необычайно интересны "хождения" по путям русских икон и русских святых Г. Русского. В центре публицистического раздела на этот раз оказались главы из книги К. Хенкина "Русские пришли!" Русские — это мы с вами, а пришли мы, оказывается (по Хенкину), на 60% по плану КГБ. Можно спорить с таким детективным толкованием исторических процессов, но не задуматься — нельзя. Другой детектив предлагает И. Бирман: у него жертвой оказывается уровень жизни советских людей, а преступником — советский военно-промышленный комплекс. Две обстоятельные статьи — Л. Алексеевой о Юрии Орлове и Э. Кузнецова о Даниле Шумуке — дают широкую картину правозащитного и национального движений в СССР. Как всегда интересен и широк раздел критики и необычайно любопытны воспоминания и соображения Бориса Суварине о

Иосифе Сталине. "Континент", несомненно, остается самым представительным из эмигрантских журналов.

"Вестник РХД", № 130 (ответственный редактор — Н. Струве. Париж).

"Вестник РХД" нужно читать — и притом регулярно. Не только потому, что это, пожалуй, самый серьезный и глубокий из русских журналов за рубежом, но и потому, что именно на его страницах складывается и формируется из номера в номер платформа той "новой русской правой" (а была ли в России "новая левая"?), об угрозе которой говорит А. Янов. Предостережения Янова подвергаются на страницах очередного номера "Вестника" обстоятельному критическому разбору Н. Струве и о. А. Шмемана; оба они утверждают, что программа Солженицына не отрицает свободы и либерализма, — но не на западный манер. Борьба за духовную и религиозную свободу, идущую изнутри человека, — другая постоянная тема журнала; здесь она представлена материалами С. Булгакова, В. Розанова, В. Ходасевича и Г. Струве, обширной подборкой о преследованиях верующих в СССР (Дело о. Дм. Дудко и другие); самым сенсационным в подборке и во всем номере является "Отчет" КГБ о делах русской официальной церкви. Идеологическую же сердцевину номера составляют, конечно, очередная историко-документальная глава из узла "Октябрь 1916" (блистательно-тенденциозный портрет

Гучкова как одного из зловещих "либеральных злоумышленников" против России) и статья "Коммунизм у всех на виду — и не понят" А. Солженицына — очередное провозглашение чуждости коммунизма русскому и вообще любому национальному сознанию.

"Синтаксис", № 6 (редакторы — А. Сняевский и М. Розанова. Париж)

На футбольном поле русской эмиграции "Синтаксис" — тот самый "левый крайний", о котором когда-то писал А. Вознесенский. Он тоже "играет головой", с риском для благополучия (редакторов и авторов) отстаивая духовные и культурные ценности русской либеральной ("западнической" — ?) интеллигенции, страшщейся призрака "солженицынской", авторитарно православной России. Страх — плохой советчик; быть может, поэтому очередной номер вышел с явным "антисолженицынским" перекосом: почти половину его занимают огромная статья Г. Померанца, в которой автор ратует за то, чтобы не бороться со злом с помощью зла, а также материал А. Янова, утверждающего, что Солженицын в своих "планах "спасения России" делает ставку "на советское офицерство". На фоне этих полемических залпов — исповедь "подлинного ленинца" Р. Лерт о потере идеологической девственности (первый в жизни облык!), многословные и слащавые, как обычно, рассуждения И. Померанцева — на сей раз о Пастернаке и обидно "проходная" заметка о Пастернаке самого Си-

нявского. М. Розанова в статье о Фаворском-иллюстраторе остается все той же М. Розано-

вой, и журнал — как журнал — на этот раз, к сожалению, ниже прежнего уровня.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

- Эдуард Кузнецов. Мордовский марафон. 256 стр. 10 долл. (180 лир)
Заметки всемирно-известного автора, вынесенные из-за колючей проволоки каторжных лагерей Мордовии. Наблюдения и мысли человека, пережившего шестнадцать лет лагерей и смертный приговор и не потерявшего вкуса к жизни и трезвости взгляда.
- Нина Воронель. Прах и пепел. 192 стр. 5 долл. (100 лир)
Жуть советского бытия, его абсурдная свирепость и ошеломляющая нищета. Две из вошедших в сборник пьес с успехом были поставлены в Нью-Йорке (на английском) и две — в Иерусалиме (на иврите).
- Илья Рубин. Оглянись в слезах. 300 стр. 7 долл. (80 лир)
Посмертное издание всего, написанного безвременно скончавшимся поэтом и эссеистом. Его мастерски написанные и яростно заостренные статьи вызвали бурные споры в израильской и эмигрантской печати.
- Игорь Гарик. Еврейские дацзыбао. 192 стр. 6 долл. (120 лир)
Смешные, забавные, язвительные четверостишия, ставшие в СССР фольклором. "Как теперь шутить за столом, чтобы не обвинили в плагиате из Гарика?" — из предисловия В. Раскина.
- Владимир Маркман. На краю географии. 146 стр. 4 долл. (120 лир)
Сюрреалистический мир уголовных лагерей особого режима, описанный с беспощадной зоркостью и этнографической точностью.
- Александр Милн. Дела королевские. 32 стр. 6 долл. (120 лир)
Книга веселых стихов всемирно-известного автора "Винни-Пуха" в переводе Н. Воронель с уморительными рисунками М. Байера. Для всех возрастов от пяти лет и выше.
- Книга Маккавеев. (репринт). 128 стр. 6 долл. (150 лир)
Русский перевод с греческого античного оригинала. Хроника первой в истории человечества религиозной войны с ее героизмом и жестокостью.
- Менахем Бегин. В белые ночи. 320 стр. 6 долл. (120 лир)
Бывший эзк, а ныне премьер-министр Израиля рассказывает о времени, проведенном им в лагерях Воркуты.

При заказе в издательстве предоставляется скидка в 30% от указанной цены. Заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow-Jerusalem". P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel. Чеки выписывать на имя: "Foundation Moscow-Jerusalem".



ИГОРЬ ГУБЕРМАН



Тюрьмою наградила
напоследок
Меня Отчизна-мать,
спасибо ей,
что я теперь воочию
отведал
судьбу ее нехудших
сыновей.

ИГОРЬ ГАРИК